

# ПЕРО И МАУЗЕР



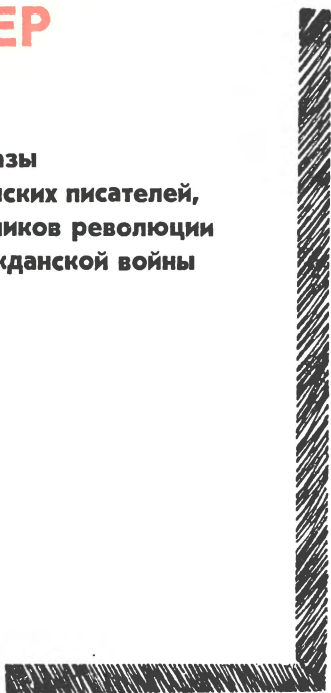


**ИЗДАТЕЛЬСТВО  
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ  
ЛИТЕРАТУРА»  
МОСКВА  
1968**



# ПЕРО И МАУЗЕР

**Рассказы  
латышских писателей,  
участников революции  
и гражданской войны**





**П р е д и с л о в и е**  
**Эдуарда Салениека**

**Х у д о ж н и к**  
**И. Прагер**

## ИХ СЕРДЦА ГОРЕЛИ

Трудно скупыми словами рассказать о тех, кого уже нет в живых; о тех, с кем ты вместе многие годы работал, боролся, страдал. Ссорился, мирился, пел, шутил, грустил. О тех, кто первыми в двадцатые — тридцатые годы в Стране Советов закладывал краеугольные камни латышской советской литературы. О ком буржуазные писаки в Латвии злобно говорили: «Жалкие эмигранты, литература их — творения изгоев, несчастливцев, оказавшихся за пределами родины».

Кто же они, эти первые?

Почти все они были красными латышскими стрелками, которых заслуженно называют легендарными. В 1917 году устами своих депутатов на II съезде латышских стрелков они заявили: «Вся власть Советам».

Их биографии родились на полях сражений за дело революции и с этого момента стали, как близнецы, похожи одна на другую и на биографии их литературных героев.

В 1919 году с боями покинули они вместе с Советским правительством родную землю, где временно победила контрреволюция. «Мы вернемся, — писал позже один из них, Клуцайс-Эферт, в рассказе «Раз, два...» (1921), — мы придем из темных окраин города, подвалов, подземелий — и наш свободный непобедимый шаг снова загремит на широких улицах... Мы вернемся, как возвращается море во время прилива»<sup>1</sup>.

Рожденные революцией, они были защитниками ее завоеваний, ее вдохновенными певцами и честными историками, вынесшими историческую правду из огня сражений, в которых сами принимали участие с маузером в руках.

В двадцатые и тридцатые годы латышские советские писатели жили и работали в Советском Союзе, объединенные в ла-

---

<sup>1</sup> Э. Клуцайс, Собр. соч., т. I, М. 1936, стр. 318 (на латышском языке).

тышских секциях организаций Пролеткульта, а затем в Российской ассоциации пролетарских писателей Ленинграда, Новосибирска, Смоленска и других городов, а также самой крупной латышской секции — в Москве.

Центром культурной жизни латышей стало просветительское общество «Прометей», основанное в Москве в 1923 году и переставшее существовать в 1937 году. В правление входили испытанные большевики, идейным руководителем его до своей смерти оставался широко известный деятель партии Петр Стучка (1865—1932).

В двадцатые годы советская литература только начинала свое сложное и многогранное впоследствии развитие. Отсюда мастерство многих ее зачинателей не всегда совершенно и точно. Латышские писатели в этом смысле не составляли исключения.

Двадцатые годы были началом творческих биографий почти всех латышских писателей, чьи произведения представлены в настоящем сборнике, за исключением Линарда Лайцена, который к тому времени был уже известным писателем.

Не все из них были профессиональными писателями: Клу-сайс был профессиональным революционером, Эйдеман — военачальником, Рихтер — партизаном и разведчиком, он так и остался им в душе до последних дней жизни.

В письме, посланном Рихтером в 1934 году из Башкирии писателю Симанису Бергису, который упрекнул его за чрезмерную фактологическую точность рассказа «Лес», Оскар Рихтер писал:

«...Я не писатель — ни большой, ни маленький, ни средний. Я разведчик-партизан. Я пишу только в особые минуты. Пишу тогда, когда мое сердце начинает биться сто шестьдесят раз в минуту, пишу, когда нигде не нахожу покоя, пишу, когда вспоминаю Жоржа, Эйниса; я пишу только тогда, когда воеет ветер и бушует метель. Пишу, чтобы облегчить душу. Пусть это плохо — но я рабски придерживаюсь фактов. Почему рассказ «В Карелии» (впоследствии названный «На Северном фронте». — Р е д.) сильнее других? Потому, что там мне особенно трудно пришлось, потому, что все происходило так, как я описываю. Руки мои теперь зажили, но следы тяжелых ран видны и до сих пор. Я понимаю, как следует писать. Неужели ты думаешь, не понимаю? Но я попросту не в состоянии. Часть моего мозга «проморожена», «прострелена». Тридцать два раза я был в глубоком тылу противника, значит, шестьдесят четыре

раза переходил фронт. Десятки, сотни раз в меня стреляли, а сколько я переплывал рек зимой, дрался, ходил в штыки, даже кусался?.. Все это мало-помалу съедало мой мозг, сердце, нервы, поистине поразительную железную выдержку, находчивость. Писать иначе я не в состоянии...»

Жизнь А. Кадикиса-Грозного, сына рабочего-революционера, была до конца дней связана с Красной Армией. Охранявший Смольный и Кремль, красный латышский стрелок Петерис Акменс вообще не был писателем. Известны только его «Две беседы», в которых перед нами еще раз встает образ живого Ленина.

Писательская деятельность Алфреда Зиедыньша после опубликования в 1912 году его первой пьесы («Разрыв») была надолго прервана — он принимает активное участие в революционной деятельности, а позже, в годы гражданской войны, остается в частях Красной Армии.

Линард Лайцен, как и Алвил Цеплис, совместил в себе профессионального революционера и профессионального писателя. А проза Роберта Эйдемана, который хоть и был профессиональным военным, настолько зрела и художественна, что его нельзя не причислить к профессиональным писателям. К произведениям этих писателей применимы не только высокие исторические, но и высокие эстетические критерии.

Подлинность рассказов-воспоминаний, их безыскусность, как и фактологическая точность, делают их понятными каждому читателю. Почти все они написаны на материале революции и гражданской войны. И написаны во имя революции. Убежденно и честно.

Можно предположить, что таланты отдельных писателей, творчество которых представлено в настоящей антологии короткой прозы, в дальнейшем нашли бы свое полное и настоящее выражение, если бы их жизнь трагически не оборвалась в расцвете творческих сил.

Люди эти живы в моей памяти, в моих воспоминаниях, и мне хочется поделиться этими воспоминаниями с читателем.

\* \* \*

Двадцатые годы. У меня уже кое-что написано. Кое-что напечатано.

Приезжаю в Москву. На вид я — невзрачный, хилый паренек, но для пущей важности отрастил усы. Вроде щетины у дикого кабана, жесткие, клочковатые. Просто горел

Слоняюсь по латышскому клубу. Кто-то, статный, высокого роста, с четырьмя ромбами, кладет мне на плечо руку.

— Здравствуй, Эдуард!

В те годы познакомились запросто. Мне дружески улыбается Эйдеман.

— Сними-ка ты свою растительность. Теперь уж нет надобности.

И тут же начинает рассказывать о себе. Первые годы революции. Сибирь. Эйдеман — заместитель председателя Центросибири. Подняла голову контрреволюция. Колчаковцы. Эйдеман во главе крупного партизанского отряда в четыреста человек. А на вид тоже, как и я, зеленый юнец, молокосос. И тоже, как и я, для пользы дела обзаводится бородой.

Да, Эйдеман ходил в больших чинах. Однако как на поэта на него долго «фыркали». Времена РАППа. Припомнили: в 1910 году у пятнадцатилетнего паренька Эйдемана вышел первый сборник стихов. Поэт о них теперь с улыбкой отзывается: пустячки, милые пустячки мечтателя-романтика. Но это как раз на руку «воспитателям с оглоблей». За песни неоперившегося юнца взрослый муж выслушивает обидные, незаслуженные упреки.

Идут годы. 1936 год. Редактор «Комунару Циня» Ласис обрушивается на меня:

— Почему подводишь журнал? Почему в срок не сдал рассказ?

— Да вот дел много...

— Не оправдывайся. Посмотри-ка лучше на Эйдемана: у него работы побольше твоего! А кроме того, ведь он член правления Союза писателей, председатель Центрального бюро латышской писательской секции. Да разве все перечислишь. А пишет с каждым годом полнокровнее...

Помню его выступления на конференции латышских писателей в начале 1937 года. Острых углов немало... И вот всех покоряют искренние слова умного человека, крепкого коммуниста: бросьте петушиться, огрызаться, задирать нос... Давайте работать, засучив рукава, плечом к плечу на благо социалистической родины.

Это было наше последнее свидание.

\* \* \*

Лето. Солнце и цветы. Живописные места полны народу. В иной выходной день тут смеха и песен больше, чем за целый месяц зимою.

И вдруг шумливый людской поток замирает. Впереди —

памятник. Стар и млад проходят мимо него с плотно сжатыми губами, с мрачным лицом. Обелиск — на братской могиле павших в войну. Как обелиск, стоит в моей памяти Эрнест Эферт-Клусайс (по-русски Клусайс — Молчаливый, так подписывался он, когда выступал как писатель).

Тысяча девятьсот двадцать шестой год. Работаю учителем в Белоруссии. Изредка вырываюсь в Москву. Как-то в один из приездов редактор газеты «Латвиешу Земниекс» («Латышский крестьянин», 1925—1931 гг.), он же писатель Конрад Иокум, сказал мне:

— Я договорился с Клусайсом: встретимся в городском саду. Он хочет с тобой познакомиться.

— Я слышал, он чувствует себя неважно.

— Вот я и хочу использовать твой приезд, чтобы вытащить его на свежий воздух. Посидим в саду... может, оркестр будет играть. Подышим ароматом цветов. Тебе же рассказывали, какой он упрямец.

Да. Я уже слышался о вещах невероятных. У Клусайса туберкулез. Его посылают на юг, в санаторий. Поехал. Через неделю вдруг почувствовал всем телом и душой: он почти здоров! «Да я и не так уж болен! Ведь многие гораздо серьезнее больны, чем я. Почему же я должен быть в исключительном, привилегированном положении?» И, не использовав путевку до конца, спешит на поезд — в Москву, к своему любимому письменному столу!

В 1919 году, когда интервенты насели на молодую Советскую Латвию, замнаркома Клусайс отступает из Риги с винтовкой в руках. Кончается война. Все его соратники одеты в новые френчи и шинели. А с Клусайсом беда: зачем ему новая шинель? Он знай себе чинит да чинит старую, солдатскую шинелишку... и гордится ею. Как-то раз портной с руганью отшвырнул его шинель. Клусайс спокойно поднял ее и сказал, что ему самому известно, как в иглу вдеается нитка. Так и ходил в своей шинелишке, пока парторганизация не сказала веское слово... И Клусайс наконец-таки облачился в новую.

В Москве Клусайс работал лектором в Комуниверситете народов Запада. Живет в общежитии, в комнате рядом со студентами. Электричества нет, пользуются керосиновыми лампами. Как-то Клусайс заметил, что у него восьмиллинейная, а у студентов поменьше — пятилинейная лампа. Уловил момент, когда вблизи никого не было, и поменял.

Много необычного мне о нем приходилось слышать, а я в ответ только бормотал: «А правильно ли он поступает?»

И мне всегда в один голос отвечали: «Клусайс есть Клусайс. Монолитного литья человек. Поступать иначе он не может». В связи с его смертью выдающийся деятель Коммунистической партии Латвии П. Стучка писал: «Ушел от нас редкий человек. Неутомимый научный деятель и практический работник; одновременно ученый, писатель и поэт, кристально чистый, партийный товарищ, сверхчеловечно самоотверженный и бескорыстный как человек»<sup>1</sup>.

...Встретились в саду, как уговорились. Был уверен, что увижу человека с лицом, как у фанатиков средневековья... Но ничего подобного... Правда, лицо худощавое, однако светилось оно спокойным добродушием. А подстриженная черная борода и жидковатые усы, как мне показалось, придавали ему выражение сердечности. Глаза на редкость лучистые, ясные, но мне рассказывали, что иногда они могли засверкать ослепительными молниями.

Наша беседа врезалась в память на годы. Была она вроде беседы о жизни выдавшего виды дядюшки с наивным племянником. Одно лишь плохо — больно коротка. Клусайс неожиданно для меня посмотрел на часы и сказал виновато:

— Меня ждут... уж извините... до свиданья!

Иокум явно неудовлетворен. Тербя входной билет, он ворчит:

— Вот-вот, у нас всегда не хватает времени на дружбу с цветами и солнцем...

Клусайс смеется:

— Может, потому, что мы, еще в детстве, когда были свинопасами, слишком много с ними дружили.

Тут его начинает трясти мучительный кашель. После приступа он торопливо пожимает нам руки и скрывается. Уходит и Конрад Иокум — в редакции работы по горло.

В саду оркестр играет вальс Штрауса. Любитель серьезной музыки, возможно, усмехнется: ну и вкус... Но я не избалован, не пришлось... Вальс Штрауса уносит меня в сказочную страну за тридевять земель.

Оркестр все играет... Неожиданно вздрагиваю: все работают, а ты... не музыку ведь слушать приехал в Москву? Ты только что сидел рядом с таким тружеником, как Клусайс, но это нисколько не подействовало на тебя. Постыдись!

Тотчас вскакиваю. Да, жизнь требует к себе уважения. Бог с ней, с музыкой.

---

<sup>1</sup> П. Стучка, Товарищ Эферт (Клусайс). — «Криевияс Циня», 1927, № 82.

У выхода останавливаюсь чуть ли не со слезами на глазах. Как играют... ну, право, волшебники! Может, вернуться?

Не-ет! Рановато еще наслаждаться музыкой. Мы еще слишком бедны. Это — роскошь, сейчас она не для нас.

\* \* \*

Ни с одним человеком я не проработал так долго в одной комнате, под одной крышей, как с Конрадом Иокумом. И ни разу не сказали мы друг другу ни одного резкого слова!

Иокум, подобно Роберту Эйдеману, не командовал полками, как рядовой стрелок, с винтовкою в руках месил окопную грязь в первую мировую войну под Ригой, а затем, будучи красным латышским стрелком, прошел всю гражданскую войну, закончив ее на Перекопе.

Помню один разговор с Иокумом (тогда он работал главным редактором латышского издательства «Прометей»):

— Во сне навалилась на меня совесть, костлявая такая особа, и давай душить: «Ты что, сукин сын, не работаешь над романом о стрелках? Ведь не зря судьба провела тебя живым сквозь огонь сотен сражений?» Насилу умолил: повремени немного, укрепим издательство, а уж тогда выпрошу творческий отпуск. В голове у меня роман давно созрел...

Так и не дождался Конрад желанного творческого отпуска.

Двадцатые годы. Белоруссия. Зима. Снегу навалило — коню по брюхо. Мою комнатуху в старом ветхом здании школы продувает насквозь. Уже темнеет. На столе кипа неисправленных тетрадей. А я все не зажигаю лампы, берегу керосин. Захотелось прилечь на часок, чтоб голова стала посветлей.

Что за нечистая сила ломится в дом? Ну, и задам!

Открываю дверь — и едва не обалдел... Входит коренастый мужчина. Господи, Иокум. Говорит он странно, в нос. В раннем детстве свалился с печи, разбил переносицу. Когда-то этот физический недостаток доставлял немало горьких минут: мальчишки — бессердечные насмешники... Но после революции чуть ли не гордимся: мол, мы росли без присмотра, без нянек и детских врачей, как птички на тонкой ветке... И разве мало нас утонуло, обожглось, разбилось, покалечилось? Будь у наших отцов лишний рублик — врачи своевременно починили бы нос Иокума, исправили бы мои косящие глаза. Эх, здоровье, здоровье, как часто твоя судьба зависела от кошелька, который в нужную минуту бывал пустым... Критик Карл Курон уже годами скачет на костылях. Его изводит приобретенный в тюрь-



мах и ссылке костный туберкулез. Клусайса душит туберкулез легких. Но мы не склоняем голову перед страданиями... А как понимать — «не склоняем голову»? Ну, работаем — если так можно выразиться — все злее.

— Значит, ты в Лашневее... — бормочу я.

— А тебе что, не нравится?

Я знаю, что Иокум в редакции «Латвиешу Земниекс» единственный штатный работник. Газета еженедельная, создана недавно.

— Разве тебе дали еще одного штатного работника?

— Если б дали, ты бы на второй день об этом узнал.

— Во сне, что ли, увидел?

— Чудак! Да я тебя вытащил бы из школы в редакцию. Ты же не дипломированный педагог.

— А как же ты оставил газету?

— Попросил двух студентов из института журналистики.

— Доверился студентам?

— Э, дорогой, они уже не козлята, а коммунисты с биографиями борцов. Далеко ли мы уйдем без доверия? Газета «Латышский крестьянин» определенно захирела бы, как растеньице в пыли, у проезжей дороги.

Это правда. Газета быстро выросла, стала крепышом. Недоброжелатели вначале предсказывали: нечем ей заинтересовать читателя... Иокум так сумел организовать дело, что материал так и сыплется. Писали известные политические и общественные деятели, юристы, инженеры, врачи, учителя, художники... Конечно, костяк сотрудников составляли агрономы. В те годы в Советском Союзе проживало, училось, работало немало агрономов-латышей. Все они бескорыстно помогали «Латышскому крестьянину».

Может, кто-нибудь теперь усмехнется: чему тут удивляться... За гонорар, конечно, найдутся авторы. Так разрешите напомнить: в те годы высшей наградой было сознание, что твой труд служит на благо революции.

Первый гонорар получил я из Пскова, из редакции «Циняс Атбалс» («Эхо победы») (1920—1922). Редактором газеты был известный революционер Я. Берзинь-Андерсон. В письме, приглашая меня сотрудничать и впредь, редактор просил извинить — дескать, не обижайтесь, что гонорар мал... на бумагу, на марки. У них, то есть у газеты, кошелек тощий. Только этот первый маленький гонорар так взволновал — ничего не скажешь — юность, — что я долго не мог уснуть: может, вернуть полученную трешку обратно. Ведь я же слышал, что в царское время партийная печать существовала на пожертвования рабочих.

Конечно, «Латвиешу Земниекс» был уже более «зажиточным», однако многим друзьям газеты редактор мог подарить только ласковую улыбку...

Писатели двадцатых и тридцатых годов старались подольше бывать среди людей, изучать живую жизнь. Приехав в латышскую колонию Лашнево, Йокум в поисках неприкрашенной и неприкрытой жизни, пробираясь из усадьбы в усадьбу, месил сугробы, обморозил лицо. В школе вечер. На нем редкий гость из Москвы должен рассказать о работе редакции, выслушать седовласых пахарей.

Когда Йокум уже уехал, я случайно услышал разговор двух крестьян:

— И чего его принесло из Москвы в такую непогоду?

— Хотел повидать, как мужички живут.

— Мог бы выбрать дорогу полегче... разве мало латышских поселений на Смоленщине.

Позже я узнал, что в Лашнево Йокума послал Клусайс.

Мою маленькую семью недавно обидела смерть. Я остался один с двухмесячным сыном. И вот Клусайс сказал Йокуму:

— Конрад, ты соберешься поехать куда-нибудь уму-разуму набраться, правда? Так поезжай туда, где живет Салениек. Подбодри его, чтоб не стал искать утешения в водке.

\* \* \*

— Ты насильник! — Автор кричит и стучит кулаком по столу. — Я этого не позволю!

Редактор вертит головой, усмехается.

— Ага, тебе хочется, чтоб у меня был новый стол? Спасибо. Ну, тогда давай старый расколотим вдвоем! — и, в свою очередь, опускает кулак на стол.

В редакцию детской литературы заходит главный редактор «Прометей» Конрад Йокум.

Только что стучавший кулаком по столу автор — овеванный славой разведчик Оскар Рихтер — вскакивает на ноги.

— Я с Салениеком не могу сработаться! — кричит он. — Да и охоты нет!

Мы с Йокумом переглядываемся. Он медленно тянет:

— М-да, попали мы в историю. Но я припоминаю: несколько лет тому назад Клусайс просил меня раздобыть для тебя грамматику. Вероятно, ты все премудрости грамматики так хорошо усвоил, что для твоих творений редакторы больше не нужны.

— Всех бы вас одной дубинкой... — Рихтер злится. — Ты

посмотри, что он вытворяет с моей повестью. Всю исчернал. Даже Клусайс со мною так не расправлялся...

Это происходит весной 1935 года. Рихтер приготовил для юношества большую повесть «Я рассказываю». Иокум вертит рукопись. Эту повесть Рихтер написал в Башкирии. Был бумажный голод, писатель посулил некоему конторщику: «Я тебе дам жирную рыбину, а ты подбрось мне бумаги». Конторщик и всучил ему кипу грязновато-желтых листов.

— Прошло уже десять лет с того дня, когда напечатали мой первый рассказ, а Салениек хочет доказать, что я с тех пор совершенно не вырос!

Мы с Иокумом еще раз просматриваем рукопись Рихтера и вздыхаем: ох, милый, ты чертовски вырос. Прощаясь с детством и отрочеством, что ты получил на дорогу? Три зимы и те с грехом пополам ты посещал сельскую школу. Вот и все твоё образование...

Оскар Рихтер, ты невероятно быстро шагнул вперед, однако у тебя за пазухой зашевелился бесенок зазнайства...

Наконец стали беседовать мирно. Рихтер рассказывает:

— Судьба, браток, великое дело. В двадцать четвертом году приехал я к одному старому большевику под Псков, в гости. Отдыхал у него, подлечился немного. Вдруг из Москвы приезжает его сердечный друг, Эфэрт. Как-то вечером гуляем мы по берегу реки Великой. Я рассказываю о делах разведчиков в глубоком тылу. Драматических положений — не счесть! Однажды просто чудом вырвались из кольца белогвардейцев. Многие наши голову сложили... А когда белофинны ворвались в Карелию — направили нас туда в отряд лыжников...

Слушает Эфэрт, хватает за руку и с жаром просит:

— Рихтер, напиши об этом!

— Что ты! Я разведчик, а не писатель.

— Пройдут годы, многое забудется. Вырастет молодежь, которая ничего не будет знать о наших сражениях, а написанное сохранится. Право, напиши.

— Вот так и начал... Но грянула беда. Напряженные бои. Карельский поход, ранения, реки, которые зимой приходилось преодолевать вплавь, все это оставило след. Я вдруг тяжело заболел. Сердце, нервы сдали. Теперь надо драться за здоровье, за жизнь. Не скрою: были такие минуты, когда казалось, всему конец, но нет. Я говорю себе: неужели поддашься хвори, ты, который вдоль и поперек исходил земли врагов, победил столько беляков? Не-ет!

«Нужен свежий воздух!» — сказали врачи. «Хорошо! — от-

ветил я. — Будет свежий воздух». И поступил на работу в рыболовецкий трест.

«Нельзя курить!» — заявили врачи. «Хорошо!» — ответил я.

Но нелегко это было. Семнадцать лет я угощал свой организм никотином, а теперь попробуй-ка сразу отказаться от него. В тяжелые минуты, когда казалось, не выдержу... я брал папиросу и спрашивал ее: «Думаешь победить меня, ведьма?» Я крошил ее и бросал в огонь! Вы-здо-ро-вел!

Мастерство Рихтера-писателя росло. В 1935 году вышла его книга «В тылу врага», в 1936 году — замечательный роман «Шумят леса». Из Башкирии Рихтер переезжает на Смоленщину. Вскоре поселяется в Москве, где собирался учиться в вечернем литинституте имени Горького, но сделать этого он не успел.

\* \* \*

В тридцатых годах Линард Лайцен — один из наиболее популярных в Советском Союзе латышских писателей.

Творческий путь Лайцена — сложный, извилистый. На первых порах молодой писатель и поэт зачастую шел — разрешите так сказать — хромая и спотыкаясь. Но Октябрьская революция в жизни Лайцена — тоже решительная революция. Как писатель и политический деятель он без оглядки становится пламенным борцом за коммунизм.

В буржуазной Латвии не было имени более ненавистного властью имущим, чем имя Линарда Лайцена. Еще бы! Он — самый яркий писатель рабочего класса. Активный участник революционного Центрального бюро рижских профсоюзов, или — как тогда говорили — левых профсоюзов. Лайцена постоянно избирают депутатом в Рижскую городскую думу от левых профсоюзов. И когда нелегально существующей Компартии Латвии удастся выдвинуть для выборов в сейм свой рабоче-крестьянский список, то первым в этом списке числится Линард Лайцен! И, несмотря на жестокий террор, список проходит. Лидером фракции рабочих и крестьян в сейме становится Линард Лайцен. Лайцен срывает маску с продажных лидеров социал-демократии не только на трибуне сейма. Он один из наиболее любимых ораторов на всех собраниях рабочих, на митингах и праздниках. Как писатель и публицист он участвует во всех революционных изданиях, легальных и полулегальных. Он фактический редактор левых рабочего журнала «Виениба» («Единство»), газеты «Дарбс ун Майзе» («Труд и хлеб»). Он издавал революционный журнал «Крейса Фронте» («Левый

фронт») и «Трибине» («Трибуна»). Его пьесы ставятся под открытым небом во время рабочих праздников. Он заботится о воспитании молодых революционных писателей.

Конечно, латышская буржуазия хотела бы его слопать живьем... Лайцена многократно арестовывают и бросают в тюрьму. Наконец изгоняют из Латвии. В 1932 году он уезжает в Советский Союз.

А теперь позвольте кое-что из моих личных воспоминаний о нем. Мы, тогдашние латышские советские писатели в Москве, встречались на собраниях или литературных вечерах в клубе или в просветительском обществе «Прометей». Друг у друга дома бывали редко. Некогда.

В памяти ярко сохранились руки и голос Лайцена. Вот он говорит, перед ним чуть-чуть левее листочки с цифрами, тезисами, выписками, замечаниями... Жесты Лайцена естественны, он не изгибается, как фехтовальщик или боксер. Но его руки за листками тянутся так, словно это государственно важные бумаги. Я прикрываю глаза, и в моем воображении листочки Лайцена превращаются в научные трактаты, дипломатические ноты, проекты договоров... Иногда воображение любит пошутить: эти листочки вроде козырей! Лайцен вытаскивает за козырем козырь и побивает карты противника.

Никогда не слышал, чтобы Линард кричал, чтобы возвысил голос до рыка, до грома, дескать, я вас! Положу на обе лопатки! Не-ет. Его речь временами казалась суховатой, однообразной, суровой. Однако вслушаешься в нее и тотчас поймешь: его голос, как молот, будет бить без остановки, без передышки, пока противник не свален с ног. Вслушавшись в слова Лайцена, начинаешь понимать: его манера говорить, его стиль отточились в непрерывной борьбе, в обстановке буржуазного государства, когда оратор сознавал: господя, я тут перед вами не один. Моим голосом говорят тысячи. Ну как, не уступите, господя? Жаль, очень жаль. Лучше уступите, а не то вас по рукам и ногам скрутит История.

В начале тридцатых годов (с 1930 года) работаю в Москве, в редакции газеты «Комунару Циня». Редактор вызывает меня и говорит:

— Ты, Эдуард, родился в Белоруссии и знаешь тамошние латышские поселения. Лайцен сейчас в Минске. Что-то там редактирует... словом, работает. Поезжай-ка и ты... туда... поможете друг другу. Привезешь нам для газеты свежие материалы.

Ладно. Вот я в Минске. Вечером ко мне в комнату заходит Лайцен.

— Не помешаю? Работаешь?

— Да нет. Хотя убей — в дороге у меня ничего путного не получается.

— Да, какое счастье было бы работать в уютной комнате, в тепле и тиши. Но если годами тебе наступают на пятки, если годами... нужно научиться писать решительно везде. И на сквозняке... и среди шума... и в тюрьме.

— Так можно писать разве только газетные статьи...

— Да нет. И стихи и прозу. Кстати, ты не забыл — нам завтра предстоит горячий денечек.

— Да-а, встречи в Союзе писателей, в Академии наук...

— Слушай, Эд, я уже давно заметил: ты слишком небрежно одеваешься. Где твой галстук?

Не впервые я слышу такое, и не только от Лайцена. Что ж, в большей мере тут виноват когда-то бытовавший пролетарский нигилизм. К тому же врожденная мужиковатость плюс ребяческая гордость — я-де пролетарий. И вдруг у меня непонятно отчего возникает потребность раскрыть душу. Я рассказываю своему старшему другу... Это было чуть ли не в первый мой приезд в Москву. Ведет меня поэт Биройс к себе ночевать. Утром указывает на ванну, дескать, помойся. Направо — холодная, налево — горячая вода. У тебя же времени много? Приготовь ванну. И уходит.

Со страху обливаюсь потом. О ванна, ванна, ты погубишь меня! Это мое первое знакомство с тобой. Вместо простого водопроводного крана — о боже! — целая система кранов. Откуда мне знать, нажать ли, повернуть ли надо и который. Начинаю возиться... а что, если на меня обрушится струя крутого кипятка? Нажить такое несчастье вдали от родины... нет, нет!

Из кранов падают только капельки. Как в драгоценном элекси́ре увлажняю в них пальцы и вытираю глаза.

— Ну, как помылся? — спрашивает Биройс.

— Как лебедь в море... — отвечаю я.

Много сокровенного в тот вечер поведал я Лайцену. Вдоволь нахохотавшись, он соорудил строгое лицо.

— Покажи галстук. О небо, какой измятый! Да и брюки твои словно в молотилке побывали. Немедленно выгладить!

— Да... но как?

Лайцен вздохнул.

Покончив с делами в Минске, двинулись к латышам-пахарям в Быховский район. Я — в школу, Лайцен — в колхоз. В молодости Лайцен работал садовником, так что в сельском хозяйстве разбирался. Дня три писатель с головой уходил в колхозные дела...

Пора уезжать. Нас ждет Витебщина. И вот в последний вечер в Быховском районе происходит неожиданное. Тяжело топая, к нам заходят двое мужчин и две женщины. Они переглядываются, крикают, подталкивают друг друга. Нам не терпится узнать: за чем пришли товарищи колхозники? Наконец решаются: просят — уважаемый писатель, останьтесь у нас председателем. Слова у Лайцена застревают в горле. Он, взволнованный, обнимает колхозников.

В поезде на Витебск я спрашиваю:

— Извини за нескромность. Не родилось ли у тебя здесь, в Быховском районе, решение написать роман о деревне?

— Ты угадал; но пока родилось только желание. — Он вздыхает. — Кто скажет, сколько времени потребуется, чтобы накопить материал для такого труда? С годами чаще оставляю письменный стол в погоне за материалами. Когда-то в молодые годы достаточно было чернильницы, чтобы написать рассказ. А теперь ездить надо чаще и больше, чтобы увидеть. Много надо расспрашивать, углубляться в документы, читать целые комплекты старых газет и так далее и так далее.

Материала было накоплено много, но использовать его так и не удалось.

Цель автора этих строк — в какой-то мере дать почувствовать аромат тех дней. Вот так они жили, работали, так горели их сердца. Много хороших слов можно бы сказать и о талантливом поэте и писателе Алвиле Цеплисе, и о жившем в Ленинграде писателе и литературоведе Янисе Эйдуке. Об Артуре Кадикисе-Грозном, тоже ленинградце, безусловно одаренном писателе. Будучи политработником в армии, творчеству он мог посвятить лишь скупые часы. А много ли свободного времени было у педагога, прозаика и драматурга Алфреда Зиедыньша? У Ансиса Фелдманиса, писавшего под псевдонимом Петерис Акменс? Он был одним из первых латышских советских очеркистов и всецело был занят как партработник и как редактор.

Произведения, помещенные в сборнике, пусть говорят сами о себе и за себя.

**Эдуард Салениек**

**ПЕРО  
И  
МАУЗЕР**







## **ПОЕДИНОК**

### **1**

**Н**аша Тринадцатая дивизия сидела в окопах. Я был командиром батареи в Первом легком артиллерийском дивизионе и, кажется, единственным латышом во всей дивизии. По крайней мере, по-латышски мне удалось поговорить только тогда, когда на соседнем участке разместились латышские стрелки.

В латышской стрелковой дивизии я нашел друга детства — Яниса Зедыня. Он тоже был в артиллерии, но рядовым, и дружески подшучивал надо мною, что я начальство. Но об этом человеке я расскажу дальше.

Наша дивизия стояла в середине участка. Слева были сибирские стрелки, а справа, как я уже сказал, латышские. Днепр огромной дугой огибал нас с тыла. Наш берег, изрытый в то лето окопами, снарядами, истоптанный копытами лошадей, грустно чернел. Но по ту сторону реки далеко расстился зеленый, не тронутый косарем простор. Только изредка проезжала по нему разведка да разгуливал на воле ветер. В сырых местах росла предательски высокая трава. Над озерами колыбался камыш. Когда смолкали орудия и винтовки, вдали слышалось кряканье уток.

Тогда во мне мучительно пробуждался инстинкт старого охотника, вернее — браконьера...

У Днепра большое экономическое будущее. О нем может с таким воодушевлением говорить профессор экономики, как о красоте Днепра говорил Гоголь. Но я никогда не буду восторгаться им. Я могу говорить о нем только

холодно, по-книжному, воодушевленный Гоголем. Я ведь знаю, что самая прекрасная и хорошая река может опротиветь, если во время боев она у тебя в тылу — враждебная, жадная, хитрая, а впереди неприятель, который с удовольствием утопил бы тебя в ней, как весной топят котят. А неприятель сильный. . . С землей Советов соединял нас один-единственный понтонный мост, по которому орудия и повозки могли проходить только в одиночку. Тяжести людей, скрытых в окопах, он бы не вынес, и думать об отступлении мы не могли. В случае неудачи нас ожидало одно — смерть. В те годы сдаваться в плен мы не умели, мы научились умирать.

Наверное, река была причиной тому, что слухи о танках, привезенных белыми из Франции, ползли из взвода в взвод, из роты в роту, пугающие, как сами танки. Казалось, уже слышался ужасающий грохот броневых щитов.

О танках мы знали мало. Никто из товарищей, с которыми я говорил, не видел танка ни в действительности, ни на картинке. Нам всем он рисовался огромным, жутким чудовищем. . .

О страшных, полных чудес свойствах танков распускали слухи сами белые. Во всяком случае, теперь я в этом уверен. Слухи эти были часто противоречивые и просто неправдоподобные, вроде того что и реки и горы танку нипочем, а огромные дома он ломает в щепки. Трудно, конечно, поверить тому, что такой, очевидно, тяжелый предмет, как танк, может легко плавать. Но тогда мы верили всему, даже бессилию тяжелых орудий перед этим металлическим чудовищем.

Что мы могли сделать? У нас были винтовки, достаточно охрипшие в гражданскую войну, и орудия, уставшие от битв. У нас были адски выносливые ноги и желудки, адски (простите мне это выражение) хладнокровные головы и адски горячие сердца. Поэтому мы не ушли из окопов.

В конце августа меня вызвали в штаб, руководивший всеми тремя дивизиями. Я взял с собой мешок со всем своим имуществом и на всякий случай простился с товарищами. Простился с ними и с окопами с чувством боли и легко двинулся в путь. Ноги мои привыкли к походам, мешок за спиной был легкий.

В штаб к начальнику артиллерии вызвали еще четырех командиров батарей, всех мне знакомых. Жили мы на

этом узком участке дружно и общительно. Они, как и я, гадали, зачем нас могли вызвать.

Уж не пошлют ли нас куда-нибудь учиться?

Мы не хотим. Мы будем протестовать. Пусть учатся те, кому нравится сидеть в тылу. Черт возьми, мы же бойцы!

Наши разговоры смолкли лишь тогда, когда в комнату, звеня шпорами, вошел начальник артиллерийской группы.

Мы встали. И тут я заметил, что с начальником артиллерии вошел еще один человек. Сомнений не могло быть. Это был командующий. До сих пор мне не удавалось его видеть — он командовал соседней дивизией.

Командующий показался мне родным и близким, как его и представляли мы в окопах. Я много слышал об этом замечательном человеке, о том, как его первого наградили орденом Красного Знамени. И еще я знал — в трудные минуты он всегда появлялся. Бесстрашный, спокойный, ходил он среди умиравших и спокойно всем распоряжался, как хороший хозяин в поле.

Он так же просто был одет в серое, как в те годы были одеты мы все. Он ел то, что и мы, так же почернел от порохового дыма и так же легко шел навстречу новым боям, как и мы. Все свое имущество носил он в легком мешке за спиной. (Начальник артиллерии — мы знали — возил с собой тяжелый кованый сундук и походную кровать.) Белые холщовые крестьянские брюки были заложены в высокие сапоги, порыжелые от времени и не доходившие до колен. Бородатый, огромный, грузный, командующий был полной противоположностью начальнику артиллерии — нервному, подвижному, всегда чисто выбритому, носившему синие офицерские галифе и чистенький китель со следами снятых погон.

Начальник группы пододвинул командующему стул, и мне показалось, что у этого крестьянина, брошенного революцией к берегам Днепра, мелькнула на лице улыбка.

— Товарищи, я вас вызвал сюда, чтобы услышать откровенный ответ на мой вопрос.

Командующий говорил просто и спокойно: так говорят о самых простых вещах. Он говорил о танках. Сказал, что подробные указания даст начальник артиллерии (тот поднялся со стула и звякнул шпорами). Каждому из нас доверят оружие для поединка с танком. Обычная трехдюймовка. Мы должны подпустить к себе танк на расстояние в несколько сот шагов и тогда его обстрелять. Тут

нужна выдержка. И самоотверженность. Готовность к смерти. Каждый может выбрать себе товарищей по обслуживанию орудия из любой роты. Я при этом невольно подумал о своем друге Янисе Зедыне.

— Я никого не неволю, хочу только услышать ваш откровенный ответ, согласны вы или не согласны? Тут не может быть колебаний. Ведь решается вопрос о тысячах других жизней.

Я взглянул на своих товарищей. Все были серьезны и спокойны.

— Да!

— Да!

— Да!

— Да!

Четыре «да» стройно встали в ряд и штурмовали сомнения командующего.

Командующий улыбнулся. Рукопожатие было крепкое, ласковое.

## 2

Днем иногда появлялись аэропланы. С назойливым любопытством кружили они над нашими окопами. Неумоимо и зорко следили за нашими батареями, как выслеживает коршун зазевавшегося цыпленка.

А в общем, белые держались пассивно. Изредка прорвутся одиночные выстрелы и быстро стихнут.

Армия, сидя в окопах, зарывалась все глубже в землю. Работала только разведка.

Днем было удушливо жарко. Солнце раскаленным утюгом скользило по выгоревшей степи. Но вечера приносили приятную прохладу с легкой дымкой тумана и звездной метелью.

Мы, четверо, скучали.

Днем, когда летали аэропланы, мы сидели в шалашах, сплетенных из веток и степной травы, чтобы белые коршуны не увидели нас сверху. Но ночью мы могли спокойно любоваться звездным небом и смотреть, как огненная рука прожектора ощупывает звезды и степь.

Я забыл уже наши разговоры. Да мы и мало говорили, за исключением Вани Петрова. Это был жизнерадостный парнишка. Фуражка его постоянно сползала на затылок,

а живые глаза искрились веселым смехом. Петров умел рассказывать анекдоты, и мы прямо хватались за бока от хохота.

По вечерам мы с Янисом Зедынем частенько вспоминали о прежних хозяевах, о девушках, которых любили, и о многом другом из своей батрацкой жизни.

— Теперь в Прибалтике здорово холодно по вечерам.

— Да.

— Я думаю, что Давид Калнынь скоро начнет убирать свой картофель. Эх, поест бы печеной в золе картошки!

Давид Калнынь кормил своих батраков картошкой. С утра — со снятым молоком. В обед — с простоквашей. Вечером — с тощей селедкой. Давида Калныня, у которого мы батрачили, мы не могли забыть и в далекой южной степи.

Янис Зедынь любил поест. Он спокойно продолжал жевать, когда аэропланы белых бросали свинец. Ел неторопливо, ворочая сильными скулами.

— Ты, Петерис, давишься, как индюк... Схватишь какую-нибудь болезнь желудка, — всегда подшучивал он надо мной.

— Янис, стоит ли думать о таком пустяке, как болезнь желудка, когда кругом сыплются пули? Нам, батракам, набивавшим желудки хозяйской картошкой, теперь уже ничего не повредит.

Янис Зедынь был человек организованный. После еды он долго и старательно чистил свой складной нож. По утрам, делая гимнастику (это тоже вошло в его жизненную систему), он подбрасывал снаряды легко, как игрушки.

— Ты стал мягкотелым, Петерис, надо тебе заняться гимнастикой, — бранил он меня.

Его учеником и компаньоном по гимнастике стал наш четвертый товарищ, мадьяр, бывший военнопленный. Я уже забыл, как его звали. Он был из нашей батареи и сам вызвался мне в помощники. Я взял его еще и потому, что он видел немецкие танки и кое-что в них смыслил.

Зедынь учил его приемам гимнастики. Мадьяр, уже немолодой, седеющий, высокий и худой, очень старался подражать Зедыню, так как, по его словам, чувствовал себя после гимнастики здоровее.

— Погляди, какие у меня бицепсы. Бугры! У тебя тоже такие разовьются, — хвастал Зедынь, ощупывая свои мышцы.

Мадьяр был дряблый, но с удивительным старанием проделывал все, чему его учил Зедынъ.

Наблюдая за ними, Ваня Петров сочинял новые анекдоты, над которыми сам смеялся больше других.

Иногда мадьяр рассказывал нам о своей стране. Он был когда-то учителем. Потом его призвали на военную службу. Сочувствовал социал-демократам. Кричал «ура» императору и социализму. Потом попал в плен к русским. Дождался Октябрьской революции — социализма без царя. Теперь в Красной Армии борется с остатками контрреволюции, чтобы потом вернуться домой, в Венгрию, и бороться там за мировую революцию.

Таковыми были мы. И так текли наши дни, когда мы ждали наступления.

Кузнечики трещали с такой беззаботной радостью, что часто нам казалось — мы просто выехали в поле... Странная вещь — война! В особенности война с повседневностью, с которой человек сжился.

### 3

С вечера мы уже знали, что ночью надо ждать наступления, в котором примут участие танки. Эти сведения принес разведчик.

Начальник артиллерии еще раз проверил по телефону мою боевую готовность. Он любил держать связь с фронтом по телефонным проводам. Последним его приказанием было:

— Ни в коем случае не бросать орудия. Подпустить танки возможно ближе. Не отступать, если даже из окопов отступят стрелки (стрелкам начальник артиллерии не верил). И главное, не бояться, когда станут палить из орудий. Все строго рассчитано. Ваши орудия в таком секторе, который не будет подвергаться непосредственно обстрелу своей артиллерии.

Признаться, я почувствовал глубокое уважение к авторитету начальника артиллерии. Он умел так тонко рассчитывать. По телефонному проводу он был безжалостен и непобедим.

Вечер был туманный. Туман поднимался с Днепра, подползал быстро, закрывая слепящей пеленой окопы и горизонт.

Где-то затрещал пулемет и смолк. Степь насторожи-

лась. В тумане загремели колеса. Рассыпая искры, от окопов возвращались походные кухни.

Придут ли?

Ваня Петров рассказывал анекдоты. Но в тот вечер смеялись только его глаза. Мы все ждали, превратившись в слух и слившись с настороженной туманной тишиной.

Снова пулемет. Но уже трещит, не смолкая, — минуту, две, три, еще и еще... Трещит, задыхаясь (должно быть, глотает новую ленту), трещит, испуганный тревогой. Скоро к нему присоединились винтовки. Потом прогремел выстрел из тяжелого орудия. Над нашими головами пролетел и разорвался первый снаряд. В тумане, как в клубах пара, закипел бой, приближаясь со стремительной быстротой. По-видимому, стреляли и белые. За нами рвались снаряды.

Телефон перестал работать.

Где-то в надежной паутине проводов сидел осторожный начальник артиллерии. Ваню Петрова я послал в окопы узнать, что там происходит. Мы ждали его с нетерпением. Уж не заблудился ли он в тумане?

Вдруг из тумана выросли два всадника. Очертания фигур расплылись в тумане, и лошади казались невероятно огромными. Взмыленные кони тяжело храпели, белая пена летела клочьями. Всадники почти лежали на крупах.

Одним из всадников оказался командующий.

— Товарищ Гайгал, сейчас идут в наступление танки. По сведениям разведки, они взяли направление на ваш сектор. Примите их как должно.

— Будет исполнено!

— Ну, не дрогнули ли сердца?

— Нет, товарищ командующий!

— Всего хорошего!

— Будьте покойны, товарищ командующий!

Он ускакал к окопам. Мы остались в степи.

Вскоре вернулся и Ваня Петров.

— Все хорошо. Белые пытались подползти к проволочному заграждению, но отбиты с большими потерями.

Голос Вани дрожал от волнения.

— Почему так долго ходил?

— Расстрелял одну пулеметную ленту.

Но что это? Снаряды посыпались совсем близко от нас? Странно, казалось, что стреляют наши орудия. Разве наши отступили? Влево или вправо?.. Не может быть, мы заметили бы цепи перебежавших, несмотря на туман.



Впереди по-прежнему строчили пулеметы, трещали винтовки и грохотали орудия. Значит, дивизия там. Окопы не сдаются.

(Позже я узнал, что наши остались в окопах даже тогда, когда через окопы поползли танки, и открыли неожиданно огонь по белым, наступавшим под прикрытием танков.)

Мы сидели в тумане и ждали. Где-то вблизи заработал мотор. Уж не автомобиль ли командующего? Не решил ли командующий, как всегда, смело объехать на автомобиле позиции, несмотря на перестрелку?

Мы ничего не понимали и, признаться, о танке пока не думали. Совсем неожиданно для нас, бросая в туман панические вопли: «Танк, танк!» — проскакали мимо санитарные повозки (перевязочный пункт был рядом). Над повозками и над нашими головами засвистели снаряды. Где-то близко затрещал пулемет. И совсем уже рядом громко заработал мотор. Танк!

В каком направлении он движется?

Ваня Петров со смеющимися глазами снова пошел в разведку.

Снаряды соседних батарей рвались очень близко. Танк, вероятно, был недалеко и двигался не торопясь, точно нащупывая в тумане дорогу.

Петров скоро вернулся бегом.

— Танк! — вскрикнул он, запыхавшись, и показал рукой. — Танк там!

И вдруг упал с еще протянутой рукой.

— Ваня, что с тобой?!

— Ранен...

— Ваня!

— Ваня!

Он не отвечал. Ваня Петров ошибся — он был не ранен, он был убит.

Мы выстрелили в том направлении, куда показывал Ваня.

В том секторе, где был танк, все время рвались снаряды. Посыпались и наши. Но танк продолжал работать. Мы все время слышали беспокойный пульс его металлического сердца. Танк приближался медленно, обдуманно, часто останавливаясь, как бы лавируя между выстрелами. После каждого выстрела мы прислушивались — сердцемотор все работало. Во мне росла злость от своего бессилия. Скорей, скорей!

— Янис, давай же снаряд! Заснул, что ли, Янис?

Янис в самом деле заснул... Заснул, прислонившись к колесу артиллерийской повозки... Из рта его текла красная струйка...

Я его оттолкнул от повозки. Тогда нам некогда было думать о смерти и уважении к мертвым. Янис Зедынъ был тяжелый, как те кули, которые мы с ним когда-то таскали осенью в хозяйский амбар.

Я не умел поднимать снаряды, как это делал Янис Зедынъ. Но в ту ночь я подымал их, не чувствуя тяжести. Черт его знает, откуда сила бралась!

Но один снаряд застрял в орудии без выстрела — мадьяр не мог выстрелить, он корчился на земле, тяжело хрипя.

— Я сейчас... я сейчас... встану...

Мне некогда было ждать. Я выстрелил сам. Я остался один. Сам подавал снаряды, сам заряжал, сам стрелял, сам целился. Пули свистели вокруг. Жаркая ночь была, ну и потел же я тогда!

Как долго это еще продлится? Казалось, танк никогда не выползет из тумана.

Наконец выплыл он совсем близко из белой мглы — огромный, темный, выплевывая огонь. Он остановился в каких-нибудь тридцати шагах от меня, как будто нерешительно ощупывая дорогу и точно собираясь вернуться назад.

И тогда я выстрелил. Я выстрелил — и упал. Но, падая, видел, как подпрыгнул кверху танк, и слышал, как затрещали его кости, как он застонал. Мотор смолк. Из танка взвился кверху огненный столб. Два человека выскочили из него и, отстреливаясь из ручного пулемета, побежали в туман. Я погнался за ними. Махал своим револьвером с единственной оставшейся пулей и кричал: «Ур-ра!» Я хотел их поймать. Их пули испуганно летали мимо меня. Внезапно жгучая боль ожгла мне ногу. Я запнулся в траве. Упал и все же кричал свое безумное «ур-ра!».

#### 4

Проснулся в лазарете.

Долго, должно быть, я спал. Голова тяжелая, пустая. Яркое солнце неслышно скользило по стенам. Но холодный пот выступал у меня капельками на лбу. И я подумал, что уже осень.

Почему же я в лазарете? Да ведь меня ранили. Ведь у меня болит нога. Я ясно чувствовал, как горят от боли пальцы и колено. Значит, я ранен легко.

Мне хотелось говорить, но мне запретили. Сестра, милая, внимательная, двигалась тихой тенью, неслышно скользя по комнате, как солнце.

Я вдруг вспомнил Яниса Зедыня. Вспомнил, как мы ели с ним печеную в костре румяную картошку и дымящуюся на осеннем воздухе горячую кашу.

— Дайте есть! Есть!

Я почувствовал острый голод. Разве я так давно не ел?

Сестра начала давать мне с ложечки какую-то кислую жидкость. Я чувствовал, как она проходила холодной струйкой в желудок, — у меня, вероятно, был сильный жар. И вдруг рука сестры стала пухнуть, навалилась на меня тяжелой горой. Задыхаясь, я хотел кричать, и не мог. И снова потерял сознание.

Очнувшись от бреда, я увидел, что доктор сидит на моей кровати, держит мою руку в своей и внимательно смотрит поверх очков на меня.

— Как вы себя чувствуете?

— Хочу есть!

— Сегодня вам дадут бульона.

— Скоро заживет моя нога?

— Все страшное позади.

Он глядел куда-то в сторону.

— Кризис вы хорошо перенесли... Вам сейчас лучше поменьше говорить и меньше думать, — прибавил он тихо.

Мне было хорошо. Я чувствовал свою больную ногу, тяжесть в ней и тепло. Больше того, я чувствовал свои пальцы и смеялся.

— Ну? — улыбнулся доктор.

— Я чувствую свои пальцы на ноге. Я их чувствую лучше, чем пальцы на руках.

Доктор опустил голову. Он взял мою руку и сказал:

— Бросьте вы думать о своей болезни. Скоро вы совсем выздоровеете.

Когда я пытался приподняться на кровати, он ворчливо уложил меня на подушку.

А я чувствовал себя хорошо, и так хотелось погулять по комнатам.

В тот же день меня навесгил командующий. Пришел такой знакомый, большой, бородатый, в коротких сапогах. За ним вошел, позвякивая шпорами, начальник артиллерии, чистенький, выбритый, румяный.

Командующий неловко взял мою руку.

— Товарищ Гайгал, я пришел сказать вам, что Революционный совет наградил вас орденом Красного Знамени.

Огромные красные руки неловко прикрепили к моей рубашке орден. Я был счастлив и горд.

— Товарищ командующий, у меня к вам просьба. Хочу вернуться обязательно в свою дивизию.

Борода командующего расплылась в широкой улыбке.

— Хорошо, хорошо... Увидим... Видите, Андрей Петрович, какие у нас хорошие ребята, — с одной ногой хотят воевать.

— Как? С одной ногой?

Доктор не успел положить меня обратно на подушку, — так стремительно я сел и отбросил одеяло. У меня одна нога, вместо другой — забинтованный обрубок!

Я — калека...

Товарищи, я не умею плакать. Но тогда я тихо заплакал, кусая до крови губы. Не мог сдержать своих слез. Горячими каплями падали они мне на щеки, на руку командующего.

— Успокойся... Это ничего... Мы тебе сделаем хорошую искусственную ногу, ты и не почувствуешь своей потери... Друг мой... Милый мой, хороший...

Теплая ласка была в его словах.

Я невольно улыбнулся сквозь слезы.

— Ну, вот видишь... Воин должен ко всему привыкать.

Мне стало стыдно за свою слабость, за слезы. За то, что эти слезы видел не только командующий, но и начальник артиллерии. Я смеялся и плакал...

— Успокойся... Будь же солдатом, товарищ Гайгал!

Слезы меня успокоили и принесли сон. Он наклонился надо мной в мягкой пуховой фуфайке и щекотал бородой, так похожей на бороду командующего.

За все время, пока я лежал, мне так и не удалось взглянуть на себя в зеркало. Только когда я начал ходить (наши в то время были уже в Крыму), увидел свое отражение в зеркале.

Я поседел.

К своей ноге я привык. Привык и к седым волосам. А сердце мое все такое же, как и тогда, когда я вместе со своим орудием колесил по дорогам вселенной... Думаю, что еще смогу бороться с танками...

Вы спрашиваете о командующем? Он погиб под Перекопом. В самую опасную минуту, когда огненный вихрь ломал в степи наши ряды, командующий шел впереди. Он гордо и не сгибаясь нес свою желтую бороду навстречу Перекопскому валу, а за ним, шагая через трупы, шла армия — оборванная, серая и непобедимая, — наша.

Командующий остался на Перекопском валу, у ворот в Крым. Но то новое, что на своем гребне подняло его над простором таврических степей, шло вперед бурным весенним потоком, переливаясь через вал.

Я хотел рассказать о танках, а рассказал о людях и... любви. И мне кажется, что в битвах будущего победят лишь те танки, которыми управляют люди, сильные своей ненавистью и любовью.

## 5

Все это я описал со слов красного инвалида Петра Гайгала. За факты отвечает товарищ Гайгал. Из разговоров с другими участниками я убедился, что рассказ его верен фактически, хотя некоторые подробности, может быть, не совсем исторически точны. За стиль отвечаю я, хотя старался по возможности применять выражения товарища Гайгала. Я уверен, что он сам когда-нибудь лучше и подробнее опишет свои боевые воспоминания. Насколько я знаю, он уже пробовал взяться за перо.

Еще об одной особенности стиля. В рассказе часто встречается слово «я». Критики (многие из них в гражданскую войну отсиживались в тылу, как начальник артиллерии), пожалуй, станут говорить, что в рассказе выведена отдельная личность, заслоняющая работу коллектива в гражданскую войну. Я с ними не согласен. Это «я» пишется не с большой буквы. А в гражданскую войну тысячи таких «я», сливаясь воедино, творили героический, незабываемый эпос гражданской войны, выросший из крови и мук творчества.

Рассказ, признаться, писали наспех. Товарищ Гайгал очень занят, работает в Осоавиахиме и МОПРе (между

прочим, он ведет усиленную кампанию за танк «Латышский стрелок»). Я тоже за последнее время занят больше обычного.

В заключение — замечание научного характера. С фактами я ознакомил специалиста по артиллерийскому делу. Он не оспаривает умения товарища Гайгала обращаться с орудием, но говорит, что товарищ Гайгал действовал как дилетант. Прежде всего взял себе к орудию мало помощников, а затем, просто непонятно и неправдоподобно, как он сумел один справиться с орудием. Вообще он сражался вне норм и законов военной науки.

Может быть, это и так... Но вся великая эпоха, которую мы создали и в которую мы живем, стоит в конце концов вне всяких прежних норм и законов.

Ночью 22/23. X. 1927

## В ЛЕСУ

Уже второй день рота в лесу.

От деревни Охотничьей до уездного города было около ста километров. Сначала хорошая, выезженная дорога шла равниной, но дальше она тянулась по лесу зеленой, давно заброшенной тропой. Мосты через реку и канавы были разрушены, сожжены, на дорогу буря навалила деревья. Местами попадался глубокий овраг, поросший кустами, и роте поневоле приходилось останавливаться.

В прежние времена дорога была веселой, оживленной — связывала лесные деревни с уездным городом. Из города в деревни шли соль, сахар, машины, порох, дробь. Из деревень в город — меха, мясо, дичь...

Взять хотя бы деревню Охотничью. Стоит она окруженная лесом. Двести дворов в ней и церковь (купола ее, надув зеленые щеки, дразнят лес поверх деревенских крыш). Жители занимались хлебопашеством и скотоводством. От зеленых трав, от мягких веток и молодых побегов коровы были мягкие и гладкие, как мох. Зимой мужчины промышляли охотой. Землепашеством занимались мало — лишь бы хватало хлеба на зиму. Да и земля-то была нехорошая — сердитая земля: песок, реже глина. К Славгороду, к Барнаулу, где чернозем, — там, понятно, землепашцу жилось лучше.

Уездный город давно пришел к заключению: Охотничье — центр красных партизан и база атамана Свистуна (Свистун — бывший председатель уездного Совета, железнодорожник, фронтовик в мировую войну). Непокойный, бедовый народ охотники!

О жизни в деревне Охотничьей в городе знали только по слухам. Охотничья и другие деревни вдоль лесной дороги жили своей обособленной жизнью. Сначала город смеялся: красная лесная республика... Но когда партизаны все больше смелели и чиновники из города уже стали бояться проехать без конвоя даже два-три километра, пришлось подумать о серьезной борьбе.

С тихим шумом рота — серая букашка-многоножка — ползет лесной тропой. Наверху зной не пошевелит верхушки деревьев. Коршун как черная точка в раскаленной синеве. Но внизу, меж стволов, из глубины леса сквозит мягкий, приятный, пахнущий горечью смолы и пьянящими кислыми муравейниками ветерок. Мухи, оводы, комары, мошки вьются над головами идущих, попадают в глаза, лезут в нос, в уши, в волосы под фуражки.

Ротный командир, поручик Прохоров, едет верхом впереди роты. Лошадь замучили насекомые: она трясет головой, шевелит задом, вертит хвостом. У поручика болит голова. И мысли тяжелые — камни, не мысли. Время от времени вялыми, мутными глазами смотрит он на лес. Местами вдоль дороги стоят густой стеной ели, смешанные с березой. Где растут сосны, лес редее. В мягком бархатном мхе лежат упавшие деревья, разметаив ветви, словно руки. Некоторые деревья вырваны с корнем. Мировому бродяге — вихрю — самое большое дерево — пустяк; вырвет, покрутит, как кнутовищем, поломаёт на куски и воткнет еще ствол в землю корнями кверху.

Поручик видит только лес: стволы, упавшие в мох, деревья, сосны, ели...

Но глаза лошади видят лес во всей его первобытности. Лошадь под поручиком вдруг бросается в сторону, хрипя, встает на дыбы. Поручик, не отпуская поводьев, вцепился в гриву, вглядывается пытливо в лес. Но в лесу тихо, и он не понимает, почему, уже укрошенная, лошадь еще долго дрожит под ним.

Когда лошадь в испуге поднимается на дыбы, ему кажется, что она чувствует то, чего не чувствует он, — глаза, внимательно следящие за ним, за ротой. И вдруг ему становится не по себе.

Поручик не хочет думать. Поручик насвистывает старый цыганский романс. Насвистывая, вспоминает мелодию, слова и начинает петь:

Мой костер в тумане светит...



Лошадь идет большим, тревожным шагом, беспокойно шевелит ушами, ловя каждый звук. У дороги зеленый, поросший мхом камень — точно страшная голова из земли высунулась, разинула пасть, вот-вот завоюет под ногами лошади... Лошадь снова пугается. Храпя, встает на дыбы, не хочет идти мимо камня. Вот куст. Куст ли это или лесовик с зеленой бородой? Ствол дерева, вихрем воткнувшийся вверх корнями в землю, кажется лошади уродливым, готовым к прыжку зверем с развевающейся по ветру гривой...

С тихим шумом идет рота.

Поручик Прохоров — единственный офицер в роте. Должны были быть еще два. По крайней мере, позавчера на банкете пили за здоровье трех будущих героев. При мысли о них поручик криво усмехнулся. В последний день герои как в воду канули. Лес пугал всех.

Лес, лес... Потому и экспедиция так запоздала, что долго не могли ее снарядить, что пугал лес своей зеленой необъятностью, хотя, казалось бы, приготовить две-три роты для экспедиции — сущие пустяки.

В уездном городе стоял резервный полк. Целых шестнадцать рот. В каждой роте двести — триста человек. Казармы переполнены, даже частные дома заняты. Город стонал под тяжестью гарнизона. И все-таки часто ночью над городом смело трещали выстрелы партизан. Ежедневно в резервном полку двадцать — тридцать дезертиров. Несмотря на строгую дисциплину, на зоркую охрану, несмотря даже на то, что по приговору военно-полевого суда некоторые дезертиры были повешены и для острастки поучительно висели несколько дней перед казармой с дощечкой на груди: «Дезертир, друг красных».

Ничто их не пугало.

В каждом движении этих солдат, согнанных в казармы из Барнаула и Славгорода, даже в подобию страсти, даже в пальцах, прилипающих к фуражке при встрече с офицером, — во всем было что-то не подавимое ни дисциплиной, ни экзекуциями (ротный командир по закону, который даже во времена царя Николая II редко применялся, мог всыпать двадцать пять нагаек). С такими вояками нельзя было идти в лес, угрожавший с трех сторон городу скрытой бурей своих зеленых глубин. Поэтому всем понравилась идея Прохорова — организовать роту из воспитанни-

ков последних классов местной гимназии. Несколько недель рота маршировала по городу, обучалась стрельбе, бодрила бравурным оркестром кстати и некстати сердца горожан. И пришло время, — это было вчера, — когда на площади, перед лицом всего города, рота стояла строгая, полная решимости. Когда священник кропил головы святой водой, а матери плакали, причитали, еще выше поднимались головы гимназистов, и каждый думал про себя в третьем лице: «На его смелом лице не дрогнул ни один мускул». После того пришлось идти через толпу, мимо гимназисток, всхлипывающих в фартук. Это было нелегко. Кое-кому из вояк пришлось закусить губу, чтобы удержать позорный рев. Сыпались цветы, цвели в окнах белые носовые платочки, когда рота проходила мимо толпы и домов.

Первую усталость рота почувствовала уже тогда, когда в четырех километрах от города оркестр расстался с нею. В роте пошла воркотня. Разве оркестр не мог бы тоже принять участие в экспедиции? Было бы хорошо. С музыкой — в бой. Умереть с музыкой, как герои, — прекрасно! Что за бой без музыки?

Но Прохоров строго прикрикнул на ворчавших, высмеял их, назвал гимназистами. Он был не в духе. Голова начала болеть еще на площади — по нему никто не плакал, платочком ему никто не махал.

Фельдфебель Никандров — единственный взрослый в роте — пытался успокоить огорченных мальчишек.

— Оркестр — это ведь пустяки. Песни надо петь. С песнями и смерть мила.

И сразу затянул солдатскую песню, веселую, залихватскую, бесшабашную, — такую, что рот разевается до ушей, фуражка беззаботно сползает на затылок. Допев до половины, оборвал.

— Почему не подтягиваете?

Оказалось, что никто этой песни не знал.

— Ну, а не знаете ли такую? Тоже нет? А какую?

Желтая, как зрелая пшеница, борода Никандрова от удивления вытянулась: общей, всем знакомой песни не нашлось.

— Ну, пойте тогда какую знаете.

Гимназисты начали петь. Но песня была нескладная, шаги не попадали в ритм. Никандров сердито плюнул:

— Ишь ты, нашлись солдаты!..

Никандров был солдатом с головы до пят. Служить он начал уже с конца японской войны, дослужился до ефрейтора. За мировую войну всю грудь увешал крестами и медалями.

— Ваше благородие, — доложил в первый вечер Никандров, — с такими солдатами далеко не уйдем.

— Ты думаешь?

— Так точно.

Прохоров смотрел на Никандрова, сжимал ноющий лоб и думал, что хорошо Никандрову так вот говорить, бегать, дуться...

— Ничего, старина! Привыкнут. Это в первый день только так. Завтра будет лучше.

Никандров еще что-то ему говорил, но Прохоров развалился на мху, не слушал, смотрел куда-то поверх верхушек деревьев.

Никандров, окончательно рассерженный, вернулся к роте.

Те, кому удалось попасть в санитарные телеги (они сидели, точно цыплята в лукошке, вытянув шеи), требовали, чтобы их немедленно эвакуировали в город. Никандров — злой, несговорчивый — выгнал их из телег.

— Ишь вояки нашлись!.. Сопляки! Бабы! Вerezовой каши не хотите?.. Эй, блоха, чего плачешь? Пососи палец, может быть, молочко потечет!

Никандров до поздней ночи суетился, кричал и ругался. Немного успокоился тогда, когда побил солдата-обозника, который заснул, не выпрягши лошадь. Ротному фельдшеру еще больше забот было, глаз не сомкнул до утра: лечил стертые ноги, успокаивал стонавших...

Наутро рота встала поздно. Когда Никандров расставлял вояк по местам, Прохоров, тяжелый, равнодушный, все с той же больной тяжестью в голове, стоял, прислонясь к дереву, не обращая ни малейшего внимания ни на роту, ни на Никандрова, необычно звонкого и сердитого.

Никандров несколько раз пытался обратиться к Прохорову:

— Ваше благородие! Посмотрите на них. Разве это солдаты?

— Ну, живей! Голову выше! Чего шагаете, точно поп с дароносицей?

Равнодушие Прохорова и его односложные ответы сердили Никандрова. Поэтому он вел роту, сердито ворча в бороду:

— Какой это командир?.. Не дай бог! А солдаты... Сброд, а не солдаты... Мальчишки! Эй ты, блоха, где твоя патронная сумка?

У Никандрова маленькие живые глазки под густыми бровями, как белочки в кустах.

— Эй ты!..

— Эй ты!..

Солнце уже в зените. Наверху зной не шевелит верхушки деревьев... Коршун как черная точка в раскаленной синеве...

У поручика болит голова. Тяжелая, как свинцом налита. Поручик знает: снова болезнь... Это потому, что за последние дни он слишком много пил. Эх, конец! В выздоровление он уже больше не верит. Бред... С 1914 года, когда он, гимназист седьмого класса, убежал из школы добровольцем на мировую войну, — бесконечный бред...

Ему почему-то вдруг вспомнился Невский проспект (теперь там красные). Он молод, подпоручик. Правая рука на перевязи, на груди «Владимир». За локоть левой руки уцепилась Надя — милая, как солнце у Невы сквозь сентябрьский туман... Поручик облизывает высохшие губы.

Потом — цыганка Маша. Нагая бешеная страсть. И первая поездка на острова, на Елагин в осеннюю ночь в автомобиле. Странно: ему еще сегодня помнится, как жутко блестели глаза лошади в свете автомобильного прожектора. В ту ночную поездку его, уже пьяного, поразили глаза лошади — зеленые, омытые дождем огни семафора.

Почему он, Прохоров, теперь здесь? Почему? Болит голова. Он давал пускать себе в жилы жгучие, кипящие препараты, отравляя тело ртутью, все напрасно...

Поручик провел рукой по затылку. Там — мозги, каменистые, тяжелые. От затылка камни — поручик ясно чувствует отдельные удары — ударяют в лоб, выдавливают глаза из орбит.

Шестьсот шесть... девятьсот четырнадцать... Ему, Прохорову, двадцать три года... Жаль... Еще мог бы пожить.

Девятьсот четырнадцать — тысяча девятьсот четырнадцатый год. . .

Странно — совпадает.

Рота плетется, вялая, размякшая. Гремят котелки, ударяясь о приклады винтовок, и Прохорову кажется, что по тропе, позвякивая бубенчиками, бредет усталое стадо.

— А если из нас кто живым в плен попадет?

— Известное дело — пытаться будут. Пятки на огне жечь будут.

— Тогда уж лучше застрелиться.

— Ты думаешь?

Никто не хочет быть трусом. Но челюсти сводит какое-то особое возбуждение, от которого набегают во рту тошнотворная слюна.

Выстрела Прохоров не слышал. Почувствовал только удар в грудь, от которого закачался в седле и, потеряв равновесие, упал. Падая, видел: ломался с треском лес, бурно падал на него, душил...

После выстрела, выбившего поручика из седла, позади затрещал пулемет. Ехавшие сзади обозники с криком врезались в роту, разметав ее, как вихрь листья.

— Красные!

Обезумевшие люди метались по дороге, пока один за другим не попадали на землю...

Первые выстрелы еще были редкими. Стрельба возрастала вместе с паникой. Вскоре стреляли все, втянув голову в плечи, припав плотнее к земле, — патрон за патроном. Пулеметы работали без остановки, рвались гранаты, разбрасывая осколки над метальщиками. . . И трудно было понять — стреляет ли невидимый противник или это свои пули резко свистят над стреляющими.

Лес — еще недавно тихий — шумел, словно огромный кипящий котел.

Выстрелы отдавались в лесу. Десятки отголосков, слившись вместе, катились по верхушкам в оглушительном концерте. И все-таки в этом концерте каждый выстрел был слышен отдельно — твердый, как удар молотка о железный болт... Казалось, в лес налетели сотни дятлов и звонко стучали твердыми клювами по стволам деревьев.

Лежавшим вдоль дороги казалось: каждое дерево,

каждый куст — смерть, ужас. У людей глаза как у испуганной лошади, которой камень кажется живым.

Никандров, усталый, задыхающийся, ползал между стрелявшими. Рыжая борода на кирпично-красном лице казалась поблекшей. Голос от крика охрип.

— Черти! Целиться надо! Целиться! По одному патрону! Залп! Черти, слышите? Залп!

Залпа не получалось.

Не помогали и такие убедительные средства, как пинок ногой. Никандров, ползая между стреляющими, пылал гневом.

Выстрелы смолкли один за другим только тогда, когда патроны совершенно иссякли.

Никандрову удалось наконец водворить кое-какой порядок в роте, и лес снова стоял вокруг жутко тихий. Люди, припав к земле, слышали только быстрый взволнованный стук крови в висках.

Минуты ползли медленно, как улитки.

— Надо беречь патроны. Они притаились здесь где-нибудь, — говорил Никандров, — эту хитрость я хорошо знаю. Когда под Варшавой немцы окружили наш батальон, так же было. Сразу смолкла стрельба немцев. Как ножом отрезало. Мы думали, немцы отступили. А только попробовали подняться — целый ад... Так до вечера и пролежали. Голову боялись поднять с земли. Вот и теперь так. Ведь немец помогает красным. Мы окружены!

Лес, притаившись, следил за людьми, точно зверь, готовый к прыжку.

Прохоров лежал на дороге навзничь, широко размаив руки. Над ртом, вокруг которого черным пятном застыла кровь, отчего рот казался широко открытым, точно поручик кричал что-то, над белками широко открытых глаз вились мухи и комары в веселой жужжащей пляске.

— Ой!.. Больно!.. Кровь! — вскрикнул кто-то, катаясь в конвульсии, как подстреленный заяц. — Ой! Умираю!

— Федя ранен!

— Федя умирает!

— Фельдшера скорей, фельдшера!

— Замолчите, черти, — шипел Никандров, — воткните ему дуло в зубы, пусть сосет и не орет!

Кричавший замолк: тихо стонал сквозь стиснутые зубы... Оказалось, что ранение не тяжелое: пуля попала в мякоть руки.

...Тишина была такая, что слышно было, как капает с деревьев смола.

— Сдавайтесь! — кричал кто-то из лесу.

— Сдавайтесь! — откликнулся лес.

— Ну? — Никандров посмотрел вокруг злыми вопрошающими глазами. — Будем сражаться или?..

— Патронов у нас мало, — робко отозвался кто-то.

— Знать бы, что оставят в живых...

Лес, тихий, выжидающий, теснился вокруг дороги. Раздался выстрел. Один из гимназистов подпрыгнул кверху, упал без стога, свернувшись комочком (привык, должно быть, дома так спать).

— Петров?

— Петров убит.

Тишина...

— Сдавайтесь! — кричало из лесу.

Никандров, опираясь на руки, поднял голову.

— Кто ты таков?

— Свистун... Сдавайтесь!

— Какие условия?

— Сдайте оружие. Выдайте офицеров. Сами можете идти.

— Офицеров нет... Есть только фельдфебель...

— Фельдфебель может идти.

— Перекрестись, что не врешь!

Лес с минуту молчал (вероятно, улыбался). Никандров снова припал к земле.

— Хорошо... Перекрестился...

— Дай пять минут на обсуждение.

— Даю пять минут.

Какие могут быть возражения против сдачи? Патронов мало. Горсточка людей не может пробиться обратно из лесу. Надо сдаваться, чтобы напрасно не проливать кровь.

Снова прогремел выстрел. Пуля на этот раз ударилась в пень недалеко от Никандрова.

— Жду ответа! — кричало из лесу.

— Условия принимаем! Сдаемся!

— Выстроить роту на дороге! Оружие сложить в два-

дцати шагах от правого фланга! Понял? Двадцать шагов направо.

— Понял.

— Полчаса.

— Будет сделано.

Лес снова затих.

Никандров сорвал с плеч погоны, с груди кресты. Заботливо завязал их в платочек, спрятал в карман брюк.

— Снимите погоны. Красные их ненавидят.

Рота была выстроена. Никандров отсчитал двадцать шагов — оказалось, рядом с Прохоровым.

— Оружие сюда!

Гимназисты один за другим бросали винтовки, боясь взглянуть на потемневшее, вспухшее, усеянное насекомыми лицо.

К винтовкам присоединились три легких и два тяжелых пулемета.

— Мы готовы.

— Я иду. Не шевелись!

Сто пятнадцать пар глаз уставились в лес. Ждали чего-то сверхъестественного, необычного, но вышел — человек. Под незастегнутым пиджаком синяя — такая привычная, такая обыкновенная — рубашка. Подошел к Никандрову, остановился, поймал беспокойные, бегающие глаза Никандрова.

— Ты фельдфебель?

У пришедшего в глазах такой покой, что Никандров, вытянувшись, приложил руку к фуражке.

— Так точно, ваше...

— Не надо! Напрасно я тебя, сволочь, пощадил!

Отошел, сел на груды оружия. Сто пятнадцать пар глаз следили за каждым его движением.

— Выходите!

Пришедший кричал лесу в рог из березовой коры.

— Выходите! — откликнулось лес.

Пришли еще двое, каждый со своей стороны; один из них с ручным пулеметом.

— Только? — спросил Никандров, покусывая губы.

— Разве недостаточно? — зажмурив глаза, улыбнулся человек с березовым рогом. — Где другие, спрашиваю я!



Свистун засмеялся, помахал рогом в сторону сосен.

— Тьфу, дьявол! — Никандров перекрестился. — Только трое вас было?

— Трое, — еще улыбался рот, а ручной пулемет зорко следил за Никандровым.

— Посмотрите сами, что это за солдаты. Разве с такими воевать можно? — пытался оправдаться задетый за живое Никандров.

Свистун засмеялся.

— Ишь какой злой старик!

Никандров замолчал, ворча что-то непонятное в бороду.

— Этот тоже убит? — указал Свистун рукой на гимназиста.

— Убит... — проворчал Никандров.

Свистун встал, пошевелил каблуком голову Прохорова.

— Их надо похоронить. Шевелись, старина, вечер близится. Только сапоги с убитых снимите... Пригодятся.

Похороны шли медленно: пришлось рубить корни, рыть короткими ручными лопатками. Партизаны тем временем складывали оружие на телегу. Когда убитых зарыли, начало уже смеркаться.

— Ну, старик, можешь со своими мальчишками шагать назад, — сказал Свистун. — Впрочем... Нет, нет, подождите!.. Я еще хочу вам кое-что сказать. Вы еще молоды. Может быть, ваши сердца еще не обросли жиром. Слушайте.

То, что говорил Свистун, было какое-то особенное, неслыханное, больно захватывающее.

— Обещаем!.. — раздалось из ста пятнадцати глоток. — Обещаем!.. Больше не будем воевать!

И сразу военная одежда на незрелых плечах гимназистов стала широкой, чужой.

Молчал только Никандров... Потупив глаза, он о чем-то думал.

— Нам нужны винтовки, — сказал он угрюмо, когда смолкли крики. — Сами знаете: в лесу — волки... без оружия идти не можем.

Свистун подумал.

— Хорошо, вы получите четыре винтовки. Ну, чет-

веро сюда!.. Ты, старик, не ходи. Старому волку не давайте.

Сначала рота шагала спокойно. Никандров шел сзади, надутый, тихий. Но вдруг неожиданно, как воробьи с проволоки, сорвались с места передние ряды, бросились бежать, за ними — другие. Бежали все. Те, у кого ноги были стерты, не поспевали, плакали, кричали.

Бежали долго, не останавливаясь, в паническом страхе. Остановились только тогда, когда от бега дух захватило, ноги одеревенели.

Сгрудились тесной толпой, прижимаясь друг к другу, пугаясь темного леса.

— Где Никандров?

— Дядя Никандров!

— Дядя Никандров!

Дразня, отвечал только лес:

— А-а-а-а-а-о-о-о-о!

Партизаны, отъехав несколько километров от места стычки, остановились на ночлег.

Вдруг одновременно оба лежавшие у костра и стоявший на страже подняли головы и прислушались. Нет, это не шаги зверя... К костру осторожно приближался человек.

— Кто идет?

— Я... Никандров... фельдфебель.

— Чего ты хочешь?

— Примите меня к себе. Не хочу больше служить барчукам. Черт бы их побрал!

— У тебя оружия нет?

— Нет.

— Подними руки.

Три дула внимательно следили за человеком, приближавшимся к костру.

— Спокойной ночи, старик... Как бы там ни было — победим!

Свистун сразу заснул, не услышав раздумчивого после минуты молчания сказанного Никандровым: «Да».

Никандров, усталый от пережитого, от тепла костра и от ночи, тоже закрыл глаза, но долго еще слышал и чувствовал окружающее — костер, лес, близость людей.

Лес, стоявший вокруг густой стеной, лес, от которого Никандров отвык за долгие годы службы, снова стал ему понятным, родным, милым...

Ночью, когда взошла луна, у места стычки в лесу меж деревьев долго метались пугливые тени и боялись выйти на дорогу.

Первым вышел на дорогу седой, совсем белый в лунном сиянии волк.

Он задумчиво подполз к черной луже посреди дороги, обнюхал ее, потом сел, поднял голову и протяжно завыл...

## О СМЕРТИ

В последнее время я начал все чаще думать о смерти. Может быть, потому, что время от времени меня осматривают врачи. Я очень благодарен за такое внимание отзывчивому и милому Наговицыну. Врачи выслушивают мое сердце, считают пульс, щупают печень и кишечник.

Да, кишечник, говорят, у меня плох. Это, вероятно, потому, что я много воевал и, воюя, не слишком вежливо обходился со своим желудком. Мне, оказывается, уже в те дни была нужна диета. Благодарю за совет!

Да и сердце у меня расширено. Это потому, что в великие годы, когда у нас в каждом шве таились тифозные вши, кровь мою сжигал тиф. Это потому, что целыми днями и ночами я сидел верхом на лошади, случалось, спал на соломе, а то и вовсе не спал, бессовестно утомляя свое сердце, и, перегруженный всякими делами, жил вообще вне всяких норм.

Врачи правы. По ночам я иногда чувствую, слышу свое сердце. Работает оно глухо, неровно. Что-то в нем заскакивает, как в усталых, старых часах, готовых остановиться. Сердце сладко замирает, но в мозгу пульсирует, кипит крови! Конец! Конец! Я сажусь, но боюсь вскрикнуть, чтобы не разбудить своего маленького сына. Так сижу я в кровати, седеющий, жалкий, и прислушиваюсь, не слышно ли в ударах моего сердца тихих, крадущихся шагов смерти.

Я вижу — вам смешно. Вы хотите сказать: какой трус этот человек, которого мы все считаем героем! Вы начинаете сомневаться, можно ли верить тому, что человек этот был смелым в бою и начинаете подозревать, не потерял ли он свои конечности под трамваем или в другой уличной катастрофе.

Вы правы! Смейтесь! С тех пор как я стал спать в кровати, я боюсь смерти. Кровать напоминает мне гроб. По-

этому я иногда стелю на пол пальто и ложусь. Тогда я сплю спокойно, как спал все те годы, когда борцы за революцию еще не смели мечтать о кровати. Мне не жаль расстаться с гробом, именуемым кроватью. Я еще не научился спать на полу, постелив пальто и подложив под голову локоть.

Умереть в кровати я не хочу. Смерть в кровати слишком торжественна. Вся церемония похорон мне противна. Противен путь в крематорий. Вижу себя в гробу. Моя единственная рука, испещренная, как географическая карта, синими, узловатыми жилами, бессильная и увядающая, лежит на вздувшемся животе, — ему, во всяком случае, следует вздуться от радости, что наступил покой, — этому животу, больному, уставшему переваривать всякие неперевариваемые вещи и терпеть придирки врачей. Мой курносый, простодушный нос заострился. Он сильно вытянулся, точно хочет вдохнуть все запахи цветов, в которых я лежу в первый и в последний раз. Глаза у меня полузакрыты. Волосы на мертвой голове мертвые, тусклые. Я не сомневаюсь, что меня, как старого партизана, проводят с музыкой. Об этом позаботятся друзья. Они торжественно будут стоять вокруг моего гроба, тихо перешептываясь, точно боясь разбудить.

Черт побери эту торжественную церемонию!

Поэтому я говорю: хочу умереть так, как умер мой друг, незабвенный донецкий шахтер Нирненко, который повел за собой в революцию родную деревню Титовку и сложил под Варшавой свою горячую светлую голову. Я хочу умереть так, как умер другой шахтер, славный командир Сто тридцать шестого полка Дзюба, или так, как умер храбрый Апатов, — у него были длинные, как у священника, волосы, блестящие, черные, как та смола, которой он, мариупольский рыбак, когда-то смолил лодку. Глаза у него были голубые, той теплой голубизны, какая бывает у моря летом. Я хочу умереть в бою.

Хорошо умереть так, как летом 1918 года умер путилевский рабочий Вавилов, командир броневика при штабе моей партизанской армии. В то лето в сибирской степи все хорошо росло. Рощи пышно зеленели огромными зелеными купами. Море тяжелых колосьев колыхалось волнами на нивах вдоль железной дороги, где мы воевали. Нам было жаль отдать белым эту цветущую землю. Мы дрались как безумные. Мы дрались за лучшую, более лег-

кую жизнь для того крестьянина, который, поглаживая колосья, равнодушно, пожалуй, скорее враждебно, следил за огромными одуванчиками-шрапнелями, летавшими вдоль железной дороги. Охрипшие пулеметы лаяли тоже только у железной дороги. В степи же стояла тупая, равнодушная тишина. Мы кричали в степь: «Приходите!» Нам отвечало из зелени роц лишь равнодушное эхо.

Вавилов умер в станции Вагай. Вероятно, эту станцию не переименуют в память о нем, но я, глядя на карту Сибири, называю ее «Вавиловкой».

Белые зашли к нам в тыл. Станция осталась бы без охраны, если бы туда не подоспел Вавилов со своим броневиком. Целый час курсировал броневик у станции, выслеживая белых. Целый час пулеметный вихрь рвал слабеющие цепи белых. Мы подходили к станции, когда бой смолк, непонятный для нас в то мгновение, но шум его придавал нам особую бодрость, звал вперед. Мы бежали и прислушивались: бой все шел.

Что за бой? Кто там дерется? Почему бой внезапно смолк?

Наши разведчики почти без выстрела овладели станцией. Белые спешно отступали в степь. Перед станцией лежало около полусотни трупов. Там же, перед станцией, мы увидели черный, закоптелый броневик с двумя обгоревшими трупами.

Что случилось? Почему из броневика вырвалось пламя? Железнодорожники видели, как в пламени и дыму, сея вокруг себя ужас и панику, носился броневик Вавилова.

Так умер Вавилов. Он умер неплохо. Умирая, он, конечно, не думал о смерти. Он не думал о смерти, как не думал тогда о ней и я, не думали сотни людей, смотревших смерти в глаза. Мы умирали спокойно, зная, что умираем во имя лучшего будущего. Черт побери, мы умирали за большинство человечества!

О чем я говорил? Да, о сибирских просторах и о смерти металлиста Вавилова. Можно ли сосчитать всех тех, кто на этих просторах сложил свою голову за первые Советы и за мировую революцию?

В этих просторах прячется в зелени деревьев маленькая станция Подъем. Она называется так, вероятно, потому, что от Тюмени путь к Уралу идет в гору.

На станции, конечно, есть начальник. У него, конечно, красная фуражка, надев которую, он приветствует поезда.

Проводив поезд, он снимает свою красную фуражку и садится к телеграфному аппарату. На станцию редко заглядывают пассажиры. Еще реже останавливаются поезда. В зимние вечера, гордо сверкая огнями, по тихой, заснувшей степи бегут мимо экспрессы. Чего им здесь останавливаться — здесь — в снегу и во тьме, если в двадцати километрах отсюда их ждут впереди тюменские огни, депо с веселым шумом, перрон, залитый электрическим светом?

Пусть уж извинит меня начальник станции Подъем за мою навязчивость: я все же решаюсь вмешаться в его личную жизнь. Конечно, у него есть жена. Жить холостому, одинокому человеку в такой глуши невозможно. И если у него действительно есть жена — пусть уж он еще раз извинит меня, — я не сомневаюсь, что они оба не раз мечтали о жизни на другой, более крупной, светлой станции, у которой останавливаются экспрессы.

Милый начальник станции, я хочу примирить тебя с твоей судьбой. Пройдет несколько лет, и в пробегающих мимо поездах не найдется такого человека, который не захочет даже ночью встать с постели, чтобы взглянуть хоть в окно на тебя, на станцию с деревьями. Летом из поезда будут сыпаться загорелые экскурсанты, пионеры будут звонко кричать на перроне под тихими деревьями. У меня нет таких сильных и хороших слов, чтобы суметь рассказать, почему заслужила такую честь эта тихая станция у холма. Такие слова найдут поэты революции. Я знаю, что найдут они такие слова. Они найдут слова, которые ночью поднимут с постели самого равнодушного пассажира и заставят его подойти к окну вагона.

Летом 1918 года у этой станции погиб отряд латышских стрелков. Одиннадцать человек, все они прошли сквозь огонь мировой войны, все большевики — они умерли у этой станции.

Одиннадцать человек? Одиннадцать павших? Стыдись, Гайгал! Стоит ли говорить об одиннадцати, когда за революцию пали тысячи?

Я не могу забыть этих одиннадцати... Может быть, я полюбил их слишком сильно. Я полюбил их как славных парней и храбрых воинов.

Эту команду я привез с собою из Москвы. В Москву я уехал в начале 1918 года как делегат Съезда Советов Сибири голосовать за мир. В Москве я задержался. Мне, делегату Советов Сибири и старому фронтовику, приходи-

лось ходить по заводам, выступать с речами, воевать с социал-предателями — они тогда по-другому назывались, — которые в те дни очень бахвалились и штурмовали Московский Совет. Не раз приходилось мне торжественно обещать московским рабочим хлеб Красной Сибири. Вы можете себе представить мое возмущение и гнев, когда я узнал, что этому хлебу угрожают белогвардейские банды и белочехи. Разве я, Янис Гайгал, на массовых собраниях не обещал сибирский хлеб, ударяя себя звонко кулаком в грудь? Мог ли я допустить, чтобы все мои обещания, данные именем революции, оказались ложью? Мог ли я дольше оставаться в Москве, когда там каждый москвич, встретив на улице меня, большого крикуна на всех митингах, был бы вправе плюнуть мне в лицо, а при упоминании обо мне даже круглая белая борода Минора задрожала бы в смехе. Та самая круглая белая борода, которую я при помощи моей звонкой глотки так много мыл всякими плохими словами, каких я не сказал бы в другое время такому старому человеку.

— Папаня, идите лучше спать! Мы дали мир. Дадим мы и хлеб! И вы, папаня, сможете спокойно сидеть дома и кусать хороший сибирский хлеб уцелевшими зубами, которыми вы теперь хотите кусать Советскую власть.

В те времена у меня была такая глотка, что я в один день мог сказать пять, шесть речей. Даже сам товарищ Ленин, который присутствовал на одном митинге, был очень доволен моей речью, отметил мою фамилию в записной книжке и пригласил зайти к нему.

— Я тебя обязательно познакомлю с Демьяном. Твоя речь была остроумной, я от души смеялся!

Приблизительно так он сказал.

Но зайти мне к нему не пришлось. На следующий день я узнал о первых боях под Омском. Я был так поражен и огорчен, что мне снова пришлось действовать и пустить в дело свою глотку.

В Москву тогда прибыли латышские полки. Их еще не посылали на фронт. Но я сагитировал одиннадцать добровольцев с четырьмя пулеметами. В тот же день я сагитировал еще одну батарею, вернувшуюся с фронта после демобилизации.

Так я стал главнокомандующим. Как главнокомандующий армией я сформировал поезд. Батарея и добровольцы уселись в поезд до того, как об этом стало известно начальству. Сознаюсь теперь в этом своем грехе. Надо ду-



мать, никакой трибунал не будет больше судить меня за это. Ведь тогда сердце мое так болело, что задерживаться в Москве, ходить по разным учреждениям в поисках разрешения я не мог.

Теперь, конечно, каждому ясно, почему я в то лето сразу стал главнокомандующим Первой Сибирской армии, фронт которой простирался между Ишимом и Тюменью. Славные, горячие были там бои! У Омутинска, Богандина и других станций!

Этот участок железной дороги между Ишимом и Тюменью я и сейчас еще так хорошо знаю, точно долгие годы ездил там кондуктором.

Положение Первой армии было нелегким. Ее теснили белые с двух сторон — от Омска и от Кургана. Железная дорога Омск — Челябинск была уже в их руках, и оттуда шли нам в тыл части белых, но мы дрались лицом на восток — в сторону Омска и Ишима.

И вот наступил день, когда мне пришлось бросить на станцию Подъем свой последний резерв — одиннадцать стрелков с четырьмя пулеметами. Белые угрожали тылу станции Подъем и тем самым и Тюмени. На фронте все силы были втянуты в бой. Ночью белые разведчики в ближайшем от фронта тылу взорвали мост. Наш единственный бронепоезд в то утро метался как бешеный зверь между фронтом и этим мостом. На починку моста, по мнению инженеров, нужна была целая неделя. Призвав на помощь своей глотке наган, я добился торжественного обещания инженеров починить мост к вечеру того же дня. Итак, бронепоезд пока не мог защищать станцию Подъем. Поэтому я послал туда все, что мог в тот тяжелый момент, — одиннадцать стрелков с четырьмя пулеметами. Их задачей было держаться, пока не починят мост и не освободится путь для бронепоезда.

Я при помощи своей громкой глотки старался организовать в Тюмени коммунистов, рабочих кожевенной фабрики и железнодорожников. Красному фронту нужно было пополнение.

Стрелки в то утро уехали с песнями.

— Сегодня мы наперчим свинцом обед белых!

В то утро они были веселы, как всегда.

В обед прервалась телефонная связь между Тюменью и Подъемом. Около станции Подъем свирепствовала пулеметная буря, свирепствовала почти до вечера. Стихла

только тогда, когда наш бронепоезд подходил к семафору станции Подъем, стоявшему весь тот день с поднятой кверху рукой.

Они хорошо дрались, эти веселые парни, и, когда были выпущены последние пули, а остатки белых снова кинулись им навстречу с воинственными криками, пулеметчики бросили в них гранаты. Взрыв разметал наших охрипших от крика пулеметчиков, стрелков и немало белых.

Тюмень была спасена. Мы могли ее спокойно эвакуировать. План белых окружить нас провалился.

Полковник Сыровой с остатками своих частей отступил от станции Подъем в степь. Вместо двухсот человек он отступил с несколькими десятками потерявших мужество людей, открывая нам путь на Урал и в советскую землю.

Когда я думаю о смерти этих одиннадцати или о смерти Вавилова, Нирненко и многих других красных фронтовиков, мысли мои легкие и ясные. Смерть уже не смерть, ее шаги звучат для меня как радостный марш войны и победы.

Мои больные мысли о смерти и уничтожении человека, проходя сквозь эти воспоминания, выходят на берег ясные и светлые. Так и наши рубашки, посеревшие от долгой носки, тоже светлели, когда мы их стирали в речной воде, взбаламученной войной.

Я знаю, все мои мысли о разных глупых вопросах, о смерти возникают оттого, что я вынужден сидеть в стороне от жизни. Если бы я не лишился у Перекопа левой ноги и правой руки, — тогда мне, против своего обыкновения, пришлось долго пролежать в осенней степи, — я, без сомнения, еще сегодня крутился бы в таком радостном вихре жизни, что мне некогда было бы заниматься ненужными размышлениями. Но когда человек сидит в стороне, ему в голову лезут всякие мысли — и дельные и пустяковые. Впрочем, нельзя сказать, что я сижу без всякой работы. Гунар Гайгал ходит в школу, по вечерам я ему помогаю готовить уроки. Кроме того, отовсюду, где я когда-то воевал, мне пишут партизаны о всех своих радостях и горестях, во имя которых мне приходится кочевать по разным учреждениям. За эти годы я научился открывать костью двери лучше, чем другие открывают рукой. Но о своей жизни инвалида я расскажу в другой раз.

Все же не хочу я умереть в кровати.

Я хочу участвовать в тех боях, которые, без сомнения, еще предстоят нам, пока красное знамя не расцветет победою над всем миром. Пехотинцем я не смогу быть, верхом ездить тоже не смогу. Конечно, для войны мало одной руки, но глотка у меня все еще звонкая. Эта глотка еще пригодится!

Замечательное наше время, мой друг! Я сижу в стороне, но часто, глядя, как растут стены новых домов и фабрик, чувствую — кровь у меня радостно закипает в жилах, так же как в годы войны. Знал бы ты, как мне хочется дожить до социализма!

Возможно, что именно поэтому я начал бояться смерти.

Как коротка, слишком коротка была до сих пор человеческая жизнь! С криком приходил человек в этот мир, чтобы уже с молоком матери всосать болезни и смерть. Одни умирали с голоду, другие от беспутства, и в конце концов все так или иначе страдали от неорганизованной, несправедливой жизни. При социализме человек будет жить долго, счастливо, и, когда наконец его сердце устанет от долгих, мудрых и светлых лет, он расстанется с жизнью с таким же удовлетворением, с каким мы в годы войны, поев досыта, отодвигали в сторону пустые котелки.

При мысли обо всем этом мне всегда становится тепло и хорошо.

Эх, Янис Гайгал, не зря ты воевал! А твоя звонкая глотка еще пригодится!

## ЗЕМЛЯ

### 1

Кусты у реки, как обычно, росли сочные и густые. Только в одном месте кустарник прерывался, земля была там черная, обгорелая от костров на подсеке.

Подсека была уже частично выкорчевана. Целмс, устало пошатываясь, шел за плугом, который тащил тощий, задумчивый гнедой. Лемех часто зацеплялся за корни. Тогда человек и лошадь дружно рвались вперед, а корни стонали и ломались.

Ноги приятно вязли в мягкой, прохладной, вскопанной плугом земле.

Целмс иногда останавливался, обводил взором широкую поляну, сердце радостно замирало в груди: своя земля!.. И снова плуг со стоном врезался в землю. Треща разрывались корни.

Месяца три тому назад Целмс приехал в чужие края со своей женой. Корабль привез их сюда — двух мечтателей, которые принесли с собой веру обездоленного батрака в лучшее, светлое будущее. Далеко теперь рощи, леса и поля Латвии... При помощи латыша Бемса Целмс без лишних хлопот получил на выплату эту подсеку на берегу реки. На взятые с собой деньги купил необходимый хозяйственный инвентарь, работал без усталости — и вот многое уже сделано.

Кусты раздалились. Показалась женщина. Остановилась на краю подсеки. Глаза ее, такие блестящие на бледном лице, казалось, ловили каждое движение высокого, худого человека за плугом. Лицо ее просветлело, мелкие, скорбные морщинки вокруг молодого рта исчезли в улыбке, такой же молодой и ясной, как ее глаза.

— Янис, Я-а-а-анис!

Сухой короткий кашель прервал ее возглас.

— Янис!

В лесу откликнулось эхо.

Целмс поднял голову.

— Ну, разве уже завтрак? Не рано ли, Анна?

— Рано? — засмеялась Анна, подходя. — Вот уже, наверное, полчаса тому назад я ходила перегонять корову. На часах было без пяти минут восемь.

Целмс завтракал, сидя на земле и прислонясь к плугу. В одной руке держал ломоть хлеба, в другой — кружку молока.

Анна, усевшись на траве, сияющими глазами смотрела, как он ел.

Гнедой, свесив голову, стоял задумчивый и равнодушный. Целмс взглянул на гнедого, и тень промелькнула по его лицу.

— Надо дать и гнедому!..

Лошадь взяла в рот кусок хлеба, подержала его в зубах и выпустила.

— Плохо, Анна. Гнедой недолго протянет.

— Нно, милый!.. Нно!

Плуг снова со стоном пошел вперед, и за ним черной змеей вились отваленные пласты дерна.

Худой и высокий, пошатываясь, шел Целмс за плугом. Иногда он задумчиво качал своей упрямой головой. Гнедой?.. Да, с гнедым плохо. А если он сдохнет? Как тогда построить дом? Будь бы денег побольше, все бы ничего. Но денег мало, с каждым днем их все меньше.

Мысли были так же навязчивы, как оводы, не дававшие покоя гнедому. Не хотелось думать, но мысли мучили без конца.

Время от времени гнедой останавливался отдохнуть. Целмс не понукал его.

Целмс выпряг гнедого, пошел на край вырубки.

Там в густой кустарник уходила тропинка. Человек и лошадь вышли по тропинке на небольшую полянку, окруженную плетнем. Посреди нее стояло две землянки.

У «жилого дома», как Целмс и Анна величали одну из землянок, горел костер. Над костром висел котелок, у костра хлопотала Анна, закутавшаяся в шерстяной платок.

— Тебе опять холодно, Анна?.. Сегодня такая жара!

— Ничего, теперь мне снова хорошо.

Когда Целмс с нагретого солнцем воздуха вошел в землянку, его обдало запахом плесени.

В землянке была одна-единственная комната. Сквозь маленькое, узкое оконце пробивался тусклый свет. У одной стены стояли широкие деревянные нары с постелью, у другой — стол и скамья. Стены были покрыты плесенью, словно пестрыми обоями.

Целмс тяжело опустился на постель.

Подложив руки под голову, он лежал и смотрел на потолок. Перед мысленным взором его замелькали старые картины.

Вот большой Гауенский лес... Серdito чихая, врезается в деревья стальная пила, тащит за собою мальчика, ломает ему руки, спину... А вот имение, церковь, школа, Гауя... Родина! Целмс горько усмехнулся. Разве можно назвать родиной тот угол, с которым связано так много тяжелых воспоминаний, воспоминаний о рабском труде и безотрадной жизни? Родина! Словно чтобы заглушить горечь дум, вспомнился Целмсу старый дуб на берегу Гауи. На его ветвях в детские годы Целмс нередко качался на зависть хозяйским детям. Завидуйте, завидуйте смело, веселому, вы, спесивые, заносчивые хозяйские дети, только что прогнавшие его со своих замечательных качелей! Завидуйте!

Вот другая картина. Он, Целмс, уже взрослый парень. Усадьба хозяина Залита. Цветущие вишни. Теплый вечер, мягкий, как птичий пух. В такой вечер он, Целмс, впервые поцеловал под цветущими вишнями Анну — тихую и трепетную.

...Вот они оба на лугу. Жара. Сладкий, дурманящий, как сама любовь, запах сена.

Осенью, только осенью свадьба! Разве батраку дано время любить?

«Америка»! Это слово, звучавшее таинственно и зовуще, бросил в сознание Целмса сам хозяин Залит. У него в Америке живет родственник Бемс. Был совсем бедный человек, за пятнадцать лет жизни в Америке разбогател. Бемс писал в письмах о чудесной, сказочной стране, где работа и предприимчивость творят чудеса. Каждое письмо Бемса соблазняло, звало. Земля? Земля там хорошая. Кредит на устройство на первые годы жизни обеспечен.

Тогда Целмс и Анна начали копить деньги. Копили пять лет. Ну, что же, если для начала придется залезть в долги, работать в поте лица?

Америка! Америка!

Такова ли эта страна чудес?

Скрип двери прервал печальные мысли Целмса.

Анна принесла кашу.

Оба стали есть молча.

— Скоро ли будет ответ от отца? — сказала наконец Анна.

— Думаю... недели две уже прошло. Скажем, еще неделю. Тогда уж наверняка должен быть. Лишь бы не затеялся.

Снова тишина, но тишина красноречивая. У тишины свой язык. Он говорит об усталости, тревоге, беде, притупляющей чувства, холодящей сердце.

Спустя час гнедой, отбрыкавшись, снова тащил плуг. Снова человек шагал за плугом, упрямо втянув голову в плечи. Весенний день был сверкающий, великолепный. Казалось, каждый куст воспевал этот день. Река, словно пьяная, прыгала и кувыркалась по камням. Разве и батрак не мог бы так стремиться вперед, навстречу своей, только ему принадлежащей жизни?

Батрак? Ха! Ха! Не для рабочего человека веселый щебет птиц и благоуханное дыхание весны — он знает и умеет лишь одно: трудиться в поте лица.

Вечером, проезжая мимо верхом, завернул Бемс. Это был тучный, живой человек с сильной проседью и необыкновенно румяными, пухлыми, как у ребенка, щеками.

— Ну, как дела, соседка? Выкорчевали подсеку? — спросил Бемс.

— Где тут! Хорошо, если половину. Можно бы успеть больше, да лошаденка у меня слабая, загнанная, — пожаловался Целмс.

— Ну, чего тут горевать! Поправится после сева. Здесь такая хорошая трава. Лучше, чем в других краях клевер. Да, что я вам хотел сказать? Ах да! Мне пришла в голову дельная и практическая мысль. Вам ведь, мистер Целмс, принадлежит также часть берега у порога реки?

Целмс не мог понять, куда гнет Бемс.

— Ну, вот! А если мы порог используем? Теперь ведь он не имеет никакой ценности?

— Не имеет, конечно. Но я не понимаю, какую пользу он может принести.

Бемс сухо усмехнулся.

— Какую пользу, вы спрашиваете? Много пользы. Например, если бы мы устроили здесь, у водопада, мель-

ницу. Мельницы нет во всей округе. Деньги посыпались бы нам сотнями. Теперь нашим фермерам приходится ездить невесть куда, а тогда все было бы под рукой.

— Хорошо бы, — несмело сказал Целмс.

— Вы, может быть, боитесь взяться за такое дело? Пустяки, сущие пустяки! Общими усилиями все можно будет сделать.

## 2

Подсека была вспахана, взборонована. Целмс стоял с лукошком, полным семян. Совсем особые, не испытанные до сих пор чувства теснились у него в сердце.

Много полей засеял он на своем веку, но все они были чужие, и вот наконец стоит он у своего поля. Чужие лукошки тяжелым камнем висели на шее, свое же, полное тяжелого зерна, кажется легким, необыкновенно легким.

Целмс набрал полную пригоршню семян, и золотистые зерна посыпались во все стороны. После первой пригоршни последовала вторая, третья. Дойдя до берега реки, Целмс остановился. Перед его взором возникла картина. Неумолчно шумят мельничные жернова. По дороге едут в белой пыли молотильщики. Бемс, на деньги которого построена мельница, отвечает Целмсу за берег золото. Тут же около мельницы волнуется нива. За нивой маленький, хорошенький домик с чистыми, сверкающими окнами. Ему, Целмсу, есть чем гордиться — это его работа.

Гнедой фыркнул.

Целмс набрал семян в пригоршню, и снова во все стороны посыпались зерна.

Кое-где на ниве уже показались рыжие ростки. Целмс несколько раз в день осматривал свой участок. Снова вернулась вера в будущее, оно не казалось больше таким жутким.

В последнее время Бемс чаще прежнего навещал Целмса. Он яркими красками рисовал будущее и как-то принес даже книжку, в которой были подчеркнуты слова людей, разбогатевших благодаря машинам. Наше время — время машин. В таком месте, как здесь, можно загребать золото лопатой,



Когда Бемс говорил о мельнице, у него сверкали глаза, он всей душой был за эту идею.

Целмс только не мог понять, почему Бемс не подходит ближе к делу. Судили-рядили уже вдоволь. Может, Бемс думает, что он, Целмс, не хочет сдать внаймы свою часть берега у порога? Но зачем же Бемсу так думать, ведь Целмс сказал, что берег там останется невозделанным. Неужели Бемс сомневается? Непохоже, этому противоречит все его поведение.

Как-то Бемс принес письмо, первое письмо Целмсу на новом месте.

Отец писал, что был у кредиторов Блума и Кактыня. Они согласны ждать до тех пор, пока Целмс не обживется. Они знают Целмса и доверяют ему, как родному брату. Сам отец все еще живет у хозяина Салтупа поденщиком. Кое-как перебивается. У него одна мысль, одно желание — лишь бы сыну хорошо жилось...

Ветерок легко зашелестел листвою, тут же смолк и, притаившись за кустами, с удивлением смотрел: на пороге землянки сидели два человека и плакали...

Бревна пришлось возить из лесу километра за четыре. Правительство давало их почти даром. Целмс выезжал за ними несколько раз в день. Один ворочал тяжелые бревна. Вечерами тесал их. После долгого рабочего дня чувствовал себя совсем разбитым. Ладони горели, в боках кололо. Зато радостно было видеть, как растет куча бревен на маленькой полянке. Целмс уже высчитал, сколько дней понадобится на перевозку бревен и когда он сможет взяться за кладку дома. Все высчитал: когда дом будет готов, сколько комнат и окон в нем будет.

И вдруг случилось то, чего Целмс давно боялся... Был жаркий день. Небо дышало зноем. Целмс медленно шагал по обочине дороги, закинув себе вожжи на шею. Колеса лениво скрипели по щебню дороги. Целмс задумчиво шагал, ударяя кнутом по земле.

Вдруг гнедой споткнулся. Бессильно упав на колени, он тяжело дышал, взметая дорожный щебень.

Целмс не испугался. Случалось это не раз. Уговаривая, гладя, понукая, старался он помочь своему товарищу по работе. Но гнедой не вставал. Глаза его стекленели все больше, изо рта пошла пена. Дыхание замедлялось.

Угасающими, невидящими глазами уставился он на дорожку, по которой приходилось ему так много шагать.

— Гнедой! Милый мой! — застонал Целмс, обнимая шею друга.

Умер милый, верный товарищ по работе...

Целмс шел по тропинке к усадьбе Бемса. Ходил он этой тропинкой не раз, но никогда еще путь по ней не казался ему таким трудным.

Печально склонив голову, с сознанием неисправимой беды, шел Целмс к Бемсу просить займа денег. Хотя бы на покупку другой лошади.

Все передумав, Целмс не нашел иного выхода. Целмс не сомневался, что Бемс даст. Ведь он хотел взять займа берег у порога, выстроить там мельницу. Кроме того, ведь он всегда так любезен с Целмсом.

Да, он даст! Но все же сердце тревожно щемило.

Ферма Бемса стояла на склоне горы. Издали зеленая крыша дома почти сливалась с окружающей зеленью. Казалось, вдали зеленеет рощица. Хозяйственные постройки тоже скрывались за зеленью.

Открыв калитку сада, Целмс робко пошел по дорожке, усыпанной гравием и обсаженной розами.

Большая черная собака, сердито рыча, бросилась ему навстречу.

— Куш, Фрици, куш! — раздался голос Бемса с террасы, обвитой виноградом.

Собака смолкла.

— Мистер Целмс? Редкий гость!

Бемс дружески пожал руку Целмса. На террасе на смятой постели валялся женский платок, неизвестно как сюда попавший.

— Видите, как живет старому холостяку, когда некому за ним убирать, — пожаловался Бемс.

— Ничего, ничего, — сказал Целмс, садясь на краешек пододвинутого стула.

Бемс, казалось, очень был рад приходу Целмса. Подбежав к двери, он нажал кнопку.

— Все по-американски устроено, — пошутил он.

Дверь открылась, показалась молодая девушка лет двадцати.

— Ведает хозяйством, — объяснил Бемс и, прищурив

с лукавым добродушием глаза, начал что-то говорить де-вушке на чужом языке.

— Заказал кофе. Ведь вы останетесь? Вероятно, проголодались после длинного пути?

Целмс пытался возразить, что он поел, что ему совсем не хочется есть, но Бемс настаивал на своем. Заговорил о мельнице.

— В последнее время я часто думаю о мельнице, мистер Целмс. Не следует медлить, а то еще кто-либо другой успеет раньше нас. Тогда мечты наши разлетятся по ветру.

— Я ведь согласен, — сказал Целмс. На душе у него стало легче: если Бемс решился на это дело с водопадом, то непременно даст взаймы. Конечно, даст.

— И потом — нечего сомневаться, доходы будут. Я уже навестил всех фермеров в округе. Все очень рады. Ведь неплохо — мельница будет, можно сказать, под самым носом.

Бемс замолчал и, развалившись в кресле, начал пускать из трубки синие колечки дыма, следя за тем, как они тают в воздухе.

— Да, да! Тут нечего медлить, мистер Целмс, — спустя немного заговорил он снова. — Иначе может случиться то, чего я боюсь... Говорю вам — нечего медлить.

Он покосился на Целмса в ожидании ответа. Но Целмс молчал.

— Да, да, конечно, тут нужен капитал, но дело выгодное... Доходы будут сказочные. Кроме того, я ведь уже говорил вам, что все расходы беру на себя. Ну, а вы сколько денег могли бы вложить в это дело?

Целмс удивленно взглянул на Бемса.

— Я?

— Да, вы, мистер Целмс!

— Я... Я вас не понимаю!

— Не понимаете? Вопрос ведь ясен! Чтобы двинуть дело, получить из банка кредит, нужно, по крайней мере, сотни четыре основного капитала.

— Тут, господин Бемс, какое-то недоразумение... Вы ведь хотели лично строить мельницу?

Бемс усмехнулся.

— Один? Нет, только как компаньон. Свободных денег у меня сейчас нет. А вы... Вы ведь хотели затратить деньги на хозяйство. Скажите, какая вам выгода зани-

маться сельским хозяйством? Вы энергичный, предприимчивый человек. Для такого человека мельница создаст совсем другое будущее.

— Денег у меня нет, господин Бемс.

— Не шутите, мистер Целмс! Я хорошо знаю, что деньги у вас имеются. Да, да! Но вы, как все мои земляки, боитесь пустить их в оборот. Это устарелая традиция, мистер Целмс! Не возитесь с землей! Идите новым путем!

Целмс махнул рукой.

— Господин Бемс, знаете зачем я сегодня пришел к вам? Только что сдохла моя лошаденка... Я боялся пойти домой к жене с этой вестью... Как нищий, пришел к вам просить займы. Будь у меня деньги, то есть будь они у меня припрятаны в чулок, как вы думаете, неужели я пришел бы тогда просить у вас займы, господин Бемс?

Бемс привскочил в кресле.

— Вы пришли просить займы?

— Да.

— Хе, хе, хе! Просто смех! И вы думаете, что я вам дам так, на честное слово? Нет, мистер Целмс! Я хочу сохранить с вами хорошие отношения! Только хорошие! Такой односторонний кредит портит отношения. Нет, нет! Не могу этого допустить, мистер Целмс... Будьте здоровы! Я сожалею, что вы так торопитесь уйти! Осторожнее, мистер, ступеньки!

Бемс глумился над Целмсом, кланялся и махал рукой. Он глумился над этим большим, неуклюжим человеком, который уходил, шатаясь, как пьяный...

Когда Целмс скрылся из виду, в дверях показалась служанка с посудой на подносе.

Бемс, видно, забыл про свое приглашение. Точно ничего не случилось, спокойно прихлебывая, он стал пить кофе.

»

Большое горе нависло над землянкой. Тихой тенью двигалась Анна. Целмс продолжал работать, молчаливый, задумчивый... Он ворочал камни для стройки. Для стройки? Для дома? Может быть... Только, может быть?

Серые камни хмуро глядели из-под мшистых бровей. Казалось, они сердятся на Целмса, что он тревожит их вечный покой.

Грустные и усталые сидели по вечерам на пороге землянки два человека.

Ночь тихо надвигалась и прислушивалась к их разговору, шепотом передавая каждое слово ближним кустам, а те дальше... Так разнеслась вечерним шелестом печальная повесть.

Нелегко говорить слова утешения, когда сердце разрывается от тоски, голова горит от горьких дум. Целмс пытался найти слова утешения для Анны. Говорил о видах на будущее, о том, что Бемс хочет взять в аренду берег у водопада, даже обещает дать денег. Только сейчас Бемсу трудно, нет денег, не может помочь. Ну, что же, потерпим. Надо поискать где-нибудь поденную работу. Он, Целмс, спокоен за будущее.

Целмс обошел всех соседей-фермеров в поисках работы. Но всюду рабочие уже были наняты. Все это Целмс скрывал от Анны.

С Анной было плохо. Она глухо кашляла, часто с кровью. На лице Анны, бледном, уже неживом, жили только глаза, необыкновенно блестящие, огромные.

Когда как-то вечером на тропинке, ведущей к ферме Бемса, застучали подковы, Целмс не поверил своим ушам и глазам — показался верхом на лошади Бемс. Что это значило? Неужели приехал снова глумиться? А вдруг Анна услышит? Нет, нет!

В несколько прыжков Целмс очутился перед Бемсом.

— Господин Бемс, прошу вас, поверните обратно... поверните сейчас же обратно!..

В голосе Целмса, тихом и решительном, было что-то такое, что погасило улыбку на румянном, добродушном лице Бемса.

— Вы несправедливы ко мне, мистер Целмс! Во мне вы всегда находили и найдете отзывчивого соседа. Именно поэтому я завернул сегодня к вам. Вы как-то жаловались на недостаток денег. Я теперь мог бы помочь вам, хотя бы немного. Вчера освободилось у меня на ферме место старшего рабочего, вы могли бы его занять, то есть если желаете. Плата — полтора доллара в неделю. Как думаете, мистер?

— Благодарю за предложение. Не могу сразу дать ответ, должен сначала поговорить с женой.

— Понятно, понятно... Я и не хочу сразу. Ответ надо обдумать. Обдумайте, взвесьте. Но как ваш земляк, как доброжелатель — советую не упускать это место. Где вы найдете такую работу при теперешней безработице? И полтора доллара в неделю тоже не пустяк. Так вот, подумайте!

— Хорошо, я подумаю!

— Да... кроме того, вы ведь не знаете языка. Только на моей ферме вас поймут: там почти все латыши. Так вот! Обдумайте, обсудите хорошенько! Будьте здоровы!

Бемс удалился, весело насвистывая. Удалился, оставив Целмса в тяжелом раздумье.

Итак, выход из положения! Но какой? Снова стать батраком? Нет, нет! Разве для этого он приехал сюда, в этот чужой, далекий край? Нет, нет! Это значит опозориться перед самим собой. Но как же быть? Оставить Анну без помощи? Гордо умереть с голоду? Нет, нет, нельзя так! Нельзя!

— Что сказал тебе Бемс?

— Предложил место старшего рабочего.

Целмс увидел, как расцвела радость в глазах Анны.

— Ну, а ты?.. Пойдешь?

— Пойду!

— Разве это не выход из положения?

— Выход, — глухо сказал Целмс.

Целмс работал у Бемса. Ничего другого не оставалось, пришлось принять предложенное место. И вот он считал день за днем, когда наберется нужная для покупки лошади сумма.

Жизнь на ферме Бемса была нелегкая. Рабочий день длился от утренней зари до вечерней. В полдень на отдых давался лишь один час.

Все же Целмс не роптал, он был доволен, что найден выход, считал, что избавился от нужды.

На ферме было шесть рабочих. Целмс седьмой. Сдружился он с ними с первого же дня.

Бемс и хозяйка относились к нему довольно любезно. В одном отношении даже слишком любезно — его кормили отдельно. Это Целмсу не нравилось — так создавалась брешь между ним и рабочими. Действительно, рабочие по отношению к нему стали держаться сдержанно и холодно.

Добродушный Бемс дал всем своим рабочим прозвища. Одного он прозвал «Бомбой» из-за его большой круглой головы. Этот Бомба как-то пошутил, что господ теперь трое. Целмс огорчился. Он попросил хозяйку, которая в обеденное время приходила к нему, как она говорила, поболтать, изменить этот порядок.

Хозяйка усмехнулась.

— Вы удивляетесь, почему вас кормят отдельно? Дело ясное. Рабочий и старший рабочий, по мнению Бемса, не одно и то же.

Целмс понял — Бемс вел тонкую политику, желая вызвать раскол среди рабочих, а он, Целмс, должен служить для этого слепым орудием.

Целмс каждый вечер навещал жену, которая убирала землянку, хозяйничала. Помогал ей по хозяйству, ночевал в землянке, а утром уходил на ферму Бемса.

Анна таяла с каждым днем...

Всякий раз, когда Целмс глядел на жену, у него больно сжималось сердце.

«Не умерла бы только, — мелькала иногда в голове ужасная мысль. — Нет, Анна будет жить!.. Это просто так... пройдет...»

Пшеница на поле колыхалась тяжелыми колосьями, радовала глаз.

«Во всяком случае, можно будет продать часть урожая», — думал Целмс. Он часто считал, пересчитывал, сколько даст урожай, сколько даст работа у Бемса, — и всегда получалось, что все будет хорошо.

Раз вечером, вернувшись с работы, Целмс не нашел Анну у костра. Костер потух, печально серела зола.

Дверь землянки была открыта настежь. Что там?

— Анна! Анна!..

Ответа не было. Чувствуя беду, Целмс задержался у порога.

— Анна!..

Кто это так страшно крикнул?

Свет спички осветил углы землянки, постель. Спичка, точно испугавшись, выпала из дрожащих пальцев Целмса.

— Анна! Что с тобою, дорогая? Что с тобою?

Анна лежала на кровати в луже крови. Она еще дышала — тяжело, хрипло...

Свет вечерней зари сквозь оконце землянки падал на лицо Анны. Это было чужое лицо с впалыми щеками,

заострившимся носом и подбородком. Как подкошенный, упал Целмс на колени у постели жены, целовал холодеющую худую руку. Ему хотелось кричать и плакать, выплакать всю боль, но слез не было...

Вечерние тени все больше сгущались вокруг одинокого человека. Но разве их сравнишь с теми тенями, которые замораживают сердце человека, наполняя его неисчерпаемым мраком отчаяния и горя? Ночные тени и мрак исчезают при свете солнца. Сердце, в которое закрался мрак, никогда не сможет беспечно радоваться, как на заре своего счастья.

Наконец Целмс пришел в себя. Встал. Сорвал со второй землянки дверь и стал обтесывать полуйстлевшие доски. Стук топора глухо раздавался в ночной тиши. Щепки разлетались во все стороны.

Наверху, точно собираясь заплакать, ночные звезды мигали длинными лучистыми ресницами; там, внизу, работал во тьме одинокий человек, готовясь похоронить все, что было ему мило и дорого, все свои мечты...

К утру гроб был готов: узкий, длинный ящик. Целмс наложил туда сена и покрыл простыней.

Утро было сверкающее и ясное. Утро было такое, какие бывают часто. Над рекою стлался серебристо-белый туман. Покрытые росой трава и кусты сверкали в лучах восходящего солнца. Голубое небо раскинулось широко-широко...

Тут же, у землянки, Целмс вырыл могилу. Лопата, звеня, врезалась в целину, яма становилась все глубже, глубже... Целмс работал лихорадочно. Пот струйками стекал по его загорелому лицу, а он все сильнее нажимал на лопату, чтобы работой заглушить боль.

На одном конце могилы Целмс вбил два кола и привязал к ним веревки. Сам он встал на другом конце и перевязал веревками гроб. Гроб начал медленно опускаться в могилу, покачиваясь из стороны в сторону, наконец глухо ударился о дно ямы.

Целмс стоял на краю могилы.

— Ты, зеленый куст, и ты, зеленая травка, вы, немые участники похорон, слушайте, что скажет Янис Целмс. Я хороню здесь свое счастье в простом деревянном гробу... Земля! Проклял бы тебя, проклял бы, но ради жертвы, которую ты сегодня поглотила, не могу... Земля, скажи, почему ты требуешь у меня так много? Требовать может тот, кто сам что-либо дал. Скажи, что ты мне дала? Только



горе, заботу, унижения. А ты все же требуешь плату за все, такую плату, которой не стоят даже твои лучшие блага. Я чувствую, что ты жаждешь и меня, присосалась к моим ногам, тянешь меня к себе. Бери же меня скорее! Бери меня, злая земля!

Ветер заглушал печальные слова, а новосел наперекор ветру пел похоронную песню. Каждый звук пел и говорил о своем: о смерти, отчаянии, боли. Песня отзвучала, и жилистые руки новосела снова взялись за лопату. Песок глухо падал, заполняя могилу. Вот уже могила сровнялась с землей, вот уже поднялся над нею холмик.

И тут, у могилы, Целмс остро ощутил свое одиночество. Казалось ему, что нет больше людей на свете, что он совсем один на земле...

Тяжело, устало шагая, вошел он в землянку. Все там было в беспорядке. Из углов смотрели враждебные тени, и даже великий «борец за свободу», — разве это свобода? — казалось, глумился со стены, разинув голодный рот.

#### 4

Вечером Целмс пошел к Бемсу.

Тот сидел на террасе и, добродушно посвистывая, изучал газетные объявления, местами отмечая их красным карандашом.

Казалось, он не замечает Целмса. Целмс кашлянул. Бемс отложил в сторону газету.

— Ну, что скажете, Целмс? Я уже хотел послать за вами — вы без всякого предупреждения пропустили целых три дня.

— Я, господин Бемс, пришел за расчетом.

— За расчетом?.. Хм... Почему?

— Хочу отсюда уехать.

— Уехать? Какая неблагодарность! Разве для того я через переселенческое бюро выхлопотал вам пособие для переезда, чтобы вы уехали? Опомнитесь, милый мой! Уехать отсюда труднее, чем приехать. Вы зря потеряете свои деньги по договору... А если я вам прибавлю полтора доллара в неделю?

— Нет... невозможно...

— Хм... Вы трудолюбивый, но упрямый человек...

Бемс, пыхтя, вытащил из ящика толстую тетрадь и начал считать.

— Мистер Бемс, не может быть так мало! Вы, вероятно, ошиблись и взяли запись другого батрака, — удивился Целмс, отодвигая мелочь, которую Бемс положил на стол.

— Вы думаете? Хорошо, пересчитаем. С вас следует за четыре пропущенных дня, в том числе за три без предупреждения... Кроме того, вы получили рабочую одежду...

— Мистер Бемс, у меня умерла жена...

— Сочувствую вам... Моя тоже когда-то умерла.

— Мистер Бемс, вы меня гнусно обманули с договором. Что же это — договор, защищающий интересы рабочих, как вы тогда уверяли? Стыдитесь!

— Не мне, Целмс, а вам надо стыдиться. Как земляк земляку искренне советую одно: оставайтесь у меня!

— Никогда! Жрите, жрите мой пот! Подлец!

Шатаясь, Целмс выбежал в сад. Он побежал домой, к своей землянке. Сердце бешено билось в груди, в голове гудело, мысли путались. У своего участка Целмс остановился. В сумерках желтеющие колосья тихо приветствовали сеятеля. С порогов неслась радостная песня воды.

Когда-то Целмс мечтал о счастье, о мирной, светлой жизни. Теперь, сломленный и выбитый из колеи, сидел он на кочке и смеялся. Смеялся безумным смехом.

Эх, прогнать бы одиночество! Но чтобы прогнать одиночество, требуется радость, шум. Целмсу захотелось радости и шума. А где их найти? О, он знает, знает! Надо сжечь землянку, уничтожить это несчастное место. Нервно трясущимися руками он сгреб в кучу посреди комнаты все имущество и зажег спичку. Пламя быстро разгорелось. Когда Целмс выбегал в дверь, вслед ему метнулось целое облако дыма и огня.

Отойдя от землянки, Целмс смотрел, как пламя, крутясь, лижет все вокруг огненными языками, как все, к чему они прикасались, сразу начинает трещать и пылать. Иногда пламя вырывалось струей в открытую дверь, высывая голодные языки, точно хотело проглотить Целмса.

Сознание Целмса еще упорно боролось с безумием. В минуты просветления мысль пыталась осознать случившееся: почему надо было всему принять такой оборот? Кто виноват в этой драме Целмса и Анны? Не сам ли он, Целмс, со своими безумными мечтами и слепым доверием

к людям? Да, он виноват! Родина? Вторая родина? У батрака нет родины! «А кто еще виноват? — вдруг в воспаленном мозгу сверкнула мысль. — Не фермер ли Бемс? Почему он тогда не дал взаймы? Почему он заставил служить ему и втоптал тебя в грязь? Да, и он виноват! Оставить его безнаказанным? Нет, нет!»

Мысли в голове шумели, как рой сердитых пчел.

Прижавшись к земле, лежал Целмс в кустах, мимо которых Бемс обычно ходил на речку купаться.

Было часов одиннадцать утра. Маленькие, беленькие, как чистые барашки, плыли по небу облака на северо-запад.

«В той стороне Гауена, — думал Целмс. — Только доплывут ли они так далеко? Океан велик. Не доплывут, не доплывут!.. И что там сейчас, в Гауене? Наверное, сенокос... Нет, может быть, сейчас ночь?.. Белая, ясная ночь, полная приятной прохлады».

Целмс жадно вдохнул воздух, ища прохлады. Но воздух был жаркий даже в тени.

«Все, наверное, мирно спят и видят сны. А трое, может быть, видят во сне его, Яниса Целмса, — один из них старый поденщик Салтупа. Сколько ему лет? Семьдесят. Да еще двое — арендаторы Блумс и Кактынь. Вот оба проснулись и будят своих жен.

— Что случилось?

— Сон приснился.

— Сон приснился? Какой?

— Ну, Целмса видел, исхудалый такой — кожа да кости. Это, наверное, к тому, что не вернет долга.

— Наверное, — говорят жены. Поворачиваются на другой бок, зевают и засыпают...»

Целмс хмурит брови. Становится стыдно за себя, что обманул людей. Блум и Кактынь не богачи, им дорог каждый рубль.

На тропинке раздались шаги.

Целмс схватил топор. Это шла экономка Бемса. Раскрасневшись от жары, с цветком на груди и полотенцем на плечах, проплыла она мимо.

— Ведьма, — прошипел Целмс. Он знал, что теперь вскоре пройдет Бемс. Все знали, что он купается вместе с хозяйкой и что это купанье с молодой женщиной стало

привычной необходимостью для седеющего, но ещё жизне-  
радостного Бемса.

Снова раздались шаги, и снова Целмс схватил топор — эти шаги были ему хорошо знакомы. Бемс шел, добро-  
душно посвистывая и подбрасывая в воздух тросточку. Соломенную шляпу он сдвинул на затылок. На шее висел у него фотоаппарат, с которым он расставался лишь в редких случаях.

Целмс бесшумно поднялся и, как зверь, огромным прыжком прыгнул навстречу Бемсу.

Тот откинул назад голову и раскрыл рот, собираясь закричать, но блеснуло лезвие топора, и добродушный человек бесшумно упал.

Руки Целмса бессильно разжались. В глазах с бешеной скоростью завертелись красные и зеленые круги. Земля качалась под ногами, словно палуба корабля в бурю. Целмс потерял равновесие и упал, впившись зубами в землю...

1912—1935



**РОДИНА****Рассказ пленного**

 не стану рассказывать о пулеметной горке, об ужасах рождественских дней тысяча девятьсот шестнадцатого года и январских тысяча девятьсот семнадцатого. Никакие слова, никакие описания, ни даже сила слога и глубина чувств и мыслей не в состоянии передать, как вопиют кресты на Рижском братском кладбище. Теперь уже нет смысла воскрешать в памяти неосуществившиеся предначертания судьбы, прикрывавшиеся тогой квасного патриотизма, который слышался и в звоне шпор наших офицеров, и в позвякивании ножен их сабель, — он гнал этих самых юнцов на смерть, дабы алчные буржуазные газеты могли тиснуть некролог. Не стану также распространяться о пресловутом оргкомитете латышских стрелков, о его облаченных в изящные тоги юристах, о женах столичных и провинциальных домовладельцев, дамочках, ночи напролет разъезжавших в нарядных лимузинах, — они транжирили пожертвованные на войну народные копейки и привозили на передовые позиции варежки. Одна из этих варежек сохранилась у меня и поныне. Все это так далеко ушло уже в прошлое, заслоненное другими событиями, что мне ничего не остается, как предоставить свои воспоминания в распоряжение историков, сохранив из запутанного клубка моих мыслей только один вопрос, назойливо преследующий меня: «Зачем?»

Зачем?

А не уподобился ли я сам этому знаку вопроса — согнутому в бараний рог, затасканному, замызганному, бьющемуся о стены вечной земной тюрьмы, сквозь которую не пробиться. Я сам для себя вопиющий вопрос, втиснутый, словно улитка в собственную раковину, лишенный возможности выбраться из нее не иначе, как только путем проклятой и мерзкой смерти, которая приводит нас к полной свободе. Но, несмотря на всю мою жажду свободы, смерть все-таки вызывает у меня ужас и страх.

Зачем?

Но долой все эти «зачем». Ведь я не хочу стать исследователем причин всех гуманных и бесчеловечных деяний общества, их истолкователем, который здесь, в этих гнетущих стенах, не имел бы иной цели, кроме смирения перед гнетущим и мертвящим все живое отчаянием. Мне куда приятнее думать и говорить о тех событиях и переживаниях, которые порой надрывают душу, ломают ее, как порыв ветра сосну на взморье, или раздражают и щекочут, унося в даль небытия. Только утонченная фантазия художника в состоянии все это передать.

Один из таких бурных моментов захватил меня, когда я неожиданно упал, а товарищ мой, навалившись на меня, хрипел и судорожно корчился, его еще горячая кровь обогрела мое лицо. Она-то, вероятно, и спасла меня от смерти, потому что в тот день брали в плен только раненых.

Привезенный в Елгаву, я не мог прийти в себя от происшедшей перемены. До этого воля нашего полка и моя воля были направлены к одному — вперед, навстречу смерти, навстречу какой-то другой воле. Теперь же я находился вне этого воздействия, лишен был какой бы то ни было воли. Та минута, когда меня прикрыло тело павшего товарища, надломила меня духовно, теперь же я чувствовал себя разбитым телесно. Я как будто сломенное, поваленное на землю бурей дерево, беспомощное и годное только на дрова. Уже давно и не раз, как и многие другие мои товарищи по несчастью, я обдумывал возможность при удобном случае переметнуться к противнику, чтобы не смотреть постоянно в лицо ужасающей смерти, или своей пулей отправлять в ее ненасытную утробу какого-нибудь немца. Однако от этого шага меня удерживало предчувствие какой-то перемены.

О том, что творилось в Елгаве и как там наши теперешние друзья, немецкие солдаты, охранявшие лагерь военнопленных, очищали карманы своих узников, снимали перстни с пальцев, стягивали сапоги, иногда давая за все это крохотные булочки, — обо всем этом мы знали еще от тех товарищей, которым удалось бежать из лагеря и в лодке добраться по морю к своим. Ужасная тяжесть постоянного голода, подобно наваленному на спину мешку с песком, давила не только на наши чувства, мысли, души, но была, казалось, разлита в самом воздухе и во всей природе, заглушая щебетанье птах и карканье ворон. О, как извивается эта всеевропейская пиявка милитаризма, миллионами сосков присосавшаяся к кровеносным сосудам народов! Эта капиталистическая система, лишившая нас всяких надежд на избавление, гнала из города в город и заставляла выполнять самые тяжелые и отвратительные работы, пока наконец мы не попали в один из лагерей для военнопленных. И там, за оградой из колючей проволоки, бродили мы, оборванные и изможденные, не лучше старых кляч, из сухожилий которых не выварить даже клея. О том, как за малейшее неповиновение наших товарищей мучили и пытали, изощряясь в изуверстве, вряд ли мог бы рассказать и писатель, изучивший наш тогдашний быт. Да у него не хватило бы на это бумаги! Следует отметить, что не только внутри огороженного колючей проволокой участка нельзя было найти даже высохшей травинки или корешка, но и по ту сторону дьявольских хитросплетений, насколько могла хватить рука, всякая растительность, едва пробившаяся из-под земли, выдергивалась и поедалась. Здесь не только духовно, но и всем нутром, каждой клеточкой своего организма мы научились ненавидеть правящие классы. Именно здесь организм наш превратился в своеобразную систему атомов, какой до сих пор нигде не было, в своеобразную коммуны ненависти. Высшей радостью бытия, задачей и судьбой каждого из нас было — нести смерть всем кровопийцам и угнетателям. Если в Елгаве нас надломили духовно, то здесь, в этом лагере смерти, мы чувствовали себя, словно деревья, поваленные тысячелетия назад и давно уже превратившиеся в каменный уголь, огонь которого способен приводить в движение мощные жернова, безжалостно размалывающие все, что попадетсЯ.



Летом, тысяча девятьсот восемнадцатого года мы оказались в Эльзасе, в горной лесистой местности, где в солнечных долинах созревал виноград, а склоны холмов были сплошь покрыты пышной зеленью фруктовых садов. Однако мы не смели прикасаться к плодам, — это было так же опасно, как поднять красное знамя. Стада коров паслись на вершинах холмов, звеня колокольцами, а золотисто-зеленые головки хмеля, колыхаясь на ветру, наполнялись сладким, чуть горьковатым соком, предназначенным для пива.

Нас, четырех товарищей, определили к одному эльзасцу, виноградарю. Работать мы должны были в поле, а жить на чердаке в хлеву, где влажный, кислый воздух и глухое сопение и мычание коров казались нам столь приятными и целительными, что даже я, прошедший достаточную закалку, не сдержался и, лежа на соломе, расплакался. Теперь у нас была возможность растирать колосья пшеницы и жевать зерна, нас кормили хлебом, кашей, кофе с сахарином и давали по капле молока, а по воскресеньям даже рыбу, которую, надо полагать, ловили неподалеку в Рейне.

Бельвейлерийская усадьба, где мы жили, с ее закутами в хлеву, мычанием скота и кисловатым терпким запахом навсегда запомнилась мне, как олицетворение застывшей на одном месте, заплесневевшей жизни. И все-таки никакой свободой, никаким богатством и могуществом нельзя измерить то замечательное время, которое я провел там, невзирая на то, что ворота на ночь запирались, а стража бодрствовала.

Ах, не стоит даже говорить об этом, ведь каждому заключенному эти вещи настолько понятны и близки, они даже не нуждаются в определениях и названиях. К тому же подобного рода воспоминания здесь, в этом мрачном каземате, берегут душу и навевают безотрадную грусть.

Эльзаска, служившая скотницей у богатого колониста, на полях которого работали обессиленные военнопленные, тогда как сам он задыхался от жира, не казалась особенно красивой, если не считать темных волос, черных глаз и апельсиново-оранжевого цвета лица. Но в ней была та жизненная сила, которая разрыла мою могилу, вызволила меня оттуда, где я был заживо погребен и где по воле христианской добродетели надо мной возвышался символ грабежа и насилия — крест. В сущности, со мной про-

изошла метаморфоза, явление, подобное тому, какое бывает при сгорании каменного угля и превращении его в золу и углекислоту. Я опять почувствовал себя человеком, живым человеком, способным самостоятельно мыслить и чувствовать. Жизнь моя приобретала новое содержание; в те ночи, тихие и теплые, я ощутил всю простоту безмятежного, райского счастья в хлеву. Но, пожалуй, лучше не говорить об этом. К чему все рассуждения о жизни, когда надо жить?..

Но... зачем?

Это «зачем?» начало особенно беспокоить меня тогда, когда немецкий фронт трещал по швам от русского и латышского коммунизма и от танков английских и французских фабрикантов, когда рушились опоры адской преисподней и свобода изумленно заглядывала в двери. Может быть, в этом сказывалась наследственность, передаваемая воздухом и природой родных мест, или же традиция, прививаемая домом, школой, обществом, языком и поэзией, или это было пробуждение привычных воспоминаний об окружающем? Но меня никогда не оставлял тайный подсознательный голос, он нашептывал мне одно слово — родина. В то время когда рушился европейский фронт, во мне возник внутренний, психический фронт: эмоциональное содержание слова «родина» боролось во мне с моей сущностью, обновленной эльзасской крестьянкой. И я, моя любовь, моя жизнь попали в странное положение, чувство родины начало побеждать, пока наконец оно не стало для меня единственным ощущением свободы. И я, измученный, не мог уже больше оставаться на чужбине: инстинкт дома оказался сильнее инстинкта любви, тогда как в женщине этот инстинкт оказался слабее. Она оставила свою деревню, свои подойники, из которых украинкой поила меня теплым парным молоком, бросила свою мать и отказалась от красоты природы, чтобы отправиться со мной в далекий путь.

Я в своей, вконец изношенной солдатской шинели, в штанах с красно-бурыми лампасами пленного, словно потрепанный генерал, а она с котомкой на спине, в новом полосатом платье, простая, но закаленная жизнью и трудом, — мы оба в полночь отправились в путь, как когда-то призывал поступать певец свободы Гейне.

Когда, миновав Еврейские ворота, мы очутились в старой части города Страсбурга, я заметил, что за нами

следит какой-то подозрительный субъект. Видно, он все еще продолжал старательно выполнять свои прежние обязанности, хотя в то время Германия была почти объявлена социалистической республикой. Возле старого кафедрального собора, с единственной колокольней, величие которого меня мало трогало, этот тип стал откровенно навязчивым. Все кончилось тем, что в ту минуту, когда мы на вокзале собирались войти в готовый тронуться поезд, между мной и Евгенией встал жандарм, объявивший, что военнопленный не имеет права увозить с собой немецкую женщину. Теперь было ясно, что хозяин Бельвейлера, этот владелец коров и скотного двора, считавший и служанку своей частной собственностью наравне с молоком своих коров и вином своего виноградника, позаботился о том, чтобы за нами проследил шпик и предал в руки жандарма. Итак, свобода человеческой личности не продвинулась вперед за последние пять-шесть столетий. Все, что Евгении удалось крикнуть вслед уходящему поезду, было: «Жди меня!»

Жди меня! Это все, что осталось во мне от того мгновения, когда постигло меня столь ужасное несчастье. Эти слова звучали и в движении поезда, и в дыме паровоза, и в перестуке колес, и в полях, безмолвных в осеннем очаровании, и в прозрачном небосклоне, и, наконец, в моем сердце, преисполненном гнева и жажды мести. Жди меня! Жизнь моя еще раз была исковеркана той же силой, что до сих пор душила, ломала, гнала меня навстречу смерти, как и миллионы жизней, подобных мне. Взор мой погрузился в черную бездну, и я не видел ничего, кроме безысходного, как смерть, несчастья. Чопорные, сухие немецкие города, вокзалы со своими службами мелькали мимо и казались мне еще менее примечательными, чем увядшие осенние листья, гонимые ветром. Я пришел в себя только тогда, когда увидел ровные поля Курляндии и домики с красными черепичными крышами, мелькавшие среди голых деревьев и навевавшие на меня воспоминания о первых днях войны, когда я еще плавал в водах глубокого убеждения, что должен взять в руки оружие и умереть за родину, чтобы жили те, кто нас, мобилизованных, так щедро угощал папиросами из серебряных портсигаров и не жалел иной раз серебряного рубля.

Что-то давнишнее проснулось во мне при виде родной природы, частицей которой я был сам и которую хотел

отдать тем, кто вырос среди иной природы, жил в иных домах, говорил на ином языке, чем я и те, кому принадлежали эти домики. И вдруг исподволь меня охватил стыд, за которым последовало решение отказаться от Евгении. Бродя по рижским улицам, я так расчувствовался, что понял свое грехопадение. Да, я не сумел сохранить себя для родины таким, каким покинул ее. Рига была по-прежнему прекрасна, хотя и без того шума и деятельного движения, которые несколько лет тому назад оживляли ее улицы, дома, магазины, театры, общества и набережную Даугавы. Вот как изменчива человеческая натура!

Однако это продолжалось со мной только в первый вечер — после того как я вышел из удушливого, дымного вагона, где курили скверный табак, и очутился на улице, вдыхая свежий морской воздух.

Мелькали редкие снежинки поздней осени. На Суворовской и Дерптской высоко над тротуарами развевались редкие флаги, — тяжелый красный цвет облегчался белой полосой, особенно заметной на синеве вечернего неба. Цвета родины! Я был подавлен наплывом чувств, но уже на следующий день я стал смотреть на все трезвее, ибо не встречал ни одного улыбающегося лица, только постные лица, какие часто попадают среди евреев и англичан. И бароны, оказывается, тоже признали свою родину, развивая кипучую деятельность среди моих соплеменников, в то время как обожаемый ими образ милитаризма — образ немецкого солдата в полном обмундировании средневекового рыцарского ордена — горделиво возвышался перед зданием суда, серый, как окаменелость духа всемирного мещанства. При виде этого вся порядочность Риги сразу отразилась в моем измученном мозгу скользким вырождением, вознесшимся из множества всевозможных, ползающих тварей, свивших себе гнездо на бирже и протянувших свои щупальца не только по рижским улицам, но и по дорогам всей страны, всей той родины, которую еще вчера я представлял себе столь романтически прекрасной, ободряющей после всех моих злоключений.

Да, такова была Рига... Но у меня были отец, сестры и младший брат, школьник, батраки имения, к которым управляющий, будучи нашим соплеменником, относился милостиво, а мне передавал приветы через отцовские письма вплоть до января тысяча девятьсот восемнадцатого года.

Мое наивное сердце становилось все беспокойнее, когда поезд приближался к Цесису, этой твердыне латышского мещанства. Наивное сердце, не предчувствовавшее того, что его ожидало, приветствовало даже разъевшихся к осени серых баронов, околавивавшихся по трактирам, где бойко торговали немецким пивом. В тербатской гостинице они пили за молодое государство, и мещанский флаг, торчавший у входа, своим трепетом как бы приветствовал их. Однако запах жаркого, доносившийся до меня, никак не мог удовлетворить мой урчащий желудок. Я был уже так расстроен и обрадован тем, что снова дома, что стал забывать свою лучшую подругу, товарища по несчастью и бедствиям.

Не питая склонности к поэтическим излияниям, могу лишь вкратце передать те тревожения, какие проявились в моих действиях — действиях, которые принято считать преступными. Но, по моему мнению, они не являются преступлениями, а скорее всего — ответом одного человека на вопрос, усложненный тысячами людей. Но так как любой ответ является следствием вопроса, то преступление может быть приписано только вопрошающему, а не отвечающему. Вот почему я категорически отвергаю предъявленное мне обвинение в преступлении, защищаясь всей своей жизнью, этим роковым оружием перед лицом каждого, кто попытается приблизиться под лживой личной нравоучителя.

Сокровенный смысл моих поступков оправдывает меня.

На опушке леса уже сгущались сумерки, когда я, бредя по застывшей грязи, пробрался через скотный двор имения к дому батраков, что ютился на берегу пруда, где, несмотря на позднее время, еще плескались прожорливые утки и мимо которого прошла какая-то женщина в подоткнутой за пояс юбке, с коромыслом на плечах. Здесь все выглядело так же, как и там, в далеком Бельвейлере, — все самое грязное и скотское суждено было нам. Мне часто кажется, что в мире никогда ничего не было, кроме криканья плещущихся уток, коренастой женщины в подоткнутой юбке и застывшей грязи.

Когда я вошел в сени, меня встретил из-за печи чужой голос: «Вам чего?» В ответ я назвал имя своего отца, которого я несколько лет тому назад здесь оставил и письмо которого, посланное отсюда, получил на рождество. И тогда я услышал то, что мне надо было услышать

и что было произнесено голосом, оглушившим меня, как контузящий удар. Если бы я не привык к подобным ударам, то, вероятно, свалился бы тут же у порога.

Что же произошло здесь в мое отсутствие, что могло произойти? Ничего более, как только неизбежное в этом механизме борьбы, в этой мельнице жизни, где мельник — не осыпанный мукой кормилец, а забрызганный кровью денежный туз, четыре года моловший и просеивавший нас сквозь решето войны.

Мой отец был выслан в немецкий лагерь рабов. Он вместе с другими рабами пытался было остановить эти все разрушающие колеса мельницы, но попал между жерновов. Это я понял по голосу, который из темноты насмехался, издевался надо мной. Но удивительнее всего, пожалуй, то, что в ту минуту я особенно отчетливо видел и ощущал, как безразлично потрескивал огонь в плите и что-то кипело, булькало в котле, так удивительно гармонирующее с голосом из мрака, осенней грязью и подоткнутым подолом юбки. Несмотря на все это, я не мог себе позволить подсесть к огню и на всю ночь остаться возле него, засыпая под эти булькающие звуки, словно на полке проносающегося в космосе вагона.

Ох, как я устал, духовно и телесно.

Я шел и размышлял, ведь размышления — роковая болезнь всех пленных и заключенных. Все сложилось именно так, как должно было быть; исторический момент был таковым, что управляющий имением, являясь истым представителем своего класса, своего общества, решил действовать в полном согласии со сложившимися историческими обстоятельствами и ни в коей мере не вступать в противоречия с обстоятельствами, продиктованными его положением. Так я отвлеченно теоретизировал в тот тяжелый для меня момент...

И вот я прикоснулся к той самой ручке двери, к которой каждый день прикасался предатель моего отца, открыл ту самую дверь, откуда мой отец отправился в рабство. Я переступил порог... Его переступали ноги, что годами втоптывали в грязь нашу жизнь, нашу кровь, мозги, нервы и мускулы. Правда, в ту минуту не это занимало меня.

Войдя в дом, я ощутил теплый, немного затхлый запах мускуса, слившийся с розовым светом и доносившимся из-за перегородки тиканьем часов. Посреди небольшой

комнаты выделялась толстая фигура господина барона с головой, напоминающей при свете лампы стеклянный шар, висящий над цветами в саду какого-нибудь любителя цветоводства из Валки или Валмира. Этот шар закачался, задвигался, начал говорить и даже подал самый лучший совет, какой можно было бы ждать от этого шара, совет определенный и ясный, словно бы вписанный самой вечностью в первую страницу нотариальной книги и подписанный заскорузлым от безделья пальцем самого бога.

И только тогда, когда я вышел из кабинета в ночную тьму, я понял, у кого побывал. И все же мне ничего не оставалось, как последовать его совету: разыскать этой же ночью в волостном правлении комитет помощи военнопленным.

И снова я побрел. Во тьме ночи шел по грязи вдоль пруда, но ни женщин с коромыслом, ни уток теперь уже там не было. Куда несли меня ноги, я и сам в первое мгновение не понимал. Четыре года тому назад я оставил здесь маленькие вербы, теперь они превратились в большие деревья, и их длинные ветви шелестели резко, насмешливо, будто ветер дул сквозь стиснутые зубы скелета. Я шел, ничего не соображая, вероятно, этот ветер говорил за меня, насмехаясь, издеваясь надо мной.

Верст пять-шесть прошел, по несколько раз останавливаясь отдохнуть, и опять брел, едва волоча ноги от слабости и безразличия, охватившего меня; не переставая думал о кухне, где топилась плита, где в сухих щепках потрескивал огонь и где в котелке варилась вкусно пахнущая каша. И мне так захотелось побыть там, на кухне, у плиты, рядом с собакой: какой замечательный отдых для вернувшегося на родину воина!

Когда же наконец я добрался до здания волости, где должен был находиться комитет помощи военнопленным, и после неоднократного стука в дверь и упрашиваний вошел туда, писарь объявил мне, что комитет собирается всего один раз в неделю, чтобы рассмотреть прошения о выдаче пособий; тут же я узнал от него, что мой брат стал бандитом и бродит в лесах Малиены, а сестра неизвестно куда исчезла. Удостоверившись, что я из этой преступной семьи, он отнесся ко мне отчужденно и подозрительно. Выражая явное недоверие, он тем не менее разрешил мне переночевать на скамье в холодной комнате заседаний.

Когда я очутился в темной комнате и присел на скамью, то сразу же почувствовал, как лицо мое передернулось от судороги, а слезы невольно покатались из глаз, стекая по щекам и рукам; я едва сдерживался, чтобы не закричать от горечи, охватившей мою душу. И в самом деле, я кричал, кричал так дико, как никто еще не кричал на поле сражения, где страх смерти нависает над головой. Однако крик мой был беззвучным, — это казалось особенно ужасным в тот момент. И, однако, комическим было то, что единственной теплотой, которая согревала меня в этом помещении и которую я мог ощущать, была теплота моих собственных слез. Да и чем иным могло это быть, как не следствием тяжелых потрясений? А слезы?.. Да, это было так, потому что вскоре я улегся на скамье и уснул тяжелым и бесчувственным сном, словно гору холодного, сырого песка навалили на меня.

Когда проснулся, вокруг все еще царила тишина и мрак. Однако мне очень хотелось есть, и поэтому я стал пробираться вдоль стены, изредка зажигая спички и тотчас гася их, чтобы, в случае если на кого и набреду, мог бы сослаться на темноту. В конце концов через небольшую дверцу пробрался в небольшую комнату, — по всей вероятности, это была кухня волостного правления. Остановился и прислушался: нет ли кого поблизости. Убедившись, что в комнате никого нет, снова зажег спичку, а потом, найдя щепку возле плиты, зажег ее и стал внимательно осматривать помещение. Мое внимание прежде всего обратилось к буфету, стоявшему в углу, у плиты. Но, к сожалению, я ничего там не нашел, кроме пустой посуды, соли, лука, бутылки и мясорубки, рядом с которой лежала оставшаяся от ужина заплесневевшая корка свиного окорока.

Если за проволочными заграждениями Германии я был способен поедать даже траву, то эта, предназначенная для собаки корка, не могла быть хуже и не угрожала моему закаленному желудку, поэтому без каких бы то ни было длинных размышлений, будучи не в силах сдерживать слюну, я сунул в рот эту корку и принялся ее жевать, отметив про себя, что, несмотря на плесень, корка не утратила своего приятного вкуса. Но когда я ничего больше не нашел и вернулся в свою холодную комнату, меня внезапно охватило чувство пережитого унижения: я настолько опустил, что ел отбросы!.. Да ведь это же



собачье положение! Но нет — куда еще более худшее и жалкое, так как собака хоть вправе лежать на кухне у огня, между тем как у меня не было иных прав, кроме права поедать то, что предназначено собаке, и притом украдкой, чтобы никто не видел.

Вряд ли кто станет сомневаться в том, что голод — это большое мучение. Именно голод и унижения довели меня до такого состояния, что из глаз моих и топором не вырубишь слез, — в этом я сам не так-то скоро разобрался. Если бы здесь в каком-нибудь углу было зеркало, в нем бы отразились глаза мои, мечущие молнии, которые я сам, кажется, видел; во всяком случае, я чувствовал, как они расщепляют не только мою душу, но и темноту холодной комнаты, и эту осеннюю ночь. Я чувствовал, что стою над многими вещами, в которые до того был погружен, видел всю жизнь сверху, как бы из окна некоей башни... Именно ожесточение голодного человека создавало такое ощущение, и мне вполне была понятна евангельская легенда о дьяволе-искусителе, соблазнявшем в пустыне пресловутого сына божьего. Но я давным-давно уже не имел ни малейшего желания быть исусиком поучительно изрекающим: «Отойди от меня, сатана!» — ибо знал, что именно этот свободный и гордый дух, способный вызволить из бездны благоденствующего царства небесного — лона Авраама, — и есть сатана.

Я стукнул кулаком себя по лбу — по разуму своему, чтобы возвеселиться... И принялся искать какие-нибудь другие двери — и нашел их, это оказались двери в канцелярию. К моему великому удивлению, они не были закрыты, так что я даже засмеялся от радости, когда они распахнулись и я вдохнул теплый воздух, насыщенный испарениями старых бумаг. Зажег свет и обследовал все углы. Помощника писаря здесь не было, хотя эти молодые люди имеют обыкновение спать в канцеляриях. Роюсь в шкафу, я обнаружил порядочный кусок ливерной колбасы, буханку белого хлеба и бутылку водки — все это, по-видимому, было собственностью председателя комитета помощи пленным и лежало там про запас. Но надо было торопиться, и я, откусив кусок колбасы и рассовав найденное по карманам, продолжал обыскивать выдвижные ящики, заглядывал на шкафы и под столы, не оставляя без внимания даже корзины для мусора бумаг, пока в конце концов не напал в одном из шкафов на запрятан-

ные в самом углу в какой-то коробке три револьвера вместе с актами конфискации, в их числе — порядочный наган, заряженный пятью патронами. Я сразу почувствовал себя во всеоружии. В первый момент готов был даже противопоставить себя всем на свете армиям — столь сильное впечатление произвела на меня не ахти уж какая находка, дававшая мне ясно и недвусмысленно понять, что ее следует использовать.

В приливе ненависти я так стиснул старую рукоятку нагана, что даже вздрогнул, тотчас спохватившись, что действие моей руки не имеет никакого значения, если сознание еще не дало ей соответствующей команды. Я отдавал себе отчет в том, что у меня нет ничего, кроме этого револьвера, что у меня уже нет ни имущества, ни родственников, ни связей с моим прошлым, с моими товарищами и друзьями, с родиной и уж подавно с верой в бога или в угрожающе поднятый палец церковного проповедника, что у меня нет более и невесты. И это означало, что я теперь вполне свободен, как может быть свободен только тот, у кого ничегошеньки нет. И все же... не имело ли все это еще и какую-то обратную сторону моей привязанности к чему-то, что держало бы меня при себе, опустошая душу? Мое общественное положение?.. Но ведь мне терять было нечего, кроме своих цепей, как выразился великий учитель. Все же... Уничтожить ли мне свою собственную жизнь, если она является своего рода частной собственностью, или же уничтожить самих частных собственников, чтобы освободить их собственность?

Нет нужды рассказывать о моем плане выполнения принятого решения: о нем имеет представление всякий, кто выполнял нечто подобное, — план остается в памяти гораздо лучше, чем его выполнение. Упомяну лишь о том, что, несмотря на всю мою закалку, мною на мгновение овладело какое-то беспокойство, словно я читал новый завет или слушал проповедь на тему о кротости. Мне еще и сегодня кажется, что мои ноги, ускорив шаги, были в те минуты разумнее моей головы, в мозговых извилинах которой наслоились иероглифы древних учений, от которых полностью избавиться можно лишь при потере памяти. Трудно забыть и то, как чуть брезжил рассвет, когда я проходил мимо длинного силуэта захудалой корчмы, откуда уже были видны огоньки в хибарах помещичьих

батраков и покачивающийся свет ручного фонаря: кто-то, пройдя мимо конюшни, остановился, осветив ее белую стену с черным провалом дверей: я разглядел его лицо: это был как раз тот человек, который был мне нужен. Тут меня окликнули: «Эй!» Я ответил тем же, узнав в окликнувшем слугу. Он, очевидно, шел запрягать лошадь и, приблизившись к помещику, снял шапку и поздоровался: «Доброе утро, барин!»

«Доброе утро, барин!» Эти три слова пулями вылетели из моего нагана. При первом же выстреле упал фонарь и почти одновременно с ним в темноте послышалось падение тела, батрак кинулся прочь, а я решил убедиться в том, что достиг своей цели, — чиркнул спичкою: на самом лбу — дырка, из нее струится на солому алая кровь, глаза полузакрыты, грудь поднялась и опустилась в последнем вздохе — вот и все, спичка погасла. Но мне больше ничего и не надо было: подобие стеклянного шара было разбито!

Я швырнул револьвер на убитого, ибо после того, как я выполнил свою задачу, этому оружию не могло быть иного места, как в луже крови его владельца, и пошел прочь, в сторону того самого пруда, мимо которого шел вчера, когда там крикали утки. Я шел в полном безразличии к тому, что со мной может произойти, а это означало: я ощущал полную свободу.

Итак, я мог, не стесняясь, ждать, пока соберется на свое заседание комитет помощи пленным.

Совсем развиднелось, когда я легкими шагами удалялся по большой дороге, сам не зная куда. Понимал, что должен шагать, поскольку у меня нет и не может быть иного места, чем дорога, — только она мне теперь принадлежит. Свой завтрак сжевал на ходу, а когда подошло обеденное время, завернул в какой-то дом — завернул без особой надежды на обед: не могут же живущие у дороги люди кормить всякого прохожего. Бродяги тут, должно быть, каждый день шатаются. Хотя я и был в одежде солдата, в одежде военнопленного, а такая не на всяком шаромыжнике, я не был накормлен — и хозяева в своем отказе были правы: у них был дом, земля, скот, хлеб, то есть родина. Тут я даже посетовал на свою аристократическую выходку — на то, что отшвырнул наган, забыв, что мне предстоит вступать в борьбу с каждым, у кого есть родина, против кого я должен был бы направлять

дуло своего огнестрельного оружия, чтобы добывать себе пропитание, подобно первобытному человеку, воевавшему с природой и зверями, чтобы прокормиться.

Моя первобытная свобода длилась недолго: уже проходя через соседнее имение, я вынужден был поднять руки вверх и сдаться превосходящим силам родины, которые доставили меня в волостной дом своего благотворительного общества и бросили меня в темную зарешеченную каморку, на солому, где я впервые после сеновала эльзасского фермера почувствовал освежающую сладость и единственное желание: хоть бы никто и никогда не тревожил меня на этой добротной соломе! Все же мне было дано и другое удовлетворение, а именно: я получил возможность ясно и определенно заявить следователям и прочим юристам, что все совершил вполне сознательно, без особой цели, повинаясь логике причин и следствий. И после этого вы еще говорите, что я сам не являюсь вопросительным знаком, никаким «зачем?», поставленным для того, чтобы распутать основные принципы космической логики, соблюдая которые можно вскоре дожить до того времени, когда порвутся все эти запутанные мешанские сети буржуазного правопорядка, охватившие нас со всех сторон, и когда все мы сможем войти в свободное человечество, чтобы «стать всем», ибо никому ничего не будет принадлежать. Но сам я, друзья, очевидно, стану окончательно свободным лишь после смерти. Тогда я превращусь в идею и буду принят в коллектив идей, а жизнь моя — ведь это только один звук...

Из цикла «Оправданные»

## ПОБЕДА

### Рассказ повешенного

«Да здравствует свобода!» Это было мое последнее восклицание в то время, когда я еще находился в тех формах существования, которые остались по ту сторону петли, там, где сейчас находятся мои друзья, моя мать и моя молодая невеста, еще не познавшая истинную цену жизни, не достигшая того уровня сознания, к которому она обязана была стремиться. Я понимал это с мучительной ясностью, понимал, что из-за меня она уже никогда не поднимется до нужных высот, никогда уже не сможет понять необходимости той работы, которой я вынужден был заниматься ради куска хлеба, а моя энергия уже не будет больше производить тех материальных ценностей, которые опутывают своими сетями человека так плотно, что он теряет свое «я» и солнце — все самое ценное во вселенной. По ту сторону петли — теперь-то я перешагнул границу, вернуться через которую в том виде, в каком существовал до этого, я уже никогда больше не смогу. Ни законы единства материи, ни законы природы, согласно которым все повторяется, этому не помогут. Мой прежний облик канул в безразличие вечности, имя которой небытие, простирающейся вне вечного разнообразия, под которым обычно понимают земное существование.

— Да здравствует! — И я провалился по ту сторону; понять это по-настоящему может лишь тот, у кого остановилось дыхание, сердце, а тело стало холодным.

И все же...

То, что я делал, проповедовал, чему учил, что искал, — все это осталось где-то там, оно вне меня, неосознаемое и неистребимое — по крайней мере, до тех пор, пока самый последний человек, как и я, не окажется

в петле, не перешагнет жизненный рубеж. Существовая там, я беспрерывно перевоплощался, никогда не давал себе отдыха для того, чтобы мир стал постоянно движущейся вперед жизнью. Вы, находящиеся там, вы, может быть, думаете, что мне холодно потому, что я сам холоден, и вам кажется, что мне тяжело, потому что я засыпан землей. У вас по спине мурашки бегут при мысли о том, что я должен лежать здесь совершенно один в полной тьме, в безмолвии, сырости и глубине. Моя задача сейчас не в том, чтобы огдаться страху, мерзнуть, неся тяжесть, не в том, чтобы измерять глубину или заполнять пустоту. Вы не можете понять моего языка, вы считаете меня философом, ибо вам нравится быть беззубыми, как лягушки, которые лишь при помощи языка добывают себе пищу, — а если вы не понимаете моих слов, то попытайтесь, по крайней мере, понять, о чем я говорю, ведь повествование мое может начаться только с петли.

Рассказ мой начался со слов: «Да здравствует!» — так как это те слова, которые можно услышать и по ту сторону петли, восприняты они были с издевкой и злобой, потому что никому не может понравиться то, что я говорю. Вы всё же должны выслушать меня, принять мой рассказ как горькое лекарство, прописанное врачом, чтобы вся напыщенность испарилась сквозь ваши белые рубашки и чтобы ваш ревматический беззубый покой получил основательную встряску. Шевелите губами и моргайте глазами, ковыляя по наклонному спуску нашей теории возрождения, пусть занозы вопьются в ваши ляжки и постные рожи ваши содрогнутся от этого высокого эксперимента познания. Но я не дам вам вернуться к покою, ибо все движение, которое совершается вокруг, и мир, который олицетворяет ваш противник, — это я. Вы думали, что избавились от меня, повесив на окраине и закопав в землю, сровняв могилу железным заступом.

Когда я был жив, вам не могло помочь ни то, что я был брошен в холодный погреб, ни то, что мне ломали руки и ноги, чтобы я выдал товарищей, а ведь это обычный ход событий; он так же естествен, как солнце и воздух, и поэтому тысячелетия наполнены криками, обличающими несправедливость. Вы даже не можете понять и того, что на этом пути к петле во мне бурлили силы, тот синтез движения моего существа, который обычно называют душой, ибо даже самый совершенный язык в мире

не может выразить и тысячной доли тех вибраций, записываемых фонографом небытия, чтобы слиться с симфонией вечности.

Был намечен телеграфный столб и поперек него прибита доска, которая властно и повелительно простиралась над моей головой и не отличалась от вечности ни одной частицей своей материи. Столб этот торчал около церкви, и у ее дверей мне впервые пришлось пофилософствовать, что не стоило решительно ни гроша, ибо и Христос был вечным однообразием. (Как видите, этот рассказ мне подсказала фантазия, пропитавшая все мое существо, но и логика необходима, как необходимы солнечной системе ее пути сквозь гостеприимство вечных пространств.)

После того как в моей голове раздался оглушительный грохот, исходивший из кафедрального собора, словно весь земной шар разорвался на части и я вместе с ним превратился в пыль, подобную истлевшему бобу, — после этого я перешел на другую сторону бытия. И мне не оставалось ничего иного, как влиться весом своего тела в среду тех неисчислимых тысяч, которые собрались за рубежом эры бесконечности.

Насколько интересной была эта ночь, об этом вы будете еще судачить там, у себя, но меня она занимала меньше всего: интерес, радость, восторг и прочие чувства остались по другую сторону. В эту ночь мерцание звезд не затемнялось тучами, телефонные и телеграфные провода шевелились высоко над уличными фонарями и легкомысленный ветерок налетал порывами. Я висел в трех футах над булыжной мостовой, спиной к старому, напоминающему провал в пещеру дверному отверстию, через которое в течение многих столетий тянулись нити к виселичным петлям. Когда надо мной били часы, мне не приходилось раскрывать глаза, как это делал я раньше, ибо удары эти, как и все прочее, нельзя было совместить с моим теперешним существованием. Ряды телег, груженных таинственной поклажей, громыкая колесами, тянулись вдоль улиц, и собаки, привязанные цепями к телегам, осторожно шагали за ними, не отходя слишком далеко и не приближаясь слишком близко к колесам, а из черной подворотни вылез кот, промяукал в тишину, а может быть, потому, что увидел меня, или потому, что вспомнил о какой-то кошке, гревшейся у плиты.

Если бы я сказал, что люблю ночь, то тем самым поставил бы себя снова в ваши ряды, ибо любить или ненавидеть можно лишь по эту сторону бытия, а я лишен этих свойств и этих действий. Я — только факт. Поэтому я вынужден сказать, что под утро ветер попытался раскачивать меня, но ему удалось лишь немного пошевелить мои заиндевевшие волосы над ухом, потрепать полы пальто и после некоторого усилия повернуть меня боком к церковной двери, но это было напрасным трудом. Все, что происходило за моей спиной, я видел и не поворачиваясь: каннибальские жертвы любви Христовой отлично видны мне у позорного столба, на колесе или дыбе, не говоря уже о замурованных и заколотых мечом и о любовном объятье Христа, в которое он заключил мою шею за то, что я посмел забраться на его место агитатора и проповедовал нечто обратное его учению.

Утреннее солнце смешалось с тучами и голыми ветвями деревьев вокруг меня, и первыми, кто явился ко мне, были вороны и воробьи — они очень скоро установили, что я безопасен, и нашлись даже такие рассудительные, что клевали зерна у меня под ногами, принимая меня всего лишь за огородное пугало.

Но, лишь покосившись с позиции своего акробатически изогнутого тела, я начал свое сатирическое представление, причем оно должно было быть столь грандиозным, столь великолепным, чтобы в нем принял участие почти весь город, ибо и сама игра, и афиша, и вход, и сам зритель составляли единое целое. И первым зрителем, не считая воробьев, был предатель, изогнувшийся в своем модном полушубке столь же причудливо, как и я сам, — мысленно ухмыляясь, он пересчитывал наличные в своем кошельке. Но ему казалось, что я гляжу, что вижу паутину его мыслей, и поэтому он не мог стоять на месте, хотя и пытался остаться и подкрутить свой ус. Приходили дворники, солдаты, лавочники, слуги, нищие, проезжали крестьяне и крестьянки со своим товаром и останавливались при виде моего представления. Они покашливали, молчали и отбивали сапогами дробь, иногда у них стучали зубы; они прохаживались, потирали руки и делали попытки смеяться, аплодировать, свистеть, бросать цветы, гнилые яблоки, но способность их наслаждаться была столь ограниченной, что они не в состоянии были долго вынести этого зрелища, чувствуя холодную



дрожь, пронизывающую их тела. Но тем не менее, заблуждаясь, они не могли понять, что за ними охотятся, ибо язык мой был во всю длину высунут изо рта. Он был белым, угрожающим под полузакрытыми глазами, рот был изукрашен скорбной улыбкой; голова склонилась набок, как у хорошего скрипача, исполняющего свой номер с восторженным энтузиазмом, и, несмотря на художественную глубину и мое положение, возвышающее меня над ними, публика не в состоянии была выйти из оцепенения.

К полудню стали вылезать пасторы и помещики и цеплявшиеся за их руки сморщенные старухи в головных уборах гетевских времен. Они озлобились, увидев мой высунутый язык и мою улыбку, но через некоторое время они успокоились, говоря, что бог не позволит издеваться над собой — это означало, что с каждым, кто посмеет восстать против них, случится то же, что и со мной.

Они стояли долго и смотрели на мою длинную шею с кадыком, высунувшуюся из воротника, и на мои белые руки, такие белые, что могло показаться, будто они в лайковых перчатках, если бы только на пальцах не проступали мозоли от черной работы. Все же они нашли одно утешение, так как их божий дом находился за моей спиной, словно декоративный фон для этой сатирической игры, в украшении которого они сами принимали участие, что еще больше подчеркивало реальность подобного зрелища.

Лишь под вечер пришла хозяйка дома моей сестры, такая толстая, что казалось, будто она с трудом справляется с собственной тяжестью; поравнявшись со мной, резко рассмеялась... Может быть, она была единственной, кто мог оценить всю глубину моей сатиры и понять ее скрытый смысл.

И снова перешло все в ночь, разрываемую криками кота и кошки, обыватели завесили окна толстыми одеялами, чтобы не видеть мой высунутый язык, а это еще больше расширило мои возможности, так как теперь все пути мне были открыты.

Прежде всего я проник в семью священника, когда все сидели за столом и вели беседу о справедливости и человечности. Я морозом прошелся по спине самой хозяйки, искажил лицо ее дочери, пока достойный хозяин этого дома поспешно глотал свой ужин, — уже по харак-

теру своей профессии он был достаточно закален. Мою сатиру невозможно было изгнать ни из кроватей, ни из снов, несмотря на то что двери были плотно закрыты и толстые одеяла висели на окнах. Я тихонько стал в углу комнаты, где происходило собрание, на котором молодых девушек называли Христовыми невестами, и где все падали на колени и пели, и где каждое слово молитвы с упоминанием Иисуса прежде всего напоминало обо мне и моем высунутом языке. Я очутился и среди тех любовных парочек, которые считали, что достигли наивысшего блаженства; наклон моей головы сделал существование банальным и мешал всякой концентрации чувства, без которого немислима никакая полнота наслаждения. Моя тень мерещилась на стенах всем тем, кто воображал, что вечером спокойно прогуливается по знакомым улицам, — объем мозга этих людей не позволял освободиться от подобной мысли, ибо это была сатира потустороннего бытия.

Право, это был неплохой маскарад для нашего времени, в котором нельзя было не участвовать полностью; тихую и спокойную ночь я превратил в столь богатую и беспокойную, какой могла быть эта улица лишь в самый страшный чумной год, когда у каждой подворотни лежало по трупу с открытыми и остекленевшими глазами, в которых замер предсмертный крик, и с пальцами, все еще судорожно цеплявшимися за жизнь.

Перед самым рассветом пришла моя мать и бросилась передо мной на колени, обнимая и целуя мои ноги точно так же, как это изображается на полотнах великих мастеров, но это действие, само собой разумеется, не могло произвести на меня никакого впечатления, несмотря на то что поцелуи и слезы ее были горячими. Она медленно сняла с головы свой белый платочек и повязала мне лицо так, чтоб скрыть мой высунутый язык, — это, в свою очередь, свидетельствовало о том, что и ей не нравится мой вызов, ибо и она жила среди обывателей. Тем не менее положение мое не могло измениться, ибо язык мой столь же отчетливо был виден сквозь ткань, как и без нее. Этот милосердный поступок моя мать совершала воровато, но она не могла не закричать, правда, крик свой она заглушала, закрывая рот рукой, и у нее вырывался только стон: несмотря на самое страшное ее горе, она не могла преодолеть мучительного стыда, который воспитал в ней мой противник Христос. Мать была на

границ помещательства, об этом говорили ее глаза и глубокие морщины на лице, которые в один день нанесла моя дорога к петле.

Видя это, я воскликнул:

— Приветствую тебя, маты!

Этого дня и еще одной ночи городу было достаточно. А для того, чтобы не возбуждать умов, священники и старухи велели увезти меня, бросить в яму и сровнять над ней землю.

Так началась подготовительная работа к моей победе.

Какая прекрасная, говорили повсюду, стояла весна над моей могилой. Никогда еще так близко от меня не заливались соловьи, не щелкали синички, не щебетали разные большие и маленькие пташки. Черемуха опустила свои душистые белые гроздья над красными цветами и лентами, которые приветствовали мою работу по ту сторону небытия. Это были и внешние признаки, свидетельствовавшие о том, что я живу и вне многогранности подземной жизни, живу смело и уверенно, ибо как иначе могли бы девушки класть по ночам красные ленты и цветы на место моего погребения, бросая тем самым вызов городу и всему мещанскому в нем? Кол, вбитый в мою могилу, начал зеленеть, подставляя солнцу зеленые листья, — влагу он брал из той ямы, в которой собиралась вода и в которую с таким пренебрежением бросили меня. О, какой безумный страх вызывали эти нежные зеленые листочки, — община велела вырвать кол, чтобы суеверие не охватило и пастора.

Ход лета с его жарким солнцем не беспокоил меня точно так же, как не беспокоили меня весенние певчие птицы и луна ночью, наполненной земными испарениями, — они плыли надо мной подобно винным амфорам во время древнегреческих дионисий. Раньше столь тяжелая, осень была для меня понятием абстрактным, а темные октябрьские ночи я предпочитал проводить весело в городе. Город и теперь начинал орать в экстазе и агонии. Так, почти через год, я вырос во сто и в тысячу крат потому, что дразнил своих врагов, в то время как мой противник притворялся, что любит. Теперь красные ленты на мою могилу клали уже днем, и шаги людей, приносивших ленты, становились тверже и уверенней. «Это был октябрь, — говорили они, — месяц духов»,

Трубные звуки ветра неслись через леса, поля и улицы, звучали в дымоходах, свистели в заборах, но это была всего лишь осень, хотя всем, кто хранил в заветных местах и под перинами мешки с деньгами, слышался не шум ветра, а рев иерихонской трубы. Хозяева и хозяйки прятали свои хрустящие бумажки, которые они хранили годами и которые заработали, продавая голодному люду хлеб, заставляя его трудиться на своих полях, ибо они страшно боятся месяца духов. Мать моя спрятала глаза в своем сердце и не видела теперь ничего, кроме меня, таким образом мое отражение вошло в нее; она превратилась в зеркало, в котором отражалась моя сатира. Это было безумием, ибо разум не мог равномерно отражать все и всегда.

Я был единственным, кто перешагнул через этот рубеж. Теперь были сотни таких, кто шел вместе со мной, кто понял все и приходил поклониться тому, чему я в свое время учил, за что агитировал не словами, не плакатами и развевающимися знаменами, но тем неизбежным, неотвратимым фактом.

Предатель бежал первым, проклиная всех и вся, черный от пота; кошельки хапуг дрожали в засунутых в карманы руках их хозяев, ибо избежать можно лишь то, что делается по ту сторону небытия, а результаты деятельности, происходящей по эту сторону небытия, неизбежны.

О ряды знамен, о красный цвет борьбы и человечности! Вы развеаетесь в воздухе с золотой надписью: слава погибшим! А что такое слава погибшим? Разве я погиб? О нет, никто не погиб! Я сам и есть та слава, я сам и есть теперь это алое знамя: «Да здравствует!» Я развеваюсь над головами ораторов, я склоняюсь над тем местом, где стоит мать над могилой своего сына, я благословляю бывшую невесту повешенного, она стоит теперь возле молодого человека и не знает, что во мне — знамени — не может быть ревности к тому, что теперь ее в жизнь введу не я, а тот, что стоит рядом с ней и держит в руках алые розы. Я свободен от всего; я всего лишь факт, пронизывающий все, вселяющийся во всех, отдавшийся всему. Этим я победил, и этим знаменем я развеваюсь над миром!

Из цикла «Оправданные»





### **ДЕСЯТКА НАШИХ**

**П**олучив приказ перейти в распоряжение начальника разведотдела армии — Теодора, мы, десять бывших партизан, отправились в штаб. Теодор уже нас ждал.

— Товарищи, — обратился он к нам по-латышски, — из четырехсот партизан я выбрал вас, самых предприимчивых, выносливых и храбрых. Вы доказали это в боях с латышскими и эстонскими контрреволюционерами с Булак-Балаховичем, Юденичем и другими марионетками помельче. Теперь главнокомандующий армии ставит перед вами новые задачи, совсем особого характера. С этого дня вы переходите в мое распоряжение. Отныне вы разведчики и будете действовать в глубоком тылу противника. Вам надо будет отправиться назад, в тыл врага, и давать нам оттуда сведения о неприятельских войсках, об их численности, передвижениях, о каждом шаге противника. Это на первых порах. А в дальнейшем, когда подберете вместо себя помощников-резидентов, вы будете держать связь между штабом и этими резидентами, потому что вы уже закалились, стали специалистами в искусстве переходить фронт и сумеете справиться со всякими неожиданностями. Не буду сейчас останавливаться на всех подробностях вашего задания. Вам их сообщат вечером — каждому особо. А пока до вечера еще раз обдумайте, можете ли вы все, как один, взяться

за это дело, потому что на такую работу нужно идти сознательно, по доброй воле.

Самым старшим среди нас был Силис, имевший десятилетний опыт подпольной работы. Он разгладил бороду и сказал:

— Тот, кто с честью носит имя партизана, будет и хорошим разведчиком, сознательным, толковым, беспощадным к врагу.

Так думали и мы все.

Я с Жоржем иду впереди. За нами — Силис, Виллер, Курт, Вайвар, Алберт, Эйнис, Лицис. Стоит осенняя ночь, такая тихая, что малейший треск сучка под ногой гулко разносится по лесу. Мы замираем на месте, прислушиваемся. Где-то здесь в лесу вражеские посты, но где именно, мы не знаем. У меня в руке наготове граната. У Жоржа — маузер. Условлено так: при первом же оклике «Стой!» Жорж открывает огонь, я бросаю гранату. Не удастся сразу сломить врага — на помощь бросятся восемь остальных разведчиков...

Сияет луна, все выше поднимается над верхушками деревьев. Мы держимся в тени густых елей, так наши фигуры менее заметны. Мы уже прошли по лесу около версты. Предстоит пройти еще две. За этим лесом тянутся Логовские леса и болота — там на двадцать верст в окружности нет ни одной избы, ни одного неприятельского поста. Мы должны так же благополучно пройти этот лес, как прошли через линию фронта. Неделю назад мы были только партизанами и, когда шли по этому лесу из вражеского тыла к фронту, не соблюдали особых предосторожностей, не очень-то прятались — наоборот, Эйнис, Виллер и Лицис нарочно искали встречи с вражескими постами только из желания погонять их по лесу небольшими ручными гранатами артиллерийского образца. Теперь у нас совсем другие задачи. Теперь мы должны тайно, без шума, перейти фронт, чтобы тайно, без шума, начать работу в тылу врага. Вот почему мы идем с такой осторожностью. Зрение и слух обострены до предела. Мы улавливаем малейший шорох, замечаем малейший пустяк. Мускулы напряжены, как пружина. Мы готовы мгновенно припасть к земле, оказавшись на краю вырубки, мы с Жоржем успеваем заметить огонек папиросы,

вспыхнувшей в густой тени деревьев. Осторожно опускаемся на землю. За нами совершенно бесшумно ложатся и остальные. Мы прислушиваемся, не раздастся ли на той стороне вырубки треск, взглядываемся, не блеснет ли там еще раз огонек. Нет, — тишина. Но теперь нам ясно. Мы знаем теперь, что на той стороне расположен неприятельский пост. И место подходящее: на вершине пригорка, под елями. Со стороны фронта — вырубка, с флангов — небольшая полянка. Не говоря ни слова, мы ползем назад, в лес, затем встаем и, тщательно отбрасывая на своем пути все сучки, медленно обходим вырубку. Идем и думаем: мгновенный, едва уловимый отблеск, ничтожная неосторожность с их стороны — как это важно! Быть может, это спасло жизнь кому-нибудь из нас, а может, и кому-нибудь из них.

Миновали вырубку. Снова пришлось замереть, прильнув к земле, чтобы укрыться от мерцающего света ракеты, которая внезапно взлетела в полуверсте от нас. Когда опять стемнело, где-то в лесу залаял пулемет. Трудно сказать, что встревожило второй пост. В конце концов мы решили, что по лесу, быть может, бродят и прифронтовые разведчики.

Вот и лесная опушка. Мы знаем, что за лесом не должно быть вражеских постов, но все же выходим на логовские поля не все разом. Пятеро идут вперед, пятеро остаются. И только когда первая группа, отойдя от опушки шагов на сто, ложится, нацелив винтовки в сторону леса, выходим и мы. За логовскими полями тянется болото с мелкими, реденькими сосенками. Лишь перейдя через него, мы чувствуем себя в сравнительной безопасности. Прежде всего садимся отдохнуть. Закуриваем. Достаем мясо, хлеб — подкрепляемся. Но медлить нельзя. Уже девять часов, а к семи — до рассвета — нужно пройти сорок верст до Мелнупских лесов. Мы снова встаем. Идти по замерзшему бесснежному болоту легко и приятно. Мы идем широким, твердым шагом. Около часа ночи выходим на край болота, вдоль которого извиляется, блестя под луной, небольшая речка Губень, тихо несущая свои воды в Кавинесте.

Еще с партизанских времен у нас тут, в кустах, прятана лодка. К нашему изумлению, ее нет. Очевидно, кто-то недавно здесь рыскал и угнал ее. Вверх или вниз? Кто знает?



Лезть в воду сейчас нет никакой нужды, и мы принимаемся мастерить плот. Ручная пила, которую здесь называют «фуксой», небольшой топорик и гвозди у нас с собой. И вскоре плот из сухих сосенок готов. Все же переправа отняла много времени. И на другом берегу нам пришлось прибавить шаг. Снова начинаются хутора, деревни. Дорог мы избегаем — идем напрямик. Кустарник ли попадется, лесок ли — напрямик. Остерегаемся только сараев да опушек. От таких мест мы держимся подальше — за несколько сот шагов. Уже на утренней зорьке, только пересекли Губеньскую дорогу, чуть не наткнулись на кавалерийский разъезд противника. И наткнулись бы, если б они не разговаривали так громко. Едет человек двадцать, далеко вокруг слышатся голоса да топот копыт. А нам теперь только радоваться и благодарить их за такую беспечность. Нырнув в кусты, пропускаем их мимо. Едут тесно, по четыре в ряд. Руки у нас чешутся, так и тянутся к затвору, но нельзя, мы ведь разведчики в глубокую тылу противника! Мы имеем право вступать в бой только в случае крайней необходимости.

— Не беда! — утешает нас Эйнис. — Когда-нибудь расквитаемся.

— А то как же! — соглашаемся мы.

Тем временем утренняя заря вступила в свои права. Сначала куда-то исчезает луна. Затем одна за другой гаснут звезды. Воздух свеж и кристально чист. Полной грудью дышим мы лесной прохладой. Пройдено верст пятьдесят, но усталости нет. Это не только от нашей закалки, привычки к длинным переходам, но и потому, что среди нас нет ни одного слабого. Все десять как на подбор. Виллер кулаком убьет человека. Жорж одной рукой поднимает пять пудов. Алберт одним движением может сломать противнику руку. Самый флегматичный и худощавый из нас Вайвар, но сколько раз мы ни пробовали бороться с ним, ни разу не положили на лопатки. При умывании мы часто любуемся нашими мускулами. У Виллера они особенно развитые, твердые, упругие, кажется, брось нож шага за два — отскочит, не оцарапав. А вот у Вайвара мускулов почти не видно.

— Как же ты борешься? — не раз спрашивали мы у него.

А он только посмеивался:

— У меня вся сила внутри да в костях.

Его выносливость объясняется просто: до гражданской войны он десять лет кряду работал в этих лесах простым лесорубом, закалялся, накапливал ненависть и злость.

Где-то впереди залаяла собака. Там изба лесника Пурвайниса — одна из наших главных явок. Мы внимательно наблюдаем некоторое время за избой и окружающей ее местностью. Ничего подозрительного нет. Выползаем на опушку и сигнализируем.

— Пи-и, пи-и! — подражаем свистулькой голосу рябчика.

— Пи-и, пи-и! — свистит в ответ Пурвайнис и с ружьем на плече вслед за собакой выходит к нам в лес. Здравуемся.

— Стало быть, вы опять тут?

— Завернули мимоходом, — смеемся мы в ответ.

Пурвайнис больше ни о чем не спрашивает. Его давно отучили от излишнего любопытства. Он приносит нам в лес мяса, масла, хлеба и тулупы. Закусив, мы ложимся спать, укрывшись тулупами. Первым остается караулить Эйнис.

Выспавшись, вечером мы расстаемся. Силис, Кон, Жорж идут в местечко Губени; Курт, Вайвар, Алберт — в Мелнупе; Лицис, Эйнис, Иллер и я — в Логово.

У всех важное задание. Все три группы должны подыскать себе надежных помощников. В местечке Губени стоит штаб неприятельской дивизии. В нем работает писарем родственник Силиса — Гоба. Надо постараться его завербовать.

В Логове — штаб полка. Один из штабных лейтенантов — мой школьный товарищ, потом соратник по боям в Тирельском болоте и на Пулеметной горке. Кто весной 1917 года дышал в Тирельском болоте трупным запахом, видел тысячи павших латышских стрелков, тот легко перейдет на нашу сторону. Я иду и раздумываю об этом. Неужели он откажется, неужели не поймет, если обо всем напомнить ему, все разъяснить?

И в Мелнупе тоже штаб одного из белых полков. Там служит сержантом брат Алберта. Алберт идет туда с товарищами и думает: «Неужели брат откажется? Чего ему тут «сержантничать», что ему тут защищать? Гол как сокол, — неужели у него не осталось ни ума, ни совести?»

Мы заранее знали, что вербовка людей, вызов их на место встречи могут потребовать много времени, поэтому

договорились собраться в избе Пурвайниса не раньше чем через шесть дней.

Я подсчитываю: сегодня четвертое ноября, значит, десятого надо возвратиться. Нашей группе идти недалеко — только двадцать верст до Мейера, второго явочного пункта. Мы идем по заросшей логовской просеке, избегаем, как и предыдущей ночью, дорог, зданий, опушек. В таком глубоком тылу ночью вражеских постов, конечно, нет, но осторожность прежде всего, поэтому мы, как и накануне, не выпускаем оружия из рук. Мейер — лесоруб. Его изба стоит посреди леса. Нам будет не трудно пробраться к нему, и там мы остановимся на несколько дней.

После полуночи, убедившись, что условный знак на своем месте, мы легонько постучали в окно. Всего десять дней тому назад мы ушли отсюда, сон Мейера еще чуток — он сразу подходит к окну. Узнав нас, впускает в дом. Мы не теряем времени и, завесив окна одеялами, сообщаем Мейеру, что ему нужно будет завтра съездить к двоюродной сестре Лициса и передать ей записку. Мейер не возражает, он очень рад нам помочь. Тогда Лицис садится и пишет:

«Милая Эльзины!

Пожалуйста, вызови завтра ночью своего жениха Волдиса и в подходящий момент шепни ему, что я, Волдис Лицис, и Эрнест Рейтер хотели бы его повидать. При этом внимательно наблюдай за ним: если он не проявит к твоим словам никакого интереса, незаметно переведи разговор на другое. Если заинтересуется, то скажи ему, что встретиться можно будет через пару деньков у Мейера. Мы пробудем здесь несколько дней.

*Волдис».*

5. XI. 1919

Поутру Мейер уехал, а мы опять нырнули в лес. Там мы чувствуем себя в безопасности. Около полудня Мейер возвратился и привез нам записку.

«Волдис уехал на несколько дней. Когда вернется, выполняю вашу просьбу.

*Эльза».*

5. XI. 1919

Нечего делать. Забираемся поглубже в лес и разводим костер. Несколько деньков можно будет отсыпаться. Мейер принес хлеба, мяса, табаку, и мы совсем неплохо провели эти дни, пока наконец не пришли к нам Волдис и Эльза.

Теперь надо поразмыслить, пораскинуть мозгами, как лучше взяться за дело.

Прежде всего прогоняем Эльзу. Она уходит, обиженная:

— Эх, не доверяете мне, а ведь привела-то его я!..

Мы заводим с Волдисом дипломатический разговор:

— Вот так мы живем-поживаем...

Он. Если приглядишься да обдумаешь — ничего себе.

Мы. Ну, порой тяжеловато приходится. Вы ведь тоже иногда на нас нападаете.

Он. Оно конечно!

Я. Но если сравнить с Тирельскими болотами или с Пулеметной горкой, так теперь вроде больше смысла.

— Что и говорить! — соглашается он.

— Тогда мы даже не знали, за что воюем. Видели только, как росли горы латышских трупов.

— Нам, очевидцам, нелегко об этом вспоминать.

— А теперь мы знаем, что боремся с теми, кто гнал нас тогда на бессмысленную смерть.

— Так это ж вы!

— А ты?

Он вздыхает:

— Я остался здесь, на этой стороне.

— Только по недоразумению.

Он опять мнетя. Потом говорит:

— Пожалуй...

— Разве ж мы не знаем, что ты такой же сын лесоруба, как и все мы, и что у тебя — если только вам вчера не платили жалованье — нет ни гроша в кармане. Ей-богу, ни гроша!

Он хохочет:

— Так и есть!

Первый лед сломан.

— Ну, так в чем же дело, — по рукам? — говорю я.

— Надо подумать.

— А то Эльза тебе не достанется, — замечает Лицис.

— Бей по рукам, сыграю свадьбу! — подбадривает Эйнис.

— Белое платье невесте и белые туфельки — от меня! — сулит Виллер.

— Ишь ты! — удивляюсь я.

— Что ж, выходит, надобно соглашаться, — говорит жених.

Второй лед сломан.

— Мы тебе дадим важное задание, — говорю я.

— Догодываюсь, в чем дело.

— Значит, за те годы, что мы не виделись, ты еще не весь свой ум растерял?

— Пес линяет, а повадок не меняет.

Мы все смеемся.

Третий лед сломан.

Остается самое простое — условиться, по каким дням он будет ездить к Эльзе и привозить нужные сведения, по каким дням она будет ходить к Мейеру и в какие дни мы будем присылать к Мейеру курьера.

Обо всем договариваемся.

— Ну, что? Как? Отпразднуем теперь твою свадьбу с Эльзой?

— Мы уже праздновали.

— А нам тоже хочется.

Посылаем Мейера в Логово за вином, печеньем, шоколадом, пивом. Жена Мейера закалывает поросенка, и ночью восьмого ноября в избе лесоруба Мейера мы празднуем свадьбу Волдиса Кандера, лейтенанта латвийской армии, с Эльзой Лицис. Больше всех пели Лицис с Виллером. У Виллера был тогда неплохой голос.

Девятого ноября ночью мы опять у Пурвайниса. Групп Силиса и Курта еще нет, но в лесу нас ожидают курьеры из штаба армии: Зиедынь и Крам. Они вручают мне крохотный рулончик, адресованный Силису, и я осмеливаюсь его вскрыть.

Спрашиваю: «В чем дело?» Но вопрос этот совершенно ни к чему, они ведь тоже ничего не знают. Им приказали доставить этот рулончик сюда, вот и все. За вскрытие — смертная казнь. Но если бы я и открыл, все равно ничего бы не понял — шифр! И у каждого командира группы свой ключ.

— А что это за пакеты на земле? — спрашиваем мы.

— Пироксилиновые шашки.

Мы подходим и разглядываем запломбированные жестянки с шашками по двадцать три фунта.

— Вы принесли?

— Мы.

Ага! Ясно, предстоит что-то взрывать. Но что и где, об этом скажет Силис.

— Хорошо ли дошли?

— Без происшествий. Только на краю прифронтовой вырубki чуть не влипли.

— Там у них постоянный пост, — говорим мы. — А когда думаете двинуться назад?

— Когда отпустите.

— Ладно.

И все мы ложимся спать, — еще только три часа, а светает около семи.

Но нам не спится. Ворочается Виллер, ворочаюсь я и другие. Да и луна мешает: светит сквозь оголенные ветви прямо в лицо.

Перебираемся туда, где тень погуще, и с головой укрываемся тулупами. Тишина. Покой. Ни малейшего звука в лесу, никакого движения на дорогах. И это вполне понятно: фронт отсюда в шестидесяти верстах.

Уже светало, когда нас разбудила группа Силиса. Перед самым восходом солнца пришел и Курт со своими.

— Ну, что, как? — спрашиваем друг у друга.

— Полный порядок!

И это все. Ни слова больше. Ни слова о том, удалось ли подыскать резидентов-помощников. Это останется тайной группы. Рассказать о проделанной работе можно только в штабе. Крам вручает Силису рулончик. Взяв бумагу и карандаш, Силис садится на пенек расшифровывать письмо. Через час все мы, руководители групп, принимаемся писать в штаб — Силис сообщил нам, что Крам и Зиедынь немедленно отправятся обратно. Мы пишем на тончайшей папиросной бумаге, и наши довольно длинные зашифрованные донесения в скрученном виде не больше спички. Три таких трубочки Крам и Зиедынь тщательно прячут в себя.

Вставив капсюли в гранаты, зарядив винтовки, они прощаются и уходят своей дорогой. Ловкие, подтянутые, они вскоре исчезают в негустом лесу.

Тогда Силис говорит:

— Ну, держись, ребята! Надо будет взорвать Вибурский мост. Ночью двенадцатого ноября наши перейдут в наступление, и мы должны отрезать белым путь назад.

Мы сразу веселем.

— Эге! — первым восклицает Эйнис. — Значит, опять сцепимся.

— А то как же! — говорит Виллер, подходя к взрывчатке. Он — опытный минер.

Мы же чистим и смазываем оружие, осматриваем и наново заряжаем гранаты. Жорж выползает на опушку, свистулькой вызывает Пурвайниса. Сообщаем ему, что уходим.

И опять мы с Жоржем шагаем впереди. Мы идем через Мелнупские леса на север. Прежде чем стемнеет, нам нужно дойти до Гаринаузе. Пользоваться компасом незачем — Мелнупские леса нами исхожены вдоль и поперек. Это облегчает переход. Легко и приятно быстро шагать по замерзшей земле в негустом лесу прохладным осенним днем. Кругом такая глушь, что маузеры наши спокойно лежат в футлярах, карабины на плече. Мы рассчитываем к концу третьих суток, двенадцатого ноября, быть у Вибургского моста. До Гаринаузе отсюда тридцать верст, от Гаринаузе до моста — шестьдесят. Хотя за Гаринаузе мы дорогу не знаем, это нас не тревожит, у нас есть карта и компас, и мы не в первый и не в последний раз пойдем незнакомой дорогой.

Судя по карте, мост на реке Вибури находится в лесу, а это очень важно.

Под вечер, после небольшого отдыха, мы осторожно выходим на опушку около Гаринаузе. Здесь железнодорожная станция, местечко, штаб неприятельской бригады. По станции расхаживают вражеские солдаты и офицеры. Тяжело дыша, в клубах черного дыма проходит на фронт эшелон. Через полчаса грохочет второй — с пушками и снарядами ящиками.

Мы плотнее закутываемся в свои английские шинели. Дует пронизывающий северный ветер. Тучи затягивают небо. Заметно темнеет. Мы спешим, пока еще светло, свериться с картой и компасом, чтобы взять верное направление на Вибури. От Гаринаузе снова надо быть на чеку. Придется идти по безлесным местам вблизи фронга и так все рассчитать, чтобы на рассвете снова войти в лес. Это главное. Жорж еще и еще раз сверяется с картой и говорит:

— У Мазвибурей должен снова начаться лес, — это ведь точно!

— Это точно, — соглашаемся мы, — видно по карте. Однако мы еще раз обсуждаем обстановку, изучаем карту, и, только собственными глазами убедившись в том, что за Мазвибурами, возле деревни Миты, обозначен лес, пускаемся в дальнейший путь.

Погода меняется на глазах. На небе ни звездочки. Темные, черные, разорванные тучи несутся на запад. Поднимается ветер. На опушке тревожно шумят сосны. Им подпевают сухие осинки на краю поля. Возле железнодорожного полотна на минутку останавливаемся. Справа блестит огнями ярко освещенная станция Гаринаузе, слева, где находимся мы, непроглядная тьма осенней ночи. На рельсах никакого движения, только глухо гудят телеграфные провода.

С гранатами и револьверами наготове мы перебираемся через железнодорожную насыпь и снова исчезаем в темноте.

— Только бы снег не пошел, — нагнав нас, тихо говорит Виллер.

Как бы в ответ на лицо падает первая снежинка. За ней вторая, третья... Порою кажется, что снег затихает, но затем снежный буран поднимается с новой силой, еще стремительней, еще плотнее покрывает черную землю белым покровом.

— Снег!

Мы инстинктивно еще крепче сжимаем оружие.

Снег! Охваченные звериной злостью, мы еще быстрее идем вперед.

Первый снег! Нет в мире разведчика, который сумел бы скрыть свои следы в лесу по первому снегу.

— Проклятый! — вырывается у Эйниса.

Теперь у нас только один выход, одна мысль: идти и идти без остановки. Застанет день в Мазвибурских лесах — не спать, а идти вперед. Придет ночь — не спать, а идти вперед, потому что при утреннем свете наши следы наверняка будут замечены и отряды преследователей кинутся за нами.

Гранаты у нас наготове, висят на поясе. Проверяем винтовки. Они заряжены. На ходу заменяем патроны новыми — теми, что постоянно хранятся в теплом внутреннем кармане и никогда не знают сырости.

Слух и зрение опять обострены до предела, но слишком остерегаться теперь ни к чему. Встретим вражеский



пост — собьем, сокрушим, уничтожим. Некогда теперь ползать на четвереньках, — завтра ночью мы должны добраться до Вибурского моста, завтра ночью мы должны взорвать Вибурский мост, и ничто этому не помешает.

Встретится кавалерийский разъезд — рассеем, разобьем! Сорок гранат, десять маузеров, десять карабинов, два парабеллума с тридцатью двумя зарядами в каждом. Наш Виллер кулаком может убить человека, а Жорж одной рукой поднимает пять пудов, а Лицис попадает гранатой в цель за сто шагов, а Вайвар десять лет копил ненависть и злость... Захрипят кони с распоротым брюхом, завопят о пощаде еще оставшиеся в живых всадники. Да, да!

— В Мазвибурских лесах придется сделать крюк, чтобы оттянуть время, — замечает Силис, не замедляя шага.

— Конечно, — соглашаюсь я, — иначе при такой быстрой, непрерывной ходьбе мы слишком рано придем к мосту.

— Когда еще придем!.. — говорит Вайвар.

На рассвете мы вошли в Мазвибурские леса и впрямь направились не к мосту, а в сторону от него, так как до цели оставалось всего тридцать верст, в нашем же распоряжении был еще целый день и следующая ночь.

Тем временем снег перестал идти. Но это лишь ухудшило наше положение. За нами остается цепочка следов — целая дорога. Любой дурак, наткнувшись на них, скажет, что здесь только что прошла большая группа людей, а тот, кто посмышленей, поймет, что прошла группа вражеских партизан или разведчиков.

Под вечер мы делаем краткий привал на краю какой-то вырубki и подкрепляемся мясом и хлебом, не сводя глаз с только что пройденного открытого места. Затем продолжаем путь в вибурском направлении. Все время мы выбираем дорогу по лесу так, чтобы, изредка оглядываясь, видеть свои следы на большом расстоянии. Правда, пока ничего подозрительного нет, но это не дает нам права успокаиваться — ведь в любой момент на протоптанной нами дорожке могут показаться преследователи.

И вот на противоположной стороне полянки, которую мы только что пересекли, показывается человек с ружьем на плече. Идет согнувшись, внимательно всматриваясь

в наши следы. Нас охватывает злость, ярость. Мы знаем: когда он подойдет сюда, на противоположной стороне появится целая группа преследователей.

— Ишь гнида! Видно, тебе жизнь надоела? — цедит сквозь зубы Эйнис.

— Ребята! Не стреляйте! — спешит предупредить Виллер и прячется за густой елью на краю проложенной нами дорожки.

Мы усмехаемся:

— Ну, ладно! — отползаем в сторону.

Тем временем преследователь приблизился. Я становлюсь так, чтобы видеть одновременно и его и Виллера. И вижу: едва только неизвестный миновал Виллера, как тот вскочил, набросился на него и мгновенно сжал в своих могучих объятиях. Схваченный не успел ни крикнуть, ни выстрелить. Мы с Жоржем подбегаем к Виллеру. Поздно! Человек неподвижно лежит на земле.

— Такого уговора не было, — замечаю я.

— Чепуха! — оправдывается Виллер. — Я не думал его душить, это он от страха.

Я делаю знак остальным — дескать, следите за плянкой, тут у нас дела! — и опускаюсь на колени возле незнакомца. Беру его ружье. Гм! — охотничья одностволка. Это нас немного успокаивает. Затем осматриваем его карманы: пусты, ничего в них нет, даже другого патрона. Мы удивленно смотрим друг на друга.

— Эй! — окликаю я.

Незнакомец моргает глазами и вздыхает.

— Я же сказал, что от страха обмер! — радуется Виллер.

— Эй! — повторяю я.

— О-ох! — стонет незнакомец.

— Ты откуда? — спрашивает Жорж.

— О господи! Лесник я...

— Зачем идешь по следу?

— Так.

Жорж свистит. Подходят остальные товарищи.

— Что с ним делать? — спрашивает Жорж. — Лесник он. По своей дурости шел за нами, куда вели следы.

— Связать и отпустить, — говорит Силис.

Эйнис мигом достает из сумки тонкую льняную бечевку и с помощью Алберта крепко связывает леснику руки выше локтя.

— Делайте что хотите, только в живых оставьте! — умоляет лесник.

— Так и делаем, — говорят Алберт с Эйнисом, связывая ему и ноги.

— Попробуй-ка идти, — предлагают они.

Оказывается, что лесник может передвигаться маленькими шажками.

— Понимаешь, почему мы тебя так связали? — спрашивает Алберт.

— Понимаю, понимаю, — садясь, говорит лесник. — Чтобы не убежал и не донес на вас в комендатуру, да и чтоб не замерз, а в конце концов потихоньку добрался домой.

— Совершенно верно.

— Только понапрасну это делаете. Ведь мой сын у вас. Никуда я не побегу доносить.

— Ну, этого мы сейчас установить не можем, — говорим мы и отправляемся дальше.

Снег снова пошел. Ветер усиливается, начинается метель. Тяжело вздыхают лохматые вибурские сосны, низко склоняются пышные, стройные ели. Порой в лесу за десять шагов ничего не слышать, ничего толком не разглядеть.

— Не беда, — говорим мы, упрямо стремясь вперед, когда выбрались на опушку. Впереди, в полуверсте, Вибурский мост. Опытный глаз сразу определяет, что лучшего места, чтобы преградить путь, опрокинуть эшелон, нельзя себе и представить. Со стороны фронта — горка, значит, эшелон, хотя и на тормозах, не сможет остановиться. Сразу же за мостом полотно поворачивает. А высота моста — сажени четыре, не меньше.

— Ну, все в порядке, — говорим мы, прячась в кустах на опушке.

Виллер расстегивает мешочек и вынимает пироксилиновую шашку. Жорж протягивает ему вторую, Лицис подает индуктор, Вайвар — провод.

Прежде всего Виллер берется за индуктор — действует. Концы провода дают искру. Затем проверяет капсюли — взрываются.

— Попробуй и шашку! — советует Вайвар.

— Если ты на нее сядешь! — соглашается Виллер.

Затем наступает молчание. Внезапно из-за леса, пронзительно свистя, появляется идущий на фронт эшелон. Не

замедлив хода возле моста, он исчезает вдали. Значит, поезда, идущие с фронта, здесь тоже не останавливаются. Это очень важно. При свете паровозных фонарей возле моста вырисовываются часовые. Что мы их увидели — неплохо. Боимся одного: а вдруг белые узнали о нашем наступлении этой ночью? Почему вчера ночью по Гари-наузской железной дороге спешили на фронт эшелоны с пушками? И почему только что промчался эшелон, должно быть, с солдатами?

Чутко прислушиваемся — не донесет ли порыв ветра со стороны фронта звуков боя. Нет, все тихо. Из-за воя метели мы можем и не расслышать ружейных выстрелов, но грохот орудий непременно будет слышен, до фронта всего четырнадцать верст.

Идем час, другой, третий. Все спокойно. Слегка морозит, и от холода коченеют ноги. Тогда мы встаем, разминаясь, прыгаем, но по-прежнему внимательно прислушиваемся. Вот уже двенадцать, час ночи...

И ровно в час фронт загремел. Началась сплошная канонада. В небо взметнулись алые столбы пламени — где-то уже запылали деревни. Через несколько минут в сторону фронта с грохотом пронесся бронепоезд, очевидно, вызванный со станции Вибури.

— Ну, если этот первым пустится наутек, — рассуждаем мы, снаряжаясь на работу, — ничего лучшего и не придумаешь.

— Нет, этот пойдет последним. Первыми удерут эшелоны, — замечает Силис.

Мы делимся на две группы по пять человек и, рассыпавшись в цепь, крадемся к мосту. Часовые стоят у ближнего конца моста, греются возле яркого костра.

Они хорошо видны при свете пламени. Их четверо. Мы подползаем к ним и, взяв в полукольцо, ложимся шагов за сто, ближе нельзя — заметят.

«Открывать огонь или нет?»

— Нет! — решаем наконец. — Открыть огонь еще успеем, сначала попробуем по-хорошему, добром.

И слегка приподнявшись, Жорж кричит:

— Эй вы!

Часовые поражены, мгновенно падают на землю. Щелкают винтовочные затворы.

— Смирно! — опять кричит Жорж. — С вами говорит

командир отряда красных партизан. Мы не хотим вашей смерти, мы хотим, чтобы вы просто сдались.

Молчание.

— Малейшее сопротивление, хоть один выстрел, и всем вам конец! Вы окружены особым партизанским отрядом. Если не верите, послушайте!

И мы все свистим.

— Слышите?!

Молчание.

— Считаю до десяти. Если после того, как я скажу «десять», вы не поднимете руки вверх, мы закидаем вас гранатами, разорвем на куски. Какой вам смысл умирать в Вибурских лесах у какого-то там моста? Внимание! Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять...

Мы хватаемся за гранаты — сейчас все решится.

— Десять!

Возле костра встают четыре фигуры с поднятыми руками.

Мы бросаемся к мосту.

— Хорошо сделали, что сдались! — говорит Виллер, первым подбегая к часовым, и вместе с Эйнисом подбирает брошенные винтовки. Осматриваем карманы часовых. Пусто. На четверых ни одного револьвера. Только и есть у каждого что по одной английской ручной гранате.

— Мы вас свяжем, — говорим мы, и вы посидите под охраной двух наших товарищей, пока мы тут побудем еще часок. Согласны?

Они усмеваются:

— Согласны!

И Эйнис с Албертом связывают им руки за спиной, а затем привязывают друг к другу.

— Это для того, чтобы вы уцелели, чтобы по глупости не вздумали бежать, — объясняет Алберт.

Вайвар с Коном уводят их вниз, в кусты. Мы же принимаемся минировать мост. Главное делает сам Виллер. Он вставляет капсюли в шашки, мы только помогаем. Он всовывает кончик провода в капсюли, мы только придерживаем. И он же тянет провод к кустам, мы только помогаем разматывать. Шагов через сто от моста, в кустах, как раз там, где сидят Вайвар и Кон с пленными, Виллер останавливается.

— Хватит! — говорит он. — Все в порядке.

И все мы рассаживаемся вокруг Виллера, не сводя глаз с моста, прислушиваясь к гулу канонады. Очевидно, бронепоезд белых уже вошел в бой, — его выстрелы выделяются особенно резко. Время от времени в общем гуле слышны ружейные залпы и лай пулеметов. В небе непрерывно мерцают ракеты.

Фронт приближается, это ясно.

И вот через некоторое время на пригорке загудели рельсы.

— Ага! — кричит Виллер, вскакивая с места.

— Жми, жми! — подгоняем мы приближающийся поезд.

— Развязать пленных, отойти! — командует Виллер.

Развязав пленных, мы вместе с ними отползаем поглубже в кусты. С горки, грохоча, спускается первый эшелон. Виллер берет индуктор. Эшелон приближается. Визжат тормоза, сдерживая стремительный бег вагонов. Еще миг — и паровоз уже на мосту. В ту же секунду Виллер поворачивает рукоятку индуктора. Ослепительный взрыв — и мост со всеми своими перекрытиями, перилами и паровозом взлетает на воздух. Еще мгновение — и все это с грохотом, налезая друг на друга, обрушивается в реку, ломая лед, вздымая высокие фонтаны воды. Вслед за паровозом опрокидываются вагоны, сталкиваются, громоздятся один на другой. Но вот гремят новые взрывы. В воздухе свистят стальные осколки. Мы бросаемся бежать — это эшелон с артиллерийскими снарядами. Еще несколько десятков шагов — и новые взрывы, обдавая жаркой волной огня, валят нас с ног. Цистерны с бензином!

Мы снова вскакиваем и, оглядываясь на бегу, видим: горят кусты, горит все, что окружает мост. Светло как днем. В отблесках пламени мы замечаем, что вместе с нами бегут и четверо наших бывших пленных.

— Куда вы? — кричим мы.

— Куда? С вами!

— Нет, с нами никому нельзя. Если хотите перейти к красным, спрячьтесь поглубже в кусты и ждите. Через пару часов красные будут здесь!

Они уходят прямо в лес. Мы же поворачиваем на север, спешим в сторону фронта. По железной дороге подходит новый эшелон. Поднявшись на горку, он внезапно останавливается, визжа тормозами. Раздаются беспорядоч-

дочные ружейные залпы. Из вагонов выскакивают солдаты, стреляя в воздух, бегут к мосту. Мы продолжаем свой путь, все больше удаляясь от железнодорожной насыпи. По лесной дороге со стороны фронта скачет эскадрон белых кавалеристов. Мы не можем удержаться, чтобы не обстрелять их. Оставив на дороге нескольких убитых, кавалеристы в панике удирают.

Всего верстах в двух впереди ведет огонь бронепоезд противника. Не трудно догадаться, что он понемногу отходит, преследуемый нашим бронепоездом. Там же, вдоль железнодорожной насыпи, самая ожесточенная пулеметная стрельба.

Светаёт. Я взбираюсь на пышную, стройную ель и наблюдаю оттуда за происходящим. Теперь мне все видно как на ладони. Действительно, неприятельская цепь залегла на опушке и пытается оказать сопротивление. Ее поддерживает бронепоезд. Шагах в четырехстах от опушки, по оврагам и ложбинам, продвигаются наши цепи. Сразу же за ними — наш бронепоезд, он ведет непрерывную пулеметную и орудийную стрельбу. Ураган огня... Снаряды рвутся в цепи противника, рвутся возле вражеского бронепоезда. Тот снова скрывается за поворотом. Вместе с ним отходит и цепь белых. В ту же минуту поднимаются все наши цепи. Они стреляют, кричат «ура!», бегут вперед.

— Держись, ребята! — кричу я. — Сейчас здесь будут белые!

Сорвав шапку, скинув рукавицы, расстегнув френч, Эйнис первым занимает место. Рядом с ним Алберт, Жорж, я и остальные. Ждать недолго. Идут. Идут, как попало, врассыпную. Шум и треск по всему лесу. На нас выходят человек двадцать.

— А ну! — кричит Лицис и первым бросает гранату. За ней разрывается вторая, третья, десятая. Враги бегут. Куда там — от гранат не убежишь. Раненные осколками падают после каждого нового взрыва и корчатся на земле.

— А ну! — Мы вскакиваем и, стреляя из маузеров, бросаемся на другой отряд белых.

На бегу срывая с себя шинели, скидывая с плеч вещевые мешки, они скрываются в еловой чаще. И там же, в еловой чаще, нас атакуют свои...

— Ни с места! — орут они, оцетиня штыки.

— Свои! — кричим мы, отбиваясь от самых ретивых. Подбегает один из командиров.

— Кто вы?!

— Из штаба армии, разведчики, были в глубоком тылу противника.

По лесной тропинке скачет один из наших старших командиров с небольшой группой сопровождающих лиц. Мы спешим к нему:

— Вибурский мост взорван, бронепоезд будет нашим, только поднажмите еще!

— Отлично! — восклицает он и мчится дальше. Впереди него — неудержимая лавина красных.

Мы садимся на краю тропинки. Можно передохнуть.

— Ишь, черт, как есть захотелось, — говорит Эйнис, роясь в вещевом мешке.



## СОЖГЛИ ЧЕЛОВЕКА

Он пал 29 июня 1920 года у хутора Страды под Яунгулбене в белой Латвии. В тот же самый день была заживо сожжена Алма Вейсман. Луцию Упит и ее брата увели в Лубаны. Ночью их убили. Куда белые девали их изуродованные трупы, не знаю. Судили только Милду Вейсман, Волдиса и старика Вейсмана. Военный трибунал приговорил их к смертной казни. Их расстреляли 27 июля в Мариенхаузе. Белым не удалось вырвать у них ни единого слова признания. Они приняли смерть не дрогнув, как настоящие сыны и дочери своего класса, класса бедняков... Вы спросите меня про «Портного» — партизана Бобулиса, сына Фрициса Арвида? Нет, не знаю, какая судьба постигла его. То ли его сожгли вместе с Алмой Вейсман, то ли увели в Мариенхауз, — не знаю. И никто больше не знает этого. Белые зверствовали, как настоящие варвары...

Это было написано в моем донесении начальнику штаба красных партизан Шпонису — «Улдису». Перепечатывая пятнадцать лет спустя эти строчки, я снова вижу перед собой его — Генриха Августовича Оша. Тут же и его фотография: вьющиеся волосы, лицо дышит спокойствием, ясный взор. Друг моего детства и боевой товарищ. Ничто и никогда не было ему не по силам. Поэтому Улдис и любил его так горячо. Сфотографировался он за несколько недель до смерти.

Я беру карточки Милды, Волдиса, Арвида и других. Рука немного дрожит, но слез нет, так же как и тогда, когда я смотрел на охваченный пламенем дом и ветер доносил запах горелого мяса...

Я не плачу. Я не смею плакать. Они умирали без слез. Я гляжу на их портреты, и память уносит меня

в далекое прошлое. Как живой стоит передо мной Генрих. Чудесный июньский день. Мы вдвоем шагаем по опушке Яунгулбенского леса. На плечах у нас карабины, в руках маузеры. Мы оба молоды и полны сил. Гулко стучат наши сердца. Мы знаем, за что мы боремся.

Генрих снял с головы фуражку.

— Жарко, — сказал он. — Может, в Страды зайдем?

— В Страды? Стоит ли? Сейчас — день, а белые следят за Страдами.

— Чего не знаю, того не знаю, а вот поели бы мы там на славу и встретили бы Арвида.

— Арвида? — усмехнулся я. — Тебе не Арвида надо повидать, а... — И, взяв Генриха за плечо, я показал на батрацкий домик у леса — там по двору как раз шла Алма Вейсма. Алме тоже всего двадцать два года, она красива, и в смелости ей не откажешь.

Генрих тоже засмеялся. Он хохотал весело, от души. Смех у него был звонкий, и в ясный июньский денек эхом катился по лесу.

— Признаешься? — припер я его к стенке. — Пошли!

Наблюдая за батрацким домиком и видневшимися за ним домами лесника Лиепиня и Зосара, мы медленно пробирались по кустарнику. Ничего подозрительного незаметно. Мы уже напротив дома, но останавливаться не стали. Мы пересекли небольшую лужайку, перепрыгнули через широкий ров, разделявший яунгулбенские и лубанские земли, и дальше пошли вдоль опушки, в обход, почти до Лиепиня и Зосара.

— Ну, видишь, никто и не следит, — опуская маузер, торжествуя произнес Генрих.

— Верно, — согласился я.

Мы снова пришли к тому месту напротив дома и пригнулись, чтобы нас нельзя было заметить ни от Лиепиня, ни от Зосара. По картофельному полю мы крались к Страдам.

Около дома стояла Алма, она уже заметила нас. Генрих кинулся к ней чуть ли не бегом. Я же пошел стороной, мне как-то не по себе, когда они целуются.

— Здравствуй, Эрнис! — услышал я ее голос.

Я повернулся и зашагал к ним.

И вот в этот момент белогвардейский шпик, сидевший на высокой ели за домом Лиепиня, заметил нас.

— Здравствуй, Алма! — пожал я протянутую мне руку.

Я заглянул ей в глаза. Они голубые, и в них такая же ясность, как в глазах Генриха. Волосы у нее тоже немного вьются и такого же золотистого оттенка, как и у Генриха.

Алма провела нас в дом. По лесенке мы поднимаемся на чердак. Она лезет первой. Я вижу ее голые, стройные ноги, вижу ее крепкую, полнеющую фигуру. Я знаю, она готовится стать матерью... И разве мог я, глядя на нее тогда, подумать, что через несколько часов ее сожгут...

Из своего тайника выскочил и Бобулис. Он на костылях. Бобулис, как и мы, партизан. Только зимой он обморозил ноги и теперь живет в Страдах, пока не залечит язвы.

— Ну, вернутся красные или нет? — как всегда, спрашивает он.

Ему надоело жить без всякого занятия да прятаться то на чердаке, то в подвалах, и он готов, если красные не придут, ковылять к ним по лесам через линию фронта на своих гноящихся ногах.

— Придут, — сказали мы с Генрихом, — почему им не прийти, они должны прийти! Но только тогда, когда мы сами начнем тут погромохивать. Когда батраки Лиепиня, Эглита, Стала и других присоединятся к нам и потребуют оружия.

— Эх-х! — грустно вздохнул Бобулис и поплелся назад в свое убежище. Между стеной и печкой он устроил себе отличный тайник, которого не заметил бы и самый наметанный глаз.

— Так что, еще с недельку ждать придется, — высунув голову из своего логова, проговорил он.

— Как сверчок, — засмеялись мы. — Чего сразу прячешься? Неужто так белых боишься?

— Чего там бояться, только вот Лиепиневы парни шныряют тут повсюду. Как бы не наскочили.

Алма принесла хлеба, масла и молока. Мы набивали животы до отказа — кто знает, когда придется еще раз поесть. Не всюду нас так принимали.

Из леса вернулись с работы Волдис и Милда Вейсман. У Волдиса на плече пила, у жены топор в руке. Они лесорубы. Очевидно, Алма уже успела сказать им про нас.

— Где вы так долго пропадали? — спросил Волдис. — Уже давно вас поджидаем.

Милда поцеловала Генриха — он жених ее золовки. Они помылись и подсели к нам. Снова посыпались вопросы.

— Когда насовсем-то придете?

— Пока еще нет, — сказали мы. — Еще не так скоро.

Валдис задумчиво глядел на лесную опушку.

«Сколько ему лет? — подумалось мне. — Около двадцати пяти? Не больше».

Рука Милды лежит на колене Волдиса. Он гладит ее. Милда молча улыбается. Ей тоже двадцать пять, но руки у нее потрескавшиеся, в смоле. С двадцати лет изо дня в день они держали пилу.

На груди у нее синий полевой цветок.

Я посмотрел на этот цветок. Потом поднял глаза. Наши взоры встретились.

— По дороге сорвала, так... — слегка зардевшись, сказала она, точно оправдываясь.

— Да полно тебе, я тоже люблю цветы, — выручил я ее. — Я сую голову в цветущий куст ивы и аж свищу от радости. Я даже венки умею плести, ей-богу.

Милда с Алмой засмеялись.

— Хороший ты парень, — сказали они.

Я кашлянул и стукнул Генриха по плечу. Потом повернулся к Бобулису. Он, высунув голову из тайника, слушал.

— Вылезай давай! — позвали мы его.

— Лиепиневы ребята шляются, как бы не наскочили, — сказал Бобулис и снова втянул голову в свое логово.

В стену постучали.

— Можно войти?

Во второй половине дома живут Упиты, тоже лесорубы. Мать с сыном Янисом и дочкой Луцией. Янису двадцать один год. Янис в солдатах у белых, сейчас в отпуске.

— Давайте, давайте, заходите!

Пришли Янис с Луцией. Луция, потупив глаза и теребя от смущения передник, осталась стоять у двери. Поздоровавшись с Янисом, я взял Луцию за руку и усадил к столу. Постепенно разговор возобновился. Мы разболтались вовсю и не подозревали, что в это самое время от Яунгул-

бене, от Лубан уже торопились сюда цепи белых, чтобы сомкнуться кольцом вокруг Страдов.

Первым, кто заметил их разведчиков, был Генрих.

— Белые! — крикнул он и подскочил к окну.

В одно мгновение все мы были у окон. Мимо Зосарова сада со стороны Яунгулбене по большаку на линейке мчались трое белых солдат. По всему было видно — едут к домику лесорубов. Вот же до чего некстати! Будь мы на большаке или на лугу, ну хотя бы в десяти шагах от дома, тогда трое белых для нас с Генрихом суший пустяк. И сейчас они для нас пустяк, но за каждый выстрел, сделанный из дома, ответ держать придется Вейсманам и Упитам.

Да, чертовски нескладно!

— Бежим! — крикнул Генрих, распахнув окно, выходящее к лесу. — Пока белые войдут в дом, мы успеем спрятаться за хлевом, а оттуда — в лес.

Генрих выпрыгнул. Я хотел последовать его примеру, но в тот же миг, взглянув на ехавших, понял, что солдаты заметили Генриха: лошадь с ходу уперлась всеми четырьмя копытами в землю, и трое белых вскинули винтовки.

Я отскочил назад и залез в тайник к Бобулису.

— Может, еще обойдется без стрельбы, — шепнул я ему. — Может, Генрих заманит их в лес, но — держи оружие наготове!

У Бобулиса револьвер системы «Парабеллум». Я вижу, как он дослал патрон в ствол.

— И все-таки, сволочи, следили, — тоже шепотом проговорил он.

К тайнику подбежала Алма. Она сообщила:

— Генрих уже на опушке. Двое побежали за ним, третьего — не видеть.

Тишина. Слышно только тяжелое дыхание людей и торопливые шаги снаружи и в доме.

Генрих в лесу. Он обернулся и, увидев не меня, а белых, вскинул карабин. Белые проделали то же самое. В лесу загревели выстрелы. Один из белых скорчился. Второй, отстреливаясь, кинулся удирать к дому. Он побежал догонять солдата, выскочил на лужайку, и это было смертью для Оша. Третий белый, снайпер, залег в картофельном поле и прицелился. Один только выстрел — и Оша не стало...

Я услышал выстрелы и выскочил из убежища. Решающий момент миновал. Раз уже дошло до стрельбы — терять нечего! С карабином в руке я выбежал во двор. По картофельному полю, стреляя в сторону леса, мчались двое белых. Я поднял карабин. Алма схватила меня за руку.

— Не надо!

Белые бежали к дому Зосара. Я было снова вскинул карабин, но мне опять помешали выстрелить.

— Не надо! Отвечать придется нам.

— Теперь об этом говорить нечего! — крикнул я. — Собирайтесь сейчас же в лес со мной, не то вас теперь...

Я перевел взгляд на хутор Зосара и смолк. Через Зосаров сад бежали цепью белые.

— Все за мной!

И я медленно, оставаясь лицом к цепи, попятился за хлев, оттуда юркнул в канаву и по ней побежал к лесу. Но никто не последовал за мной.

— Ну почему они остались! — невольно вырвалось у меня. — Ведь белые их...

И замер от ужаса: на опушке лежал в окровавленном френче Генрих Ош. Я не видел, когда его убили. Я подбежал к нему, схватил его руку и не мог удержаться от рыдания. Но в тот же миг мой слух уловил в глубине леса топот, шум, треск... Я лег рядом с Ошем и выхватил гранаты. Я погибну рядом с ним, другом моего безрадостного детства, рядом с товарищем по битвам. Но многих из вас, сволочей, прихватчу я с собой!

— Ха-ха-ха!.. — злорадно расхохотался я. — Многих!..

Но тут же я взял себя в руки: кто доложит Улдису, кто организует партизан, кто станет продолжать борьбу, ведь у нас каждый человек... Я вскочил и бросился в кусты. По ним я добежал до рва, перескочил через него, пересек лужайку и, пробежав еще шагов двести, остановился. Отсюда до батрацкого домика было шагов пятьсот. Схоронившись за елями, я стал наблюдать.

К Страдам со стороны Зосара движется цепь. Из лесу, от Лубан, идет вторая цепь белых. Первые уже достигли Страдов. На дворе стоит Волдис. Солдат размахнулся и ударил Волдиса в грудь прикладом. Волдис стоит. Еще удар прикладом — теперь по голове. Волдис упал. С ребенком на руках к нему подбежала Милда. Она что-то

кричит, но мне не слышно слов. К хлеву бежит Янис Упит. Его догоняют белые, но вскинутая винтовка опускается — Упит в солдатской форме. Лейтенант, стоявший в дверях дома, что-то крикнул, солдат замахнулся и ударил Яниса прикладом по затылку. Цепляясь руками за стенку хлева, Янис упал. Его принялись избивать ногами. Схватившись руками за голову, неподалеку стоит его сестра Луция и надрывно кричит. К ней подбежал солдат, схватил за косу и швырнул наземь. Потом подтащил ее к брату и бросил на него. Луция смолкла. К дому бегом приближалась вторая цепь. В ней — двадцать человек. Не задерживаясь на дворе, они сразу ворвались в дом. По-видимому, там завязалась схватка. Звонят выбитые стекла, слышна брань, рванула граната... Дверь распахнулась, и по лесенке сбегала Алма. Следом за ней — лейтенант. Он ухватил ее за косу и швырнул себе под ноги. На помощь офицеру бросились несколько человек. Было видно, как они связали Алме руки и ноги. В этот момент из дома выскочили остальные солдаты, волочившие что-то за собой. И тут же из окон дома повалили черные клубы дыма...

На минуту все стихло. Затем раздался громкий голос лейтенанта. На чистом латышском языке он приказал:

— В огонь ее!

Четверо солдат подхватили Алму и, высоко подняв, бросили в окно горящего дома.

Я схватился за голову и упал на колени.

— Алма!

Но она — видимо, ей удалось перерезать или пережечь веревку — снова появилась в дверях. Платье и волосы на ней горели. Пытаясь погасить огонь, она кричала:

— Убийцы! Думаете никто не узнает, как вы тут зверствуете! Весь мир будет знать об этом... Весь...

Договорить ей не удалось. Четверо солдат опять сгребли ее и, раскачав, бросили в огонь. Наверно, от порыва ветра высоко в небо взметнулся большой язык пламени и вместе с ним стоны и крики Алмы.

— Будьте прокляты вы и ваши... — донеслись до меня последние слова.

И вдруг снова тишина. Из окна вырывался черный столб дыма. Горел человек. Горела женщина-мать. Лесоруб Алма Вейсман, чьи руки были натружены и мозолисты.

За что? За что?

Ветер нес к лесу запах горелого мяса. Я почувствовал, как кровь отхлынула от моего лица, и злоба обуяла меня. Я встал. Я стиснул в руках карабин и шагнул вперед.

— Смерть вам!

Но сделав шаг, я остановился. Один против пятидесяти! Это самоубийство. Имею ли я право на него? Они застрелят меня, даже не подпустив близко к дому. Голова моя упала на грудь. И сам я опустился на землю. Против моей воли слезы застлали глаза, и сердце больно сжалось от горя. Я беззвучно рыдал... Но закаленная воля и сознание бойца взяли верх над чувствами, и я поднялся. Я — солдат революции. Я вскинул на плечо карабин, проверил гранаты и пустился в путь.

Надо мной зеленый шатер леса и лучи заходящего солнца.



## ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ

Этот поход в тыл врага был шестнадцатым по счету. От остальных он отличался тем, что на сей раз нам предстояло пробыть на вражеской земле несколько месяцев. Ни винтовок, ни гранат брать с собой мы не могли, и единственным нашим оружием были спрятанные в карманах револьверы. Кроме того, идти предстояло не лесами и болотами, а торными дорогами, заходить в города. Надо было завести связи в штабах, так как нам было приказано освободить из Вадгровской крепости разведчика Лициса, поймать предавшего его провокатора Бранта, поставить на его место нового разведчика. Все это требовало времени и сил. Я не могу поручиться за точность даты — то ли это было 16-го, то ли 17 октября, помню лишь, что была суббота. Вижу как сейчас: рядом со мной ползет Зиедынь, впереди — Эйнис. Тогда они еще были живы. Эйниса ранили в Логовских болотах, и он скончался на хуторе Целмини, Зиедынь пал в бою у Пурвайне, но все это произошло позднее.

На этот раз мы двигались без помехи. Еще с вечера мы заметили, где противник расставил дозоры, и в одиннадцать ночи тронулись в путь. Черные тучи висели до самой земли. Бушевал осенний ветер, тяжелые, словно град, капли дождя громко хлюпались в реку Уравейку. Но для нас непогода была как раз кстати. Никем не замеченные, мы перешли вброд Уравейку и преспокойно двинулись дальше. В этом месте мы переходили линию фронта уже второй или третий раз. Преодолев проволочные заграждения, мы вскоре оказались на узкой тропинке, которая через рощи и луга вела в лесную деревеньку Нелюда.

Глухо шумел ольшаник, свистел ветер в голых осинах, вовсю поливал дождь — в общем, погода как нельзя

лучше: ненастная осенняя ночь надежно прятала нас, заглушала наши торопливые шаги, давала передышку вечно натянутым, возбужденным нервам. Недаром мы, разведчики, говорим: «Хорошо, когда ночь и день позади и снова ночь».

По тропе навстречу нам шел неприятельский дозор. Шлепанье шагов, громкий шорох плащей и неосторожное обращение с электрическим фонариком заблаговременно предупредили нас. Мы отступили в сторону и, ничем не выдав себя, пропустили дозор мимо.

В окне одной из нелюдовских халуп трепетал огонек. Он послужил нам хорошим ориентиром, чтобы обойти древнюю стороной...

Быть может, он был как раз в этом доме, возможно, ему удалось ненадолго оторваться от своих трудных служебных обязанностей и поразвлечься у зазнобы — в субботние вечера унтер-офицеры любят удрать с передовой и пошляться в тылу. А может, это сама смерть погнала его навстречу нам из деревни; но мы даже не успели отскочить с тропы, как он натолкнулся на нас. Несмотря на холод осенней ночи, он был в одном френче. И, возможно, из-за того, что он был без шинели, он так бесшумно и неожиданно возник перед нами из темноты. Он первый крикнул нам:

— Сержант охраны! Куда следуете?!

Я знал, что, заметь он у нас на плечах винтовки, он не стал бы нас задерживать. Но на этот раз винтовок при нас не было, и в этом была его гибель. Он наставил оружие на Эйниса, и мы сделали свое дело.

Сержанта мы оттащили в кусты.

Над полями по-прежнему мчались облака. Тихо подпевали на ветру составленные стожары. Мы продолжали свой путь.

Сколько угодно может злиться непогода — это ровно ничего не значит, потому что источник ощущения радости и покоя заложен внутри самого человека. Мы шли по старой, заросшей просеке. Со всех сторон нас обступал дремучий лес и непроглядная темень. Глухо шумели намокшие мелнупские сосны... Будто огромные птицы, расправляющие свои крылья, над нами протягивались черные еловые ветви. Дождь, точно ледяная крупа, больно хлестал нас по лицам. Одежда намокла, отяжелела, но у нас было на редкость радужное настроение. Первая часть задания

была выполнена, мы благополучно перешли линию фронта, мы находились глубоко в тылу противника...

Если буря и дождь приходят к ночи, то наверняка к утру жди перемены погоды. Мы приближались к притоку Мелнупе, когда начало светать. В лесу было еще темно, а над макушками деревьев уже просвечивала заря. Вместе с ней на запад уносились серые осенние тучки. Дождь перестал. Занималось серое осеннее утро. От Мелнупе подымались клубы тумана. Это не входило в наши расчеты. Встреча с командиром партизан Куртом была назначена на противоположном берегу притока при его впадении в Мелнупе. Теперь, идя по этой стороне, мы не видели другого берега. После ночного ливня речушка вздулась, и не везде перейдешь ее вброд — извиваясь и бурля, она мчалась к Мелнупе. Глядя с беспокойством на клокочущую воду, мы двигались по берегу. Утро вступало в свои права, светлело небо, уползали в глубь леса черные силуэты елей. Казалось, что с приходом дня тяжелые клубы тумана снова ложатся на речные воды, и в то же время местами уже начал проглядывать противоположный берег...

Встретить Курта надо было во что бы то ни стало. Он должен был передать нам вражеское обмундирование и удостоверения. Эйнис первым ступил в воду.

Ледяная ванна — полбеда, если сразу обогреться у огня. Перейдя речку, шагов через двести мы встретили Курта. Вместе с Заляйсом и Миетынем он поджидал нас в прибрежном ольшанике. У них был топор, и они даже успели шалаш поставить и развели костер. Вокруг стеной стоял лес; до ближайшего жилья было пять верст, и в этих местах редко можно было повстречать человека. Мы быстро разделись и разулись... Усталость брала свое; просушив одежду, умывшись, мы растянулись на мягком мху, а Миетынь пошел поразведать окрестности и заодно поглядеть, куда сносит дым от костра.

Нас разбудил Курт. В лесу смеркалось. Мы проспали целый день, и весь вечер ушел на подгонку нашей новой формы, на то, чтобы условиться о местах дальнейших встреч, на ознакомление с удостоверениями и бумагами, подготовленными для нас Куртом. На ночь глядя идти дальше не было смысла, и мы решили заночевать здесь. Уже лежа, Курт нам еще долго рассказывал про свою нелегальную жизнь, которую он вел с пятого по семнадцатый год. Он наставлял нас, как надо себя вести и поступать

в различных ситуациях. Его двенадцатилетняя подпольная деятельность была полна всевозможных приключений. Мы, безусловно, были сильны в лесу, но на открытом месте, в этих проклятых городах и селениях, нам просто не приходилось действовать. Мы ловили каждое слово Курта — ведь завтра предстоит идти и работать в новых для нас условиях! Его дельные советы дали нам много. Разговоры затянулись за полночь. Над лесом в глубине неба мерцали звезды. Тихо журчала речушка.

Из лесу мы вышли часов в семь. Осторожно лавируя среди грязных луж, чтобы не заляпать начищенные сапоги, мы шли к волостному правлению. Оно стоит верстах в двух-трех на пригорке в конце липовой аллеи.

Неподалеку от дороги крестьяне стлали лен. Они еще издали спешили приветствовать нас. Мы, как это здесь принято, небрежно вскинув два пальца к фуражке, отдали им честь. Только Зиедынь энергично помахал шляпой в ответ. На нем было штатское платье, он — депутат от социал-демократов.

— Господа, не дозволите ли спросить кой о чем?

Эйнис прищелкнул шпорами.

— В такую рань и уже в дороге... может, в нашей волости дела какие? Что на фронте слышать хорошенького? Не ожидаете наступления большевиков?

— Да нет, ничего. Мы здесь мимоходом, — поспешил я заверить их. — У нас тут к волостному есть дело...

Эйнис не любил пускаться в разговоры; ему не пристало беседовать с первым встречным: у него знаки отличия старшего лейтенанта.

Старик отошел и еще раз почтительно приветствовал нас.

Волостной старшина встал при нашем появлении. Он был до того любезен и вежлив, что даже не спрашивал у нас документов, пока не подъехала упряжка, — мы потребовали ее, чтобы ехать в Амуриенскую волость, — и лишь на прощанье нехотя, словно исполняя докучливую обязанность, заглянул в наши бумаги. Они оказались в полном порядке. «Технический отдел» Курта в глуши Мелнупского леса работал безукоризненно. Бумаги у нас были что надо...

Эйнис — старший лейтенант разведотдела штаба Калнынь, я — помощник, лейтенант Озолинь, а Зиедынь — социал-демократический депутат Вентынь, наш знакомый,

которого мы встретили по пути и теперь едем вместе. Все это подтверждалось удостоверениями, скрепленными печатями.

Дальнейшее зависело лишь от нашего поведения.

— Понимаете ли, я должен в книге отметить, кому нарядил подводу, — словно извиняясь за бестактность, пробормотал волостной старшина.

— А вы, господин, из тайной полиции будете? — отмечая в книге, поинтересовался он у Зиедыня.

— Нет-нет, что вы, — памятуя советы Курта, бойко, как по нотам, заговорил Зиедынь. — Я шпик охранки? Да бог с вами! Совсем наоборот: я социал-демократ Вентынь.

Старшина взял удостоверение Зиедыня. Один глаз он скосил на документ, а другим, с ухмылкой, вопрошающе посмотрел на нас. Дескать, за версту таких чую, меня не проведешь! Только что мне до того? Была бы бумажка.

Мы и глазом не моргнули, — нас это не касается... Старшина еще раз посмотрел, потом сердито размахнулся пером и вывел крупными буквами:

«3) социал-демократ Вентынь».

Когда мы усаживались на телегу, старшина, как бы извиняясь за свое любопытство, а может, уверовав в то, что Зиедынь действительно «социал-демократ Вентынь» и случайный попутчик «офицеров разведотдела», счел своим долгом похвастаться, что, мол, и в его волости есть три социал-демократа и что один из них на предвыборном собрании выступал с речью, да только ребята... (Мы с Эйнисом толком не разобрали, что там произошло.) Но он, мол, как блюститель законности не допустил до худа.

Отъехав подальше, мы спросили Зиедыня, что «ребята» хотели учинить с тем агитатором...

Зиедынь недовольно отмахнулся от нас.

Амуриенский старшина тоже принял Зиедыня за тайного агента, был чрезвычайно предупредителен по отношению к нему и любезен, но когда Зиедынь предъявил свою депутатскую карточку социал-демократа Вентыня, то даже расстроился, однако потом повеселел. Он лукаво подмигнул Зиедыню, фамильярно похлопал его по плечу и воскликнул: «Молодец!»

Это не входило в наши планы. Если Курту, старому подпольщику мирного времени, документы социал-демократа для передвижения по территории противника казались наиболее подходящими, то мы, военные разведчики,

считали их весьма сомнительными и даже непригодными. Быть может, Курт был прав, когда говорил, что кто-то хлопает Зиедыня по плечу, а в другой раз и трепку зададут, но он ручался за то, что нигде Зиедыня не продержат под арестом дольше двух дней. Зато, мол, у социал-демократов большие права, не меньшие, чем у царских шутов.

Так или иначе, но Зиедынь впредь не желал корчить из себя шута ни одного дня. По этому случаю мы незамедлительно и единодушно решили, что в дальнейшем Зиедынь будет именоваться тайным агентом главного полицейского управления Галдынем. Незаполненный бланк главного полицейского управления у нас имелся, и было вполне оправданно, что вместе с офицерами разведотдела разъезжает агент охраны, так как лейтенантам не к лицу во все совать свой нос, а тайный агент пролезет куда угодно и разнюхает все, что надо...

Близился вечер. Громыхая и раскачиваясь, медленно катился наш рыдван по разбитому проселку. Кое-где, закончив последние работы в поле, спешили по домам крестьяне. Навстречу нам проехало конное подразделение. Придержав коней, кавалеристы отдали нам честь.

Потянуло вечерней свежестью. Я плотнее завернулся в свой дождевик. Все мысли были заняты завтрашним днем.

— Тут, господин офицер, кончается наша волость, — вдруг обратился ко мне возница, указывая на какой-то покосившийся столб у обочины. — Видите, вон уже хутор Озолини, это Видиенская волость. Мы не обязаны возить дальше своей волости, но Озолини тут близко, да вы ведь из разведштаба, может, господин родней приходится Озолиням?

— Да-да, родней, — выпалил я.

— Та-ак... Я-то сразу подумал, — оживился старикан, попыхивая трубкой, — сразу видать. Озолини далеко пошли. Сын ихний, как и вы, в офицерах, дочка нынешней весной замуж вышла. Говорят, важный чиновник женился на ней.

— Дочь замуж вышла?

Я успел взять себя в руки, однако сердце тоскливо сжалось. Эрна замужем!.. А я так спешил. Как я был счастлив и с каким трудом мне удалось скрыть свою радость еще там, в штабе, когда мне дали адрес Эрны Озолинь вместе с паролем, порекомендовав ее как надежного, нашего человека, смекалистую девушку! Эрна Озо-

лины! Та самая, с которой в 1916 году мы вместе работали в штабе инженера Медниса. И кто бы подумал, что бна, дочь крепкого хозяина, эта златокудрая «соотечественница», может оказаться в наших рядах! Еще вчера и позавчера, когда продирались сквозь Мелнупские леса, я не раз задумывался о ней. Какая она теперь, что скажет, узнает ли еще меня, как примет, как и в чем сможет помочь... Но, увы...

— Да-а, замужем старшая ихняя, Альма, — проговорил старик, словно почувствовав мое замешательство, — а которая помоложе — та у них с причудами...

Я поглядел на старика: чего он там мелет?

— Разве мало кавалеров ездит, парни что дубки — как на подбор, а она...

— А она?..

Я чуть не вскрикнул от радости. Я теперь вспомнил и удивился, как это мог забыть о том, что у Эрны есть сестра.

— А она не идет, отказывает всем подряд, говорит, молода еще, — охотно выкладывал старик.

— А она — чудная. — У меня сразу отлегло на душе, и я несколько раз повторил про себя: «А она — чудная...» Да-а, именно такой она и была: гордая, порой даже слишком упрямая, самолюбивая. Почти целое лето дразнила она меня. Подзадоривала, а сама кокетничала с долговязым техником. Хватил я от нее горечи тогда... Лишь к осени сменила она гнев на милость, перестала меня водить за нос, да и то на каких-нибудь две недели. Потом снова стала холодная и неприступная, как скала. Чудная...

— Эрнис, заснул, что ли? — окликнул меня Эйнис.

— Старые воспоминания! — голос мой, наверное, звенел от радости.

— Видать, господа — близкие друзья? — подтянув вожжи, любопытствовал наш возчик, пуская лошадь во весь опор по аллее Озолиней.

— Лейтенант Озолинь, старший лейтенант Калнынь, агент тайной полиции Галдынь, — подавая руку, представились мы Озолиню и его жене.

Он предложил нам сесть у стола в обширной гостиной.

— Чем могу служить, что вам угодно? — чинно подсаживаясь к нам, поинтересовался Озолинь.

— Что угодно?! — входя в роль тайного агента (хотя по уговору он должен был вступать в нее только на следу-

ющий день), переспросил и, не дожидаясь ответа, продолжал Зиедынь: — Нам угодно знать, где тут у вас явка красных и кто из вас — вы, ваша жена или ваша дочь заправляют этим делом...

Я взглянул на Озолиней. На их лицах отразилась нескрываемая тревога и беспокойство...

— Говорите, говорите, не стесняйтесь! Главное — чтобы вы признались, а там все пойдет как по-писаному, — добивал перепуганных хозяев Зиедынь.

Вдруг соседняя дверь распахнулась:

— Что тут за допрос?!

Я вскочил со стула.

В двери стояла Эрна. Почему она не узнает меня? Неужели я так изменился? Видимо, да. Зато она была все такой же, только стала более женственной, в ней появилась какая-то упругость и гибкость, которой я не замечал раньше. Весну и лето она работала вместе с отцом в поле. Это было сразу заметно: лицо и голые до локтя руки покрывал загар, движения были уверенными и энергичными.

— Допросом не обойдемся, если не признаетесь. Тут пахнет обыском и арестом! — Все больше входя в роль, Зиедынь перенес огонь на Эрну.

Меня удивила невозмутимость ее взгляда, в котором сквозило только величайшее недоумение.

— У нас имеются неопровержимые доказательства. Один красный, который был у вас, вчера взят нами и во всем признался, — продолжал издеваться Зиедынь.

Скрытая, заметная, может быть, только зоркому глазу разведчиков тревога промелькнула в ее взоре. Она сделала еще один шаг вперед. Эйнис дотронулся до меня. Я понял. Меня тоже охватила жалость к ней. Однако это было необходимо. Нам нередко приходилось подвергать наших связных таким испытаниям — пусть закаляются на случай, если когда-нибудь действительно нагрянут сыщики. Пусть учатся находить нужные ответы, держаться так, чтобы не выдать себя. На сей раз было достаточно. Я подошел к Эрне и произнес пароль:

— Видали белую собаку, Курта?

Это было совсем уж неожиданно. Она покраснела, слегка пошатнулась, и я почувствовал, что в этот миг она узнала меня.

Схватив меня за руки, она, едва шевеля губами, ответила:



— Нет, барин сегодня болен.

Забыв об осторожности, остальные тут же сбросили с себя маски. Мать Эрны, ошалев от радости, твердила, точно опасалась, что ей не поверят:

— Нет, барин болен, барин болен...

Теперь уже я взял руки Эрны в свои: тонкие пальцы ее чуть-чуть дрожали. Забыв об Эйнисе, который довольным, но не без ехидства взглядом наблюдал за нами, забыв о Зиедыне, о стариках и о том, что я разведчик, я наклонился и поцеловал эти маленькие пальчики. Эрна зарделась еще ярче. Теперь я видел, что она меня узнала, быть может, вспомнила летний вечер (после того, как долговязый техник вызвал меня на дуэль), когда я впервые пришел к ней. Быть может, вспомнила дождливое осеннее утро, когда я возвращался на позиции, а она по своей гордости и упрямству даже не пришла попрощаться и втихомолку плакала у окна. Быть может...

Громко звякнули шпоры Эйниса и мои. Я чувствовал себя безмерно счастливым. Я был готов на любое безрассудство. Потом Эйнис, правда, говорил, что весь мой вид свидетельствовал об обратном — до того он был идиотским. Каналья Эйнис... Впрочем, мир праху его, он был настоящий разведчик...

Через час в Озолиях началось торжество. Чтобы не было кривотолков и все знали, что за гости приехали к Озолиям, Эрна мигом обежала и пригласила подруг, знакомых парней, кое-кого из соседей — отцов семейств. Озолинь выставил бочонок пива. Мать собрала на скорую руку угощение: сыр, масло, пироги. У деревенского человека так уж повелось — работать так работать, а подошло время — можно и закусить как следует и выпить. Вскоре разогретые пивом парочки принялись кружиться, запиликала скрипка, кто-то вовсю притопывал.

Эйнис, позвякивая шпорами, танцевал вполне галантно, как и приличествует старшему лейтенанту. По части разговоров я тоже был за него спокоен. Когда кто-нибудь становился слишком навязчив в расспросах, Эйнис умел мягко осадить собеседника и переменить тему...

Зиедынь по большей части сидел за столом. Теперь уже и я сам не мог сказать с уверенностью, кто он: разведчик Зиедынь или тайный полицейский агент Галдынь. За эти несколько часов он даже научился как-то отталкивающе кривить рот. Чувствовалось, что для затуманенных

взоров местных папаш Зиедынь успел превратиться в сказочного богатыря Индулиса. Однако Зиедыню всего этого было еще недостаточно, он не унимался.

— В охранке я правая рука, — хвастал Зиедынь, хлопывая по плечу стариков. Впечатление он производил такое, будто и в самом деле хватил лишнего. Папаши, наваясь животами на стол и тыкаясь друг в друга бородами, перешептывались: «Этот далеко пойдет...»

Нам с Эрной удалось незаметно улизнуть в боковую комнату. Она была весела и счастлива и тараторила без умолку — столько у нее накопилось всего, о столько хотелось узнать. Уже разошлись последние гости, а мы все еще сидели вдвоем и ворковали. И не раз ее ласковые руки обвивались вокруг моей шеи...

Жизнь разведчиков полна риска, полна бурь и превратностей, но зато разведчики знают, что такое жизнь, они умеют брать от нее сполна! Жизнь разведчиков — чудесная жизнь...

Наутро старик Озолинь самолично заложил пароконную бричку и повез нас на станцию Видиена. Он распустил слух о том, что дочь едет с господами офицерами навестить родственников в Вадгривской крепости. Впрочем, это соответствовало действительности. Эрна ехала вместе с нами к своему брату, но только не в гости, а для того, чтобы завербовать его к нам. Радость не покидала нас — все шло наилучшим образом.

В штабе нам сказали, что у Эрны брат лейтенант, но о том, что он служит в Вадгривской крепости, мы даже и не помышляли. Хоть он всего-навсего артиллерийский офицер, однако и это большой плюс в операции по освобождению Лициса. Мы не сомневались, что он послушается сестры, а может быть, из него удастся еще и резидента сделать?! Это было бы совсем здорово! Тогда осталось бы поймать Бранта, и, считай, дело сделано. Домой можно было бы возвращаться с песнями...

Заморосил мелкий дождик. Эрна захватила с собой плащ. Я помог ей накинуть его на плечи, и она благодарно погладила мою руку. Эйнис взглянул на нас с лукавой ухмылкой.

— Молодость, — вздохнул он, — что поделаешь!

А ему самому-то было всего двадцать два...

В поезде мы все трое уселись в одном купе. С точки зрения конспирации это было неправильно, но мы были

боевыми разведчиками и любили чувствовать плечо друг друга, привыкли полагаться не столько на хитрость, сколько на свою силу и оружие...

Эрна всю кокетничала с нами, беззаботно и весело щебетала — в общем, со стороны к нашей компании было не придраться.

До города доехали благополучно. У нас было несколько адресов надежных товарищей, у кого можно было остановиться, но мы направились прямо к сестре Эрны. Ничего, что муж Альмы чиновник. Правда, вечером мы очень скоро убедились в том, что нет смысла перетягивать его на нашу сторону. Может, он и вполне порядочный человек, может, в душе, и за нас, но он явно был трус. Мне даже стало жалко Альму — как она могла выйти за такого тюфяка? О чем могли мы с ним говорить после того, как он заявил: «Не пойму: ну чего теперь-то народ из кожи лезет? Все мы дети одной нации; раньше нас угнетали и притесняли, мы все, как один, в девятьсот пятом требовали свободы и братства, я и сам, помню, шел с красным флагом, но теперь-то чего ради?..»

— Ну и идиот же он, — шепнул мне Эйнис.

Когда Альма с Адольфом, так звали ее мужа, ушли за съестными припасами, мы вчетвером на скорую руку обсудили положение и разработали план действий на дальнейшее. Во-первых, не говорить Альме и Адольфу ни слова, оставаться для них агентами разведотдела, как сказали спервоначала. Во-вторых, завтра же приступить к делу...

Пыхтя и отдуваясь, маленький пароходишко дотаскился до Вадгривской крепости. Вместе с нами на берег сошло довольно много народа. Дома подходили к самой крепости. Тут были и лавки, и магазины, и разные мелкие предприятия. При старом режиме Зиедынь сидел в этой крепости, но ему удалось бежать. Здесь ему был знаком каждый уголок. Он-то и взялся за осуществление нашего плана, который был весьма прост: передать Лицису записку с указанием, где находятся тайные ходы, или хотя бы один из них, которым в 1916 году удрал из тюрьмы Зиедынь. Правда, за такой долгий срок подкоп мог обвалиться, его могли обнаружить и замуровать. Однако попытка не пытка. Все остальные варианты пришлось отбросить — силой Лициса не освободить, не выйти ему из крепости даже в том случае, если бы нам удалось переслать документы и одежду. Подземный ход вел к глубокому крепост-

ному рву, наполненному водой, Лицису предстояло переплыть его.

Зиедынь с Эрной направились в крепость, последний раз сверкнули на солнце его золотые погоны. На сегодня Зиедынь и Эйнис обменялись одеждой. Мы с Эйнисом зашли в лавчонку, взяли фунт конфет и со скучающим видом подошли поближе к крепости. Осмотрели ров, любовались часовыми на крепостном валу, заметили, что во рву под водой просвечивает колючая проволока. Обстоятельство немаловажное, и о нем надо было предупредить Лициса, чтобы он не плыл в одежде.

Затем мы пошли к реке, рассмотрели место, где можно причалить на лодке в ту ночь, когда приедем встретить Лициса. Мы обшаривали берег, не боясь навлечь на себя подозрения — как-никак агенты разведки и имеем право совать нос куда угодно.

Дело шло к полудню. Эрна и Зиедынь не появлялись. Мы опять пошли к крепости. Часовые на валу сменились. В крепости раздалось несколько выстрелов. Что там происходит, черт возьми? Почему наши не идут? Мы еще раз зашли в лавку и купили себе по коробке папирос. День клонился к вечеру. Последние лучи солнца скользнули по крепостному валу и погрузились в море. Тревога наша росла. Последний пароход отчаливал в восемь, а было уже семь часов. Что делать?.. Мы опять пошли к валу, но тут, слава богу, показались наши. Идут, смеются, румяные, как жених с невестой. Прямо зло взяло!

— Лициса не встретили, но каждый день его и остальных заключенных водят на работу мимо квартиры брата. Завтра мы опять пойдем...

— Тсс! — едва успел цыкнуть я на Эрну. Какой-то сомнительный субъект, явно прислушиваясь, прохаживался мимо нас.

Эйнис шагнул вперед. Если этот тип сыщик, то Эйнис мог бы с ним, как с «коллегой», перекинуться парой слов.

Эйнис придерживался той точки зрения, что не важно, сколько есть свидетелей, лучше всего, если их нет совсем, покойник не проговорится... Вечерняя улица была тиха и пустынна. Подозрительный прохожий еще раз оглянулся и юркнул в переулок.

— Завтра пойдем опять, — уже спокойнее продолжала Эрна, — только надо придумать, как незаметно пе-

редать Лицису записку. Брат поможет, брат молодец, только вот Зиедынь... — Эрна обернулась к нему, — такой бессовестный! Брат вышел на минутку, так тот сразу за отмычку и вытащил из письменного стола какие-то артиллерийские планы! Зачем так? Ведь брат и сам отдаст! Он готов работать с нами!

Захлебываясь, свистел пароходик. Мы прибавили шаг.

На другой день мы с Эйнисом остались дома. Для того чтобы передать Лицису записку, наша помощь не требовалась — Эрна и Зиедынь отлично справятся с этим вдвоем. А вот когда Лицис... Впрочем, это еще впереди...

Эрна взяла записку и долго не знала, как ее спрятать понадежнее. Короткая церемония прощания. Когда Эрна и Зиедынь уехали, на часах было шесть.

Если изо дня в день человеку приходится жить под гнетом тревоги, беспокойства, опасности, он в конце концов привыкает.

Каждую ночь мы ездили встречать Лициса и каждую ночь, прождав без толку до рассвета, тащились обратно. Каждый день Эрна ходила к брату, и каждый день Лицис передавал записки, что нынешней ночью он совершит побег... Мы до того свыклись со всем этим, что когда нас однажды ночью задержал у реки охранник, то мы так накинулись и заорали на него, что он поспешно ретировался извиняясь за беспокойство.

Каждую ночь Лицис пускался в свой опасный путь, и каждую ночь что-нибудь с ним случалось. В первый раз он сунулся куда-то не туда и был рад, что живым вылез из подземелья. На следующую ночь не заснул часовой, и Лицис не мог прошмыгнуть мимо него. На третью — удалось юркнуть в нужную нору, но оказалось, что шагах в двадцати от отверстия ход обвалился. Лишь на шестой день он сообщил, что все подготовлено и сегодня ночью он пойдет.

Мы заняли свои места. Эйнис остался у лодки, я и Зиедынь притаились неподалеку от рва, точно напротив того места, где, насколько помнил Зиедынь, выход из подкопа.

Небо было пасмурным. Лениво плескалась черная вода, за нею, безмолвный и угрюмый, возвышался крепостной вал. Послышались и затихли глухие шаги часового. На башне пробило одиннадцать. В двенадцать смена караулов, Лицис должен был появиться в это время. В нетер-

нении мы подползли поближе к рву. Глаза сверлили густую темень ночи. Противоположный откос был едва виден, а разглядеть на нем человека и того труднее, — вот потому мы и прозевали Лициса, потому и всполошились, когда услышали осторожные всплески воды.

Мы выхватили оружие. И опять только тихие всплески, словно кто-то боролся в воде... Зиедынь стащил с себя сапоги, шинель. Сомнений быть не могло — Лицис топил часового...

Зиедынь скользнул в воду. Я держал наготове электрический фонарь. На валу опять раздались шаги часового. На башне пробило двенадцать. Плеск прекратился.

Это было уже слишком! Я не выдержал, нажал кнопку, и яркий луч метнулся через ров. К берегу плыли Зиедынь и Лицис. Я проклинал себя за необдуманный поступок. Ведь это все происходило не в лесу! Не включи я свет, не было бы никакой погони. Побег Лициса замечен не был. Единственной оплошностью с его стороны было то, что он, не предупредив нас, прихватил с собой еще одного заключенного. Плавать тот не умел и, не вняв совету Лициса, одежду не снял, запутался в колючей проволоке и утонул.

Мы бросились бегом к лодке. На валу раздались крики. В небо выстрелил прожектор. Ослепительный луч стремительно опустился и начал не спеша обшаривать окрестности. С морского побережья направили второй прожектор, и вот он уже нащупал нас. В тот же миг на валу раздался сухой треск выстрелов, над нашими головами просвистели первые пули.

Мы не останавливались. Ветер свистел в ушах. Пальба становилась все яростнее. К нам навстречу бежал Эйнис. Заметил нас, все понял и повернул обратно, к реке.

Едва успели мы вскочить в лодку, как на пустыре показались солдаты. Налегая что было мочи на весла, мы поплыли по течению к другому берегу.

В нас продолжали стрелять. Рядом с лодкой то и дело взлетали фонтанчики воды... Скорее добраться бы до излучины, до поросшего кустарником берега! Спрут-прожектор, казалось, не достанет нас там своими смертоносными щупальцами...

На реке появилась лодка с охранниками... Изнемогая и задыхаясь, мы врзались в берег... За прибрежными кустами на версту протянулся выгон, и только за ним начи-

нался сосновый бор... Сил не было, оставалась лишь инстинктивная жажда жить, не умереть, не сдаться, и только она, эта жажда, гнала нас через луг, к лесу. Ноги путались в сухой, жесткой осоке, в висках до боли стучало, сердце, казалось, вот-вот выпрыгнет из груди... До леса было уже рукой подать, когда над нами снова засвистели пули. Пот заливал нам глаза, одежда была вся залепана тиной, облипла мхом. Да-а, редко когда задавали нам такую гонку!

Проиграть в ней — значило проиграть жизни!

Вот он лес, уже темнеет впереди, такой близкий и такой недостижимый. Во рту собирается горькая, тягучая слюна, теплый ком в груди ходит то вверх, то вниз: еще минута — и кровь хлынет струей из горла, и тогда конец.

Эйнис на бегу оглянулся. Те тоже выдохлись и больше не гнались за нами, а залегли в траве и беспорядочно стреляли. Нас отделяло от них триста — четыреста шагов — расстояние немалое, но прожекторы все еще продолжали гладить наши спины. Их гнусные щупальца цеплялись за нас до тех пор, пока мы, вбежав в лес, не повалились без сил наземь. Нас всегда спасает слабость наших преследователей — им не хватает выдержки гнаться за нами до победного конца, они первыми выдыхаются и падают.

А теперь мы были в лесу, могли освежить в луже разгоряченные лица, обтереть хвоей сапоги и спокойно отправиться дальше. Мы пошли на восток, чтобы войти в город с другой стороны. О побеге наверняка уже было сообщено по телефону.

Через два дня мы встретились у одного товарища. Там нам сказали, что за предателем Брантом установлена надежная слежка, что известен каждый его шаг. Разделаться с ним можно в любую минуту, но мы должны будем взять с собой людей, которые проведут эту операцию.

На это мы ответили, что «изъять Бранта из обращения» сподручнее всего нам самим — главное то, что теперь Брант в наших руках. А нам так и так через несколько дней предстоит отсюда уйти.

После этого короткого совещания мы разошлись. Эйнис и я пошли с товарищем, Зиедынь с Эрной — в другую сторону. Эрна должна была еще повидаться с братом, договориться с ним о пароле, о явке — на тот случай, если Эрна не сможет приехать сама. Зиедыню предстояло пронаблюдать за отъездом Эрны, выяснить, не следят ли за

ней. С Эрной мы условились еще накануне, что она не станет нас ждать и поскорее вернется домой, а мы приедем в Озолини, когда расправимся с Брантом.

Товарищ показал нам квартиру Бранта. Лицис был с Брантом знаком. Наш провожатый отправился в соседний двор, там жил человек, который держал его в курсе жизни Бранта.

Трудно было сразу решить, как взять Бранта: то ли с наступлением темноты зайти к нему в дом, то ли подкараулить на улице. Все зависело и от расположения комнат, и от наличия других жильцов в квартире, и от того, в какое время он выходит из дому.

Но вот вернулся наш провожатый и внес ясность во все эти вопросы. Все складывалось как нельзя лучше: Брант уехал на несколько дней в деревню к родственникам. Товарищ даже вручил нам адрес: станция Корва, хутор Рейтеры. Стало быть, тридцать верст на поезде, шесть пешком. Лицис знал этот хутор — там он не раз встречался с Брантом.

На вокзал мы отправились порознь. До отхода поезда оставался еще час. Мы с Лицисом пошли коротать время в буфет. Сели за столик. Недалеко от нас за свободный стол сел Эйнис. Немного погодя за другим столом рядом с Эйнисом оказался какой-то важного вида хлыщ. Он жадно пил поданное ему пиво и вытирал вспотевшее лицо. Быть может, он бежал, боясь опоздать на поезд? Сомнительно — он ни разу не взглянул на часы. Его занимало другое. Вынув записную книжку, он что-то записывал в ней. Тип весьма занятой и подозрительный. Встретился бы такой на нашей стороне, мы бы его сразу взяли за шиворот. Лицис пошел к стойке за пивом и по пути скопил глаза на книжку. Тип не отреагировал на его приближение и спокойно продолжал писать.

После Лициса пошел я. Мне удалось прочитать то же, что и Лицису, — в записной книжке были чьи-то приметы: молод, около двадцати трех лет, светло-коричневое пальто...

— Так оно и есть! — подтолкнул я Лициса.

Светло-коричневое пальто было на Эйнисе. Мы его купили накануне для Лициса, но сегодня, чтобы Лициса было наверняка не узнать, посоветовали ему сбрить бороду и надеть офицерскую форму Эйниса. Часы показывали десять минут второго. Поезд отходил через пятнадцать ми-



нут. Эйнис направился к кассе. Немного выждав, поднялся и хлыщ...

Мы с Лицисом не стали брать билеты. Нам было достаточно того, что шпик тоже, как и Эйнис, купил билет до Корвы. Входя в вагон, мы успели шепнуть об этом Эйнису.

Шпик не торопился. Он стоял на перроне и не спускал глаз с нашего вагона...

Эйнису ничего не стоило уйти. На втором пути стоял саукский поезд. Эйнис преспокойно перешел на него, потом вышел из вагона с другой стороны, и вскоре мы все встретились снова на вокзале.

До Милинской волости мы наняли извозчика. Оттуда до Абавской, где находится хутор Рейтеры, решили взять подводу у волостного старшины. Это было проще всего.

Пролетка плавно покачивалась на рессорах. Миновали восьмой верстовой столб. Мы откинулись на мягкую спинку.

Над полями летел желтый осенний лист. Почти всю неделю без устали гнал его северо-восточный холодный ветер. Скоро ноябрь. Об этом напоминают и каждый куст, и давно убранные поля, и дыханье отходящей ко сну природы. Мы плотнее завернулись в свои английские шинели. На двенадцатой версте нас задержали у перекрестка, заранее принося извинения и предупреждая, что они, мол, «только исполняют долг службы». Они попросили нас предъявить удостоверения. Едва увидев черные книжечки, они тут же, даже не заглянув в них, возвратили — «все в порядке». Их было двое. Один был вооружен можжевеловой палкой, другой — двустволкой. Это были водостные айсарги.

Мы продолжали свой путь. Навстречу нам, поскрипывая, тащился тяжело нагруженный воз. Наш возница, гордясь своими важными седоками, и не подумал уступить дорогу. Встречный прянул к обочине и пропустил нас. В нос ударил противный запах подгнившего льна. На возу сидела семья: пожилой мужчина, его жена и тощий паренек лет двенадцати. Все трое — босые. Я подумал: «Как поздно они собрались лен стелить!» — и поторопился поднести пальцы к козырьку. Не тут-то было! Они даже не думали приветствовать нас, только угрюмо покосились исподлобья в нашу сторону. Их взоры горели затаенной ненавистью. Мы обернулись еще раз им вслед, поняли. Было радостно сознавать, что во взглядах рабочих людей пылает огонь ненависти к угнетателям...

От старикашки подводчика, которого нам дали в Абовской волости, удалось легко отделаться. Дорога была грязная и ухабистая. Лошаденка еле плелась. Кутаясь и вздыхая, старичок понукал свою лысуху. Верстах в двух от станции мы соскочили с повозки.

— Хватит, папаша, мучить конягу! Тут недалеко, мы пешком дойдем. Заворачивай обратно!

Когда подвода скрылась за перелеском, мы тоже пошли в лес, чтобы там дожидаться темноты. Рейтеры были отсюда верстах в двух. Хуторок стоял на отлете, у опушки густого ельника. Подводу мы брали до станции только для вида — следы запутать...

Зайти в Рейтеры к Бранту не представляло труда, даже если бы дверь оказалась заперта. Кому придет в голову не пустить в дом офицеров! Только по такому пустяшному поводу, как расстрел Бранта, нам не хотелось демаскировать себя — офицерская форма была надежной защитой. Еще ни разу не ловили разведчиков с офицерскими погонями. Мы решили действовать так: поскольку у Лициса больше всего есть оснований повидать Бранта, то он наденет Эйнисово пальто и зайдет вместе с Эйнисом в дом, Эйнис останется в одном пиджаке. В худшем случае Эйнис подойдет к двери первый и предъявит свое удостоверение полицейского агента.

Поля и перелески уже потонули в непроглядной ночной тьме, когда мы, затаив дыхание, подкрались к саду Рейтеров. С подветренной стороны, в густом ягоднике, мы бесшумно переоделись. В окнах горел свет, хлопали двери. Это было нам на руку. В несколько минут Эйнис был готов. Он пошел к дому. На ходу сорвав теперь не нужные шпоры, кинул их мне. За Эйнисом двинулся Лицис. Я оставался на дворе в дозоре. Заскрипел ворот колодца... Я сошел с дорожки и залег в траву. У колодца копошился человек. Откуда-то из темноты выскочил пес и злобно залаял... Человек обернулся, стал всматриваться в темноту. В этот момент донеслись «добрый вечер» и выстрел. Короткий, как щелчок бича.

Человек у колодца пошатнулся, скрючился и тяжело рухнул. Звякнули и покатались жестяные ведра, завывала собака...

Я вскочил на ноги и бросился к Эйнису и Лицису. Я ни о чем их не спрашивал: все было ясно. Я только кинул Эйнису шинель Лициса, и краем сада мы побежали

к лесу. В доме поднялся крик, суматоха, громко хлопнула стеклянная дверь веранды. Тьму один за другим прорезали два ярких луча, но было уже поздно — ночь скрыла все.

Следующий день мы отлеживались и отдыхали. Мазали мазью стертые ноги. От Рейтеров до города тридцать шесть верст. Мы покрыли их за девять часов: с восьми вечера до пяти утра. Еще не рассвело, когда мы приплелись к нашему городскому товарищу.

Под вечер пришел Зиедынь и сообщил, что брат Эрны согласился и что Эрна благополучно уехала. Зиедынь передал мне письмо. Эрна ждет.

Задание было выполнено, можно отправляться во свояси.

Рассыпая огненные искры, отдуваясь и выбрасывая густые клубы дыма, мчался видиенский поезд. Мы сидели в последнем вагоне. В окне одно за другим мелькали знакомые названия станций. Пассажиров оставалось все меньше и меньше. Это был ночной поезд...

Мы расселись по двое: Эйнис с Зиедынем в одном конце, мы с Лицисом в другом. Мы хорошо видели друг друга в полупустом вагоне. Мы и на вокзал так пришли — порознь. Предосторожность была не лишняя. Эйнис, проходя мимо нас, успел сказать, что видел на вокзале позавчерашнего типа. Правда, теперь Эйнис был одет иначе, однако случиться все могло, и потому всю дорогу мы были начеку.

До Видиены было уже недалеко, а пока все шло спокойно, ничего подозрительного не замечалось. Напротив нас сидел какой-то торговец с женой. Их маленькая дочка все время хныкала — ей хотелось спать. Мы посоветовали ее дородной мамаше уложить ребенка. Сказали и тотчас пожалели об этом. Дама, тряся золотыми цепочками и брошками, тут же принялась рассказывать, что ее дочку зовут Мирдзой, что она плохо спит и просто удивительно — как это у нее, такой здоровой женщины, и такой малокровный ребеночек!

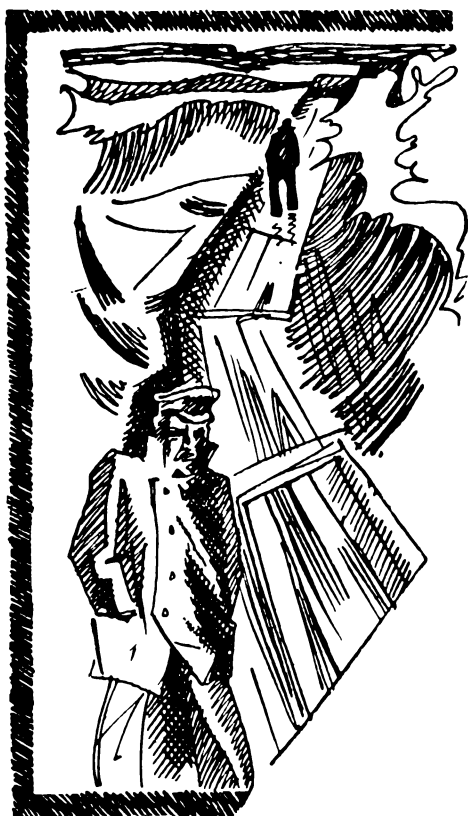
Вошли два запоздалых пассажира. Не зная, как спастись от словоохотливой дамы, мы с надеждой взглянули на них. Они сели неподалеку и закурили папиросы, но вскоре поднялись со скучающим видом и неторопливо двинулись обратно к выходу. Вагон был хорошо освещен, и свет от лампочки падал им прямо на лицо. Одного из них мы

узнали сразу: это же тот самый, что на вокзале в книжечку записывал! Непростительная глупость шпика состоит в том, что он никогда не допускает мысли, что, возможно, его уже давно распознали и он сам на примете у тех, за кем следит.

Лицис достал носовой платок и трижды отер лоб. Эйнис в другом конце вагона встал и сделал то же самое. Сигнал подан — сигнал принят. Мы углубились в чтение газет, держа за ними наготове маузеры.

— Моя Мирдзочка... — начала было дама, и мне так захотелось послать ее ко всем чертям, но времени на это не хватило. Открылась дверь, в нее просунулась фуражка полицейского, затем его одутловатая физиономия; за полицейским — напарник знакомого нам шпика. Теперь все было ясно. Шпик показал напарнику Эйниса. Они вошли и направились прямо к Эйнису с Зиедынем. Мы вскочили, но тут же отпрянули, подпустив врага почти на полвагона. Эйнис и Зиедынь открыли огонь. Полицейский упал, второй, как стрела из лука, рванулся назад. Пуля Эйниса настигла и его. Истошно визжа, сползла на пол дама с Мирдзочкой. Остальные пассажиры, обезумев от страха, полезли под скамьи. В этот момент распахнулась дверь и блеснули винтовочные дула. Теперь настал наш черед...

Я не знаю, застрелили мы кого-нибудь из них или, наоборот, остался ли хоть один из них жив, но дверь хлопнулась и тут же сама по себе распахнулась снова. Путь был свободен — наши маузеры надежно расчистили его. В два прыжка мы оказались на подножке вагона. Натужились мускулы, сжались, как пружины, наши тела, и стремительный поток ветра швырнул нас под откос... Поезд завизжал тормозами, загрохотали буфера. Но все это было уже ни к чему. Через несколько секунд мы были снова на ногах. Мы перелезли через насыпь. Ночная темень поглотила нас. Сквозь нее через поля и луга мы шли туда, где чернела стена дремучего Мелнупского леса. Родной наш, дорогой Мелнупский лес!





## СИНЯЯ ЛОШАДЬ

### 1

Эта история о человеческих мелочах в великую эпоху развернулась передо мной в одном провинциальном южном городишке. Около трех часов дня весь городишко пахнет жареной бараниной. Это он обедает: приправляет духмяное жаркое острым луком, пунцовыми помидорами и запивает бузой.

В городишке есть проспект Революции, там биржа труда, а на другом углу — газетный киоск. Вокруг киоска и биржи — безработные: сапожники из Орла, грузчики из Одессы, парикмахеры из Ростова, специалист по чурекам из Тифлиса и домработница с Итальянской улицы.

Чуть пониже, на Интернациональной площади, — комсомольский клуб, кинотеатр. Дальше — церкви. А еще ниже, у базарной площади, в подвальчиках:

- 1) механический ипподром с коварными деревянными лошадками и всадниками,
- 2) электролото с наэлектризованными игроками и
- 3) казино.

Вечером хорошо посидеть в осеннем городском саду.

Посреди сада — братские могилы, декорированные старыми полевыми пушками. Ограда, поставленная в голодные годы, уже разваливается. Вообще этот осенний сад напоминает гражданскую войну: на клумбах — трупы

цветов, а красные листья чинар падают, падают, пока кроны не поредеют, как роты, иссеченные пулеметами.

В тот вечер я засиделся в саду дольше обычного. Среди деревьев нашелся наш латвийский клен. Я слежу за падением каждого покрасневшего листка и пытаюсь представить себе: как «организован» листопад в «демократической» Латвии, где листья когда-то падали от батрацкой ненависти? Когда-то у нас там батрацким оборвышам запрещалось подбирать кленовые листья, пока хозяева не соберут самые большие. У меня на щеке посейчас горит хозяйская пощечина... Небось там теперь хозяевам нужны листья еще крупнее — ведь они, без сомнения, пекут караван куда крупнее прежних...

Вокруг меня носятся дети. Они уже наелись баранины, к тому же они не знают, что такое латышский хозяин, и весело, как весной, скачут по шуршащему кладбищу лета. Над цветочными клумбами склоняется дочка садовника. Тонкая, как астра, и рыжая, как падающие листья. Я вижу, как бережно она обрывает сухие семенники — для будущего лета, и радуюсь ее старомодной любви к цветам.

Пусть любит!

Внизу, у железной дороги, строятся новые дома для рабочих. В этих домах по-новому строится жизнь. И даже цветы любят в них по-новому.

Я подхожу к откосу и долго радуюсь корпусам домов — их впрямь можно сравнить с весной среди серых осенних деревьев.

Потом возвращаюсь под свой клен. На скамейке, точно ожидая меня, сидит незнакомый, но много раз виденный человек.

Вы не знали Васю Волошина? Наверно, не знали. Был у меня такой случайный знакомый Вася — во фронтовые времена, когда мы валялись рядом, тифозные и не тифозные, делили каждый кусок на три-четыре части, смотря по тому, сколько человек собралось и поняло друг друга, а потом захотел есть. Я-то ехал до Харькова, а Вася уже тогда метил на Севастополь. Он был матросом, и у него на руке синей тушью было изображено все матросское: огромная морская змея обвилась вокруг креста, якоря и сердца. Вокруг, значит, змея, посередине — «вера, надежда, любовь». Вася ходил по Балтийскому морю, где гер-

манских мин было больше, чем дохлой салаки. Потом дрался между Орлом и Харьковом с деникинскими офицерами. Там он и потерял свою матросскую бескозырку с бушлатом. А проще сказать, у убитых офицеров было больно хорошее обмундирование, главное — штаны и еще главнее — сапоги.

Так вот, рядом со мной сидел незнакомый, но много раз виденный человек как раз в таких — синевато-офицерских, сильно повиытершихся штанах. И сапоги у него были высокие, как тогда у Васи, только заплатки очень смешные. А заглянув ему в лицо, я чуть-чуть не протянул руку — Васе Волошину.

— Вася, друг, я еще помню твои белые булки и сало!..

Нос был Васин вне всякого сомнения.

Но когда незнакомец заговорил, я понял: это не Вася. Кто знает, где мой друг Вася? Может, в каком-нибудь еще более чахлом осеннем саду есть братская могила... Тон у незнакомца был сочувственный, да вы и сами посочувствовали бы ему из-за этих сапог, из-за этого городишка, из-за осени. Не глядя на меня, будто во мне-то и был корень зла, он сказал:

— Что, домам радуетесь, товарищ? Дома — дело хорошее. По-моему, лучших домов тут и не требуется. А вот я, понимаете, не могу радоваться им...

Станный тип! Не может радоваться? Такой тип Васе Волошину даже в братья не годится. Я уж собирался окинуть его офицерские штаны и крестьянский френч подозрительным взглядом и подумать: «Бывший врангелевец... Мало ли таких, они не только домам для рабочих не радуются!» Вместо этого я посмотрел с сочувствием на его сапоги. И спросил с тем же сочувствием:

— Вы, стало быть, против домов? А Васю Волошина вы не знали?

— Васю? Нет... Синяя лошадь — вот в чем сила! Опять она меня сегодня обманет...

С неделю назад в саду местные хулиганы изнасиловали, а потом повесили на чинаре конторщицу с железной дороги Танееву. Но незнакомец не был похож на преступника. Да и вряд ли ему стоило таковым становиться — что с меня возьмешь-то?

Листья падали все шумнее. Внизу, у железнодорож-



ных путей, зажглись желтые фонари — тоже своего рода осенние листья, а я стал слушать рассказ незнакомца об удивительной и роковой синей лошади.

## 2

Нет, Васю Волошина, который ездил на юг за солью еще до разгрома Врангеля, Васю, которого многие встречали после того с огромным маузером на боку (он работал уже в особом отделе), моего Васю этот человек не знал.

Он в то время воевал у Буденного.

— Какой-то там Бабелев написал книжку про конармию. В нашем эскадроне такого не было. Откуда ж он мог знать, как мы воевали? Эх, товарищ!..

И незнакомец не удержался, чтобы не придавить костлявой ладонью мое колено, хотя оно и не было ни коленом польского пана, ни каким-либо иным предметом, способным растревожить душу старого буденновца.

Из его рассказа я узнал, что мой случайный собеседник не заводил легкомысленных шашней с женщинами в поместьях и местечках, завоеванных конармией. Нет, он не на шутку влюбился в пани Зигриду в старом помещичьем доме на пятидесятой версте за Бродами, где в саду росли искривленные яблони, напоминавшие панских слуг...

Это бывает. Эскадрон сражается за мировую революцию, эскадрону каждое искривленное дерево кажется угнетенным рабом; но вот, скача навстречу революции, эскадрон въезжает в яблоневый сад, и, пожалуйста, — у окна появляется девушка...

Рассказчик уверял, будто в одном киевском монастыре («выполняя боевой приказ») он видел дивной красоты монахинь и еще в сто раз прекраснее женщин на иконах, с младенцами и без младенцев. Но таких, как пани Зигрида...

— Видел бы ты такую красоту! — сказал он мне совершенно по-братски. — Тут сразу и про гусей во дворе забываешь, и про лошадей на конюшне, и про вино, замурованное в панских погребках, — конечно, искать-то его запрещалось, да оно все больше само попадалось под руку...

Я только повторяю слова рассказчика и на вашем месте не брался бы его судить.

Дальше его рассказ касался различных походов и их последствий, которых мой новый знакомый действительно не мог избежать. Он показался мне очень простодушным человеком, лишенным какой-либо утонченности. Без сомнения, он храбро дрался, когда приказывали драться с врагом. Но именно такой человек, охочий до перемен в жизни, часто уходит слишком далеко — просто даже от своих товарищей.

— Ну и вот, прочел нам эскадронный командир боевой приказ, сжег конверт на костре и говорит: «Ночуем здесь. Утром выходим на соединение с третьим эскадронном. Пани не трогать. Я сам выясню, как она относится к нам и к мировой революции...» Эскадронный у нас был мужик хороший. Только волосатый весь и руки как у медведя. У меня руки тоже провоняли конским потом и порохом, а все же выглядели получше, чем его лапы. И моложе я был, чем сейчас. Правда, на молодость и на руки женщины смотрят всякая по-своему, это я уж после узнал, когда украинки прозвали меня «гусаром». Да... Ну, думаю, если уж командир пойдет выяснять, как пани относится к нашему эскадрону, он, конечно, узнает у нее заодно, как она относится и к его комсоставу... Ничего особенного не случилось. Лошади ходили стреноженные вокруг яблонь. Была точь-в-точь такая же осень, как сейчас. Лошади мирно обгладывали кору с яблонь и щипали рыжую траву. Эскадрон ел гусей, которых добровольно пожертвовал старый пан. Эскадрон жег костры и глядел на звезды, пока не оцепенел во сне, как груда камней.

Продолжая рассказ, мой знакомый сделал здесь небольшое примечание насчет лошадей. Или, как он выразился, насчет лошажества. Так буденновцы всегда говорили. И еще он сказал: синяя лошадь.

Да, у него была синеватая лошадь. Чуть ли не самая лучшая и понятливая лошадь в эскадроне. Никогда-то она, бывало, не вскинет голову не вовремя там, где ее может зацепить белогвардейская пуля. А скакала она — ну скакала уж точь-в-точь, как теперь эта, деревянная... Да вот — хоть ложись ей на спину, и все равно любой поезд обгонит....

Эскадрон спал. Даже часовые дремали, прислонив к яблоням винтовки, будто паны на всем свете давно уже скручены в бараний рог. Сабли лежали у ног, вытянувшись, как щенята. Лошади, засыпая, ржали — от темноты, от пороха и кровавых снов. А он стоял возле своего синего Запорожца — тот был привязан прямо против окон пани. Ласково гладил коня и бормотал, влюбленно глядя в окна...

Конечно, тут я ему не очень-то верю, так же, как, бывало, Васе Волошину; не очень-то я верю, чтоб синяя лошадь могла постичь пламенную любовь буденновца и сознательно сыграть такую огромную роль в судьбе этого человека.

«Запорожец, ты меня любишь, — бормотал он, — а я люблю пани...»

Он ждал, стоя под яблоней, пока эскадронный не поднялся по балконной лестнице и не появился в комнате пани.

Тут рассказчик приплел уйму ненужных подробностей, только портивших его литературное повествование, и это заставило меня нагнуться, чтобы поднять с дорожки рыжий лист. Разглядывая лист, я старался представить себе сад польского пана и пани с эскадронным в окне. И критически оценивал эти подробности в смысле их правдоподобия.

Нет, он не врал!

Вслед за эскадронным он взобрался на балкон и подошел к двери. Может быть, он когда-нибудь читал рыцарские любовные романы или слышал о них и, применив их к нашему времени, забыл свой боевой долг: не лгать и исполнять исключительно лишь боевые приказы. Может быть, тут виновато время с его раскованностью инстинктов, которые нередко спасают от вражеской пули, но зато могут довести до особого отдела, до трибунала, а то и дальше...

— Постучался я в дверь. «Товарищ командир, говорю, вестовой из корпуса прибыл, дежурный вас ищет!» А дежурный-то как раз находился в доме управляющего, на другом конце тополевой аллеи. Тополя стояли, как пехотинцы, при виде которых кавалерия всякий раз сбивается с ноги. Шпоры командира прозвякали по саду, а я вбежал к пани и зачем-то давай врать: пани, говорю, плохо тебе

будет. Едем! Проще, пани... Смотрю, укутала она плечи в черную шаль, повязала голову черным платком. Не сказала ни слова, только глянула так, будто спросила о чем-то. И успокоилась...

Эту скачку, товарищ, мне вовек не забыть. Куда мы скакали, почему я знаю? Ночью прифронтовые дороги все одинаковы. На перекрестках она тянула за повод, и мы сворачивали — дороги становились все уже. Два раза нас окликали по-русски и по-польски и, увидев, что мы не собираемся останавливаться, стреляли вдогонку. Пани тогда цеплялась за мою шею, я чувствовал ее горячие ладони, и шпоры, пьянея, сами вонзались в бока Запорожца. На третий раз нас окликнули наши. Я крикнул им: «Отвяжитесь, заложницу к коменданту везу!» Мы уже приближались к местечку — туда-то она и направляла Запорожца. Мы проскакали по темной окраине, где смердели еврейские лачуги и трехугольные синагоги. Мне это было на руку, потому что от них в свете звезд ложились на землю широкие тени и никто не увидел бы, что на улице скачет буденновец, а в седле перед ним — девушка. Наконец мы очутились у полуразрушенной каменной ограды. Мой Запорожец не хотел входить в поганые ворота. А пани хотела... Когда мы слезли, она поцеловала взмыленного коня, а потом поцеловала меня... Таким поцелуем!.. Эх, товарищ!..

Я не перебивал его вопросом о том, как боевая эпоха отнеслась к этому предательскому поцелую. И странный человек невозмутимо закончил рассказ:

— Нас встретил нищенского вида старый еврей. «Ой, пани, ой, пани! — сказал он. — Проще, пани...» Она дала старому еврею денег и только потом обернулась ко мне. Его, наверно, поразило то, что известную пани, на которую он, без сомнения, немало потрудился на своем веку, привез чужой человек не панского вида, в красноармейской форме. Что он, изголодавшийся старый еврей, понимал в любви...

Здесь я должен был согласиться с рассказчиком: так называемая любовь — это странная вещь. Будь его рассказ хоть на пятьдесят процентов выдумкой, я бы сказал еще, что она очень жалкая вещь. И добавил бы: плохо работали трибуналы в 1920 году. Но удивительный рассказ незнакомца под осенними звездами звучал так, что

мне хочется повторить его, не навязывая никаких выводов.

— Больше я никогда не видел пани... Она проводила меня в темный двор. Охватила опять за шею Запорожца, потом обняла меня. Я сказал: «Останемся здесь!» Но она отняла руки и сказала, совсем как эскадронный: «Тебе надо ехать обратно! Ты найдешь меня, когда вы вернетесь. Я тебя не забуду».

Я ехал обратно, и Запорожец сам находил дорогу. Я дергал поводья, чтобы он шел помедленнее, потому что каждый шаг отдалял меня от пани Зигриды. Но Запорожец слишком свыкся со своими боевыми товарищами и, точно стыдя меня, рвал из рук повод — наутро я увидел засохшую кровавую пену на его мягких губах.

Эскадрон встретил меня угрозами: «Это ты увез пани?» — спросил эскадронный. Я спокойно смотрел ему в глаза. У эскадронного было щекотливое положение — ему же нравилась пани. И потому я врал ему прямо в глаза: «Товарищ командир, да пусть хоть мой Запорожец подтвердит! Как только вы ушли к дежурному, пани сразу прыг в окошко, верхом на коня — и до свидания! Я, конечно, понял, тут дело нечисто. Отвязал Запорожца — и вдогонку! Уж у него-то, сами знаете, какой ход, а все равно вернулись мы, оба в пене, под утро, а следы пани так и не отыскались». — «Врешь! — сказал эскадронный. — Арестую за самовольную отлучку!» — «Слушаюсь, товарищ командир...» Но эскадронный осекся. И другие, которые собрались в комнате, тоже замолчали: окно-то в комнате пани и вправду оказалось отворено! Наши ребята, у кого лошади похуже, в ту ночь как раз занимались обменом, в панских конюшнях, — после оказалось, что там не хватает многих лошадей, — и эскадронный наутро писал расписки: «Деньги уплатить после окончательной победы мировой революции. Да здравствует пролетариат!»

Еще спросили у меня — зачем я наврал про вестового из корпуса? Да я же, говорю, видел — кто-то скакал оттуда, разве не мог, говорю, этот всадник подвести коня под окно пани? Судить меня не стали. Просто некогда было судить, на другой день эскадрон устремился дальше, на Варшаву. И больше никогда я не видел пани...

Когда мы отступали, я с несколькими товарищами, дав крюка, завернул в то самое местечко, где должна была находиться пани Зигрида. Мы истекали кровью в боях, мой Запорожец исхудал так, что ребра у него выперли, как лады гармошки, и старый еврей, которого я едва разыскал (при дневном свете местечко казалось еще безобразнее), долго не узнавал меня. «Пан товарищ; нету пани...» Чтобы он больше никогда не врал на своем веку, я со страшными угрозами вломился в лачугу, возле которой поцеловала меня пани.

Я не нашел пани. Она уехала. Куда? Этого старый еврей не смог бы сказать даже трибуналу. И по сегодня ее все нет... Вы меня простите, товарищ, за этот рассказ! Мой Запорожец пал в последней схватке с панами, и с того дня я все ищу синюю лошадь. Синяя лошадь найдет мне пани Зигриду! Только не смейтесь надо мной... Лошадь я уже нашел. Только она меня все обманывает. Вот оно и выходит — вы радуетесь новым домам, а я не могу радоваться...

Холодный осенний ветер дул прямо сверху, будто там померзли все звезды. А незнакомый, много раз виденный человек придвинулся ближе — ведь конец рассказа имел уже непосредственное отношение к этому городишку, и бывший буденновец, может быть, опасался, как бы его кто-нибудь не услышал.

Разные бывают люди.

Мимо иного проходишь, не замечая его даже в таком городишке, где каждый человек высокого роста — уже событие, а каждый новый, скрипучий трестовский сапог — это великан экономического возрождения по сравнению с лавчонкой частника на базаре. Проходишь мимо иных людей и даже не подумаешь: этот пьет по утрам кислое молоко — у него еще с прежних, земских, времен пошаливает желудок, и даже наша стремительная эпоха не смогла перетряхнуть его так, чтобы он заработал как следует. А вон тот, наоборот, по вечерам выпивает столько водки, сколько может выпить, оставаясь в вертикальном положении, для того чтобы обалдеть и начать хулиганить дома, избивая жену и соседей.

Мой новый знакомый, оказывается, искал синюю лошадь по-другому.

Сюда он приехал потому, что здесь, между прочим, должна была находиться эта лошадь. Правда, ему нужен

был также хлеб, и рыба, и все прочее, потребное человеку.

Демобилизовался он законно, а может быть, и незаконно, не пожелав после перестройки армии изучать политграмоту и дисциплину.

— Жизнь — это ж не только грамота, а целая духовная семинария! — засмеялся он. Примерно то же внушал мне когда-то Вася Волошин — только «в более широком смысле». А новый мой знакомый толковал эту истину уже, поскольку в политграмоте ничего не говорилось ни про пани Зигриду, ни про синюю лошадь.

Он сделал так. Сел в поезд — это было три года назад. Проехал в лунную ночь по степи. И доехал до городка, в котором имеются склады «Хлебопродукта» и прочее, указанное выше. На главном проспекте топтались несколько безработных, а грузчики пили на базаре самогон, за полчаса пропивая дневной заработок.

Он поступил сперва на кирпичный завод. Месил на рыжей лошади глину, развозил на рыжей лошади кирпич по городку — тогда уже начинали чинить разрушенные дома. Вечерами думал о пани Зигриде.

— А синяя лошадь?

Да, лошадь... Мой знакомец работает сейчас десятником на погрузке песка для химического завода. Он среди грузчиков эскадронный...

Я знаю: грузчики в этом городишке зарабатывают хорошо, и десятники не хуже. Но даже в темноте я опять вижу истрепанные штаны и латаные-перелатанные сапоги. Он это чувствует.

— Небось думаете — спился босяк? Я пью очень мало. Одно время, правда, попивал. Нет, жалованье съедает синяя лошадь...

Помните, я говорил вначале, что на главной улице есть подвальчики и в одном из них — бега механических лошадок. Так вот, оказалось, что мой рассказчик близко знаком с этим заведением.

Пятнадцать деревянных лошадок на гладком столе... Впервые он забрел в подвальчик, идя за какой-то женщиной в розовых шелковых чулках, с гибкой походкой — она очень напоминала ему пани Зигриду. Вошел и увидел... Запорожца! Та же масть. Те же правильные линии, стройные ноги. Номер одиннадцатый. Женщина в шелковых

чулках села и поставила на девятую, на желтую. А он машинально сел рядом — на Запорожца.

Синяя лошадка всегда бежала резвее. И всегда желтая, а если не желтая, так фиолетовая или красная под самый конец обходила синюю. В тот вечер он играл до ночи, пока подвальчик не закрылся. Он проиграл очень много. А женщина в шелковых чулках все улыбалась ему, напоминая пани Зигриду...

И теперь каждый вечер, пока деньги в кармане, он сидит в подвальчике и делает свою роковую игру на синюю лошадь. Пропускает только вечера, когда там нет незнакомой женщины.

— Она окажется пани Зигридой, я вам ручаюсь, товарищ! Вот только синяя лошадь меня все обманывает. Приходите поглядеть. Вы увидите, какие в нынешней жизни есть противоречия.

### 3

И правда, есть в жизни противоречия.

Я преодóлеваю присущее многим из нас отвращение к азартным играм и к подвальчикам, которые в таких городишках ежевечерне плодят душевнобольных, самоубийц и преступников. Вечером, вернее, ночью, когда осенняя тьма уже слепляет домишки в одну безобразную, бесформенную синагогу, я выхожу на главную улицу поглядеть на роковую синюю лошадь.

Мне попадается еще довольно много прохожих.

Со мной здороваются парикмахер, газетчик в окошке киоска, репортер местной газеты. Вроде бы хочет поздороваться и пьяный сапожник, которому я уплатил вперед за починку сапог, — на этих улицах подметки изнашиваются не меньше, чем, бывало, на военных дорогах. Он вроде бы хочет поздороваться, да вдруг хватается за тополь на краю тротуара, обнимает его и начинает плакать.

В церквях еще звонят. Каждый вечер в это время звонят нудно, как на кладбище.

Из подвальчиков воняет местным вином. А у единственного киношки, в желтом свете фонаря, я вижу на зеле-



новатом плакате кошмарное лицо и подпись: «Остров затонувших кораблей».

Я знаю, есть другая жизнь — вне этой уличной ночи. На собраниях, в клубах — другие люди. Добрый вечер всем им!

Наконец я добираюсь до подвального с вывеской: «Механический ипподром». Ее украшает желтый, как луна, всадник — намалевал его, без сомнения, Дубло, первый пьяница в городишке.

Я плачу за вход и спускаюсь по лестнице.

Вчерашний знакомый не видит меня. Так и есть: рядом с ним сидит стройная женщина восточного типа, но блондинка. Точно — она ставит на желтую. Желтая много раз подряд приходит первой. Мой знакомый платит деньги шляющемуся тут же кассиру и говорит только: «Синяя!» Взгляд его не поднимается выше края стола, откуда начинается ребяческий бег деревянных лошадок. Он немного меняется в лице лишь, когда восточная женщина улыбается своему другому соседу, небритому мужчине. Видно, она знает, зачем надо улыбаться. На улыбку ей отвечают многие игроки. Красивый, гладко причесанный юноша в модном костюме. И тот, с атласной лысиной, на углу стола.

— Синяя! — еще громче восклицает мой знакомец. Он платит вперед за пять забегов, потому что чужая пани Зигрида опять улыбнулась ему.

После пятого проигранного забега лицо у него краснеет, и он сморкается в платок сомнительной чистоты. Синяя лошадь останавливается, опять не добежав до красной черты, означающей то роковое местечко в Польше, а я пробиваюсь сквозь толпу любопытных мальчишек и девчонок и по заплеванной семечками лестнице поднимаюсь на улицу.

Деревянная кавалерия... Фиолетовые лошади... Атласные лысины... Бывший буденновец... Местечко в Польше... Пани Зигрида в шелковых чулках...

Ухватившись за тополь, по-прежнему воет сапожник. Он просит у прохожих десять копеек — не хватает на полбутылки. А с тополя сыплются серые листья. Так и должно быть — чем скорее они осыплются, тем лучше. Как же иначе вырастут весной новые?

Пусть осыпаются!

Через год я опять попал в городишко.

В такой же осенний вечер я опять сидел в саду под латвийским кленом, и опять в три часа дня точно так же пахло жареной бараниной, луком и помидорами. Точно так же падали листья.

Я сидел, вспоминая прошлогодних знакомых.

Дочка садовника уже не склонялась над клумбой. За лето она, наверно, стосковалась по любви и вышла замуж, как делают девушки, когда им надоест их девство.

В новых домах, внизу, уже мигало электричество. Это было хорошо и радостно.

Вернувшись на угол Итальянской улицы, где трепетали рыжие чинары и все так же маячили руины дома, разрушенного белыми, я неожиданно увидел его. По походке узнал. Под руку он вел пани.

Это меня почему-то развеселило, и я машинально сказал:

— Здорово! Ну, как ваши воспоминания?

Он тоже вроде обрадовался. Сразу же познакомил с женой. Вечер у меня был свободный, и я из любопытства принял приглашение пойти к ним попить чаю. В городке такой уж был обычай — знакомые, встречаясь, обязательно приглашали друг друга к себе попить чаю. Притом уверяли, что сварили летом абрикосовое варенье.

Мы свернули в переулок, где лаял целый батальон собак и запоздалые коты носились по дворам, примешивая к осени весенние страсти. Мы пролезли под веревками, на которых днем, наверное, сушились простыни молодоженов, и вошли в домик, выбеленный мелом.

В углу висели три иконы. Под ними — засушенная ветка акации, напоминавшая этот засушенный романс про «белой акации гроздь душистые», — романс был еще моден в городишке. А над кроватью, помещански белой и пышной, на стенке, я увидал... лошадь. Наверно, вырезанную из учебника или журнала. Синий карандаш или просто чернила сделали ее такой, каким был, если верить рассказу, Запорожец, а потом деревянная лошадка на механическом ипподроме.

Мы пили чай и ели абрикосовое варенье, имевшее тот же привкус, что и вся эта комната. Хозяева были очень гостеприимны, но разговор как-то не клеился.

— Синяя лошадь? — показал я взглядом.

— Ага... Все-таки помогла она мне.

— ?..

— Жену свою нашел! Забыл тогда вам сказать — я же был женат. Я и ускакал-то к буденновцам на своем Запорожце из-за того, что Маня (он с прощающей улыбкой глянул на жену) стала путаться с агрономом.

— Ну, зачем ты вспоминаешь, — сказала Маня и раскусила абрикосовую косточку. О, зубы у нее были крепкие!

— Да чего уж... скрывать от друга-то! Да, ускакал... А пани Зигрида (он опять, извиняясь и прощая, посмотрел на жену), вы же помните, она была очень похожа на Маню... Я же вам рассказывал... Да и случай-то такой похожий...

Комедия! Ни о каком «похожем случае» я от него не слышал. Что же касается пани Зигриды, то, по его рассказу, ей надлежало быть похожей то ли на византийскую богоматерь, то ли на стародавнюю аристократку графиню Потоцкую...

Я посмотрел на Маню, пока она не успела наклониться над чашкой: широкий нос, годный разве что для обоняния, но отнюдь не прибавляющий красоты, рыхлое потасканное лицо, на нем — две зеленоватые маслины, каких тут полные сады, широкие плечи, свидетельствующие о жирной страсти и только — безо всякой любви. Ну, если пресловутая пани Зигрида была на нее похожа...

— Так говорите, синяя лошадь довела вас до куда?..

— Синяя лошадь, товарищ... Маня, налей другу еще стаканчик. И варенья как следует положи... Что такое пани Зигрида перед Маней? Верно?

Откуда я могу знать?

— Ипподром обанкротился, грузин перепродал его. После он снова открылся, я пришел опять искать счастья рядом с той, в шелковых чулках, и первые же деньги мне пришлось платить — кому бы вы думали? Мане! Новой кассиршей ипподрома была Маня...

Я воздержался от возгласов удивления, и он продолжал:

— Она была очень рада, что повстречала меня. И прямо заявила: хватит деньги проигрывать! Она распроща-

лась с владельцем деревянных лошадок, а я с игрой. Старая-то любовь, товарищ, не ржавеет! Вообще-то, любовь — она вроде как ртуть... И живем мы теперь куда лучше прежнего, когда я был конторщиком в имении, в Полтавской губернии, а Маня — горничной. Мане теперь платит тот (он махнул рукой куда-то в пространство, и я увидел у него на пальце обручальное кольцо). Ну, платит, чтоб она молчала, ведь эта игра с лошадками — жульническая. Боятся (он опять кивнул куда-то), как бы она не выдала! Ничего. жить можно... Берите, друг, варенье, у нас хватает...

Варенье вдруг показалось мне таким же жирным, как плечи пани Мани, на которых бросило оттенок обручальное кольцо буденновца. Он закончил с воодушевлением:

— Синяя лошадь все ж таки не обманула! Так-то вот надо уметь в жизни смотреть вперед. Это тебе не политграмота. Верно, товарищ?

Одно верно — теперь уж мне нечего было спрашивать, надо ли радоваться новым домам.

За стеной тренькала гитара и чей-то хриловатый голос напевал в ритме фокстрота:

Есть в предместье Сен-Жермена  
Кабачок «Ночной пилот».

Мне показалось, что синяя лошадь над кроватью пустилась танцевать этот европейский танец.

Но мне объяснили, в чем дело, и я засмеялся — не может же лошадь затанцевать от таких вещей! За стеной живет ответственный работник в масштабах городишка, а его жена скучает и, поджидая мужа со служебных собраний и заседаний, поет всякие такие песенки. Иногда собираются и другие «ответственные» жены, тогда поют и «Бубенцы», и «Кирпичики», и «Брось тоску, брось печаль»...

— Ответственный товарищ — хороший человек. Теперь многие хорошими стали. Синие лошади помогают многим...

Я шел по улице вялый, словно водой налитый. Во рту остался привкус от абрикосового варенья и от комнаты, из которой я только что вышел. Я смотрел на ясные, на-

бухшие осенние звезды и все еще видел перед собой синюю бумажную лошадь над мещанской кроватью.

Когда-то в такие ночи лошади буденновцев обгладывали кору с яблонь и, засыпая, ржали от кровавых и пороховых снов. Это было, когда революция сидела на живых лошадях, когда не было деревянных лошадей в подвалах, а за реквизированных красноармейцами лошадей эскадронные командиры выдавали такие расписки:

«Оплатить после окончательной победы мировой революции. Да здравствует пролетариат!»

Октябрь 1926 г.

## ДА ЗДРАВСТВУЕТ КАПИТАН!

### 1

В ледяную ноябрьскую ночь, когда море было нелюбимое, как враг, ветровое и темное, как выжитые жизни в портовых городах, — в эту ночь поседели кочегар и штурман, а старый Багер безвозвратно сорвал голос.

Когда они подняли якорь в бухте порта Б., был уже поздний час. Но Багер выкрикивал свои капитанские команды так же, как рано утром, — зычно, убедительно и выполнимо. Да. Матросы — и те, которые находились на своих местах, и те, которые остались в темноте на берегу, с патронными лентами, как спасательными кругами, и с винтовками, как символами победы на плечах, — все понимали, что его команда равносильна боевому приказу.

Катеру, уже переименованному в «Пролетарий», и команде катера в составе пятнадцати человек, включая комиссара штаба дивизии товарища Луганского, было дано задание достигнуть порта М. ночью же, пока над степью не забрезжил серый рассвет и на решающем участке фронта не началось решающее сражение. Потому что М — ская группа, состоявшая из поредевшего, измотанного в боях Донецкого полка и из партизан Борилина, вернее сказать, из портовых грузчиков, матросов, возчиков муки, рабочих-литейщиков и подмастерьев, была отрезана от своих. Белые раскололи фронт революции и пробились к морю — степь-то была широкая, с редко разбросанными, сомлевающими деревнями, а махновцы и другие бандиты по-бандитски оттянулись, освобождая путь врагу. К настоящему моменту белые разместили на берегу моря полевые батареи, оцетинились на обе стороны казацкими пиками и готовились к кровавой расправе с отрезанной группой революционной пехоты.

Белые господствовали и на море. Господствовали кроважно и вызывающе. Ведь, кроме трехцветных царских флагов, на миноносцах и броненосцах реяли также вымпелы британских и французских завоевателей и угнетателей. Пока что они стояли, построясь в джентльменское каре на некотором отдалении от своих жертв, и ждали сигнала, чтобы салютовать горами трупов, разрушенными домами и рыбацкими землянками на берегу.

«Пролетарий» должен был доставить в отрезанный порт М. комиссара Луганского с боевыми приказами: осажденным приказывалось победить, разгромить, пробиться сквозь белые цепи и их огонь в двухстороннем решительном наступлении.

Вторую ночь бесновалось море. Вторую ночь оно было нелюбимое, как враг. А для катера это была вторая трудная ночь.

Сюда-то дошли удачно — ночь была полна тумана. Багер сам вызвался на этот смертельный рейс, оттого он и находил дорогу, как в солнечный день. А на вторую ночь туман, не иначе, замерз, осыпался ледяными иголками на палубу катера, на металл оружия и на лица моряков. Над морем уже проглянули три-четыре предательских звезды. Что-то сулит эта ночь! Даже команды капитана при выходе из М. были непохожи на обычные...

«Пролетарий» метался в волнах, упрямый и злой. Матросы были на ногах. С прижатыми к бокам винтовками они стояли на палубе, как массовый часовой, лишь двое, считавшиеся пулеметчиками, сидели, не поднимаясь от пулеметов. Матросы молчали и время от времени принимались хлопать себя по плечам — стужа в эту ночь проняла даже самых закаленных моряков. Только комиссар сидел внизу, в каюте, потому что он не спал дольше всех, и, наверно, дремал над картой, убаюканный качкой.

Они шли почти у самого берега, не зажигая огней. Махорочные самокрутки прятали в озябших ладонях — даже они могли выдать. И мористее не пойдешь — чтобы не разбудить кроважность миноносцев.

Они не осмелились удаляться от берега, даже подходя к Белой косе, хотя здесь всего мельче, опаснее и как раз здесь, словно оправдывая случайное название, начинается район, занятый врагом.

Будь проклята эта Белая коса! Даже рыбацким баркасам она никогда не давала порядочного пристанища.

Каким бы плодоносным ни было лето, на ней никогда не росла даже жесткая просоленная приморская трава.

И надо же было как раз на этой косе вспыхнуть зеленоватой вражеской ракете, вскрикнуть винтовке часового!

Их заметили.

Ствол пулемета повернулся к берегу, не дожидаясь команды Багеря, и «Пролетарий» вынужденно развернулся носом к волне. Уходить в море! Далеко? Да хоть до первого снаряда. Ведь в двухстах шагах от берега они уже будут невидимы.

На берегу разорвались еще два выстрела. И тогда с моря, раскалывая серую воду, ощупывая волны, перекинул свою зеленоватую тусклость прожектор. Второй, третий...

Когда зеленовато-желтая петля перевалилась через катер, матросы успели разглядеть застывшую фигуру капитана — он свесился с капитанского мостика с поднятым кулаком, словно грозя кому-то. И только.

Прожектора набрасывали петлю за петлей. Они все плотнее сплетались вокруг «Пролетария». И наконец... Грохот выстрела докатился от берега, лишь когда снаряд уже плюхнулся в море перед носом катера, и суденышко отпрыгнуло в сторону, будто повинясь команде капитана:

— Ближе к берегу! Лево на борт!

Винтовки были сдернуты с плеч, и матросы стояли в ряд лицом к берегу, когда на палубе появился комиссар. Он взобрался на капитанский мостик, но, пока над катером проносился белесый луч, было видно, что капитан жестом отсылает комиссара вниз, держа другую руку над глазами. И комиссар спустился, стал с матросами в шеренгу, положив руку на кобуру нагана. Уж не подумал ли он, что капитан сдается берегу? А он имел право сдаваться, только расстреляв все пули в нагане.

— Три версты... — Не видно было в темноте, кто это сказал. Но ничего больше не было сказано. И это означало: человек, время, жизнь длиной в три версты. Или же...

Ведь вокруг взбивались озверелые волны, катились через борта, мочили ноги матросам и колени пулеметчикам. Поверх кидались прожектора, скрещиваясь беспощадными петлями, как кипящий смертоносный огонь. Отвратительно воя, проносились снаряды — сзади, спереди, сбоку, поверх. Возможно, что эти снаряды рвались — порой казалось, будто волны катятся с неба. Что тут расслышишь?



Команда капитана — только им было слышно. Кочегару — и морю, штурману — и морю. Да и, может быть, даже врагам — на берегу и в море. Так казалось фаталистически настроенным матросам — теперь они стояли к капитану лицом.

И «Пролетарий» с каждым оборотом винта действительно становился злее, быстрее, упрямее, словно ему в эту ночь нужно было достигнуть самого дальнего революционного порта. Он послушно следовал командам капитана, изменяя курс после каждого грохота снаряда, после каждой петли прожектора.

Если бы нанести этот курс на карту, он, наверно, показался бы самым запутанным и непонятным из всех маршрутов гражданской войны. И, может быть, только старый морской волк Багер считал его самым нужным отрезком своего жизненного пути.

...Когда они зажгли бортовые огни, сворачивая в ворота своего порта, капитан спустился с мостика и посмотрел на часы. «Пролетарий» шел всего на четырнадцать минут дольше, чем обычно идут пароходы между этими двумя портами. Они явились вовремя.

Комиссар Луганский долго жал капитану руку и говорил что-то насчет революционного героизма. Багер, видно, хотел ответить, но слова беззвучно погасли на губах. Перевесившись через борт, он откашлялся глубоко и серьезно, по моряцкой моде. А слова все равно были беззвучными.

Да, он довез боевые приказы, но его голос остался в ноябрьском море.

## 2

Отряд Борилина и Донецкий полк с рассветом вступили в бой.

Багеру было нечего делать. Он умел командовать только на море. Его матросы ушли с винтовками и пулеметом...

Они так и не вернулись. Потому что полк, и партизаны, и матросы, исполняя приказ, своевременно пробили вражеское кольцо и соединились с дивизиями и армиями, отступавшими для нового наступления. А в порт через два дня вошли белые миноносцы и казаки.

Багер остался, он не имел права покинуть свой «Пролетарий». Он хладнокровно сидел дома, а по кварталам порта уже бесчинствовали пули победителей. Победители были разъярены, так как красные оставили порт без боя и операция по окружению не состоялась.

Багер тоже ждал «гостей». Он знал — с ним рассчитаются за ту ночь. И когда вечером в квартиру повелительно постучали, а старуха соседка поплотнее заперла свою собственную дверь, он встал спокойно и сурово, чтобы открыть. Только рука в кармане сжимала браунинг. Его, старого морского волка, они так легко не возьмут... Он даже не стал спрашивать — кто? Спокойно отодвинул засов и отступил лишь настолько, чтобы было удобно в нужную минуту вытащить руку из кармана.

Он не ошибся. Аристократично откинув голову, вошел морской офицер, высокий и вызывающий, с необычайно блестящими нашивками и кортиком на боку. Победитель. Проекторист. Разрушитель портовых кварталов.

Но тут Багеру показалось, что он, потеряв голос, лишился также слуха и зрения.

Гость сдернул перчатку и протянул руку. В ней не было ни оружия, ни ордера на арест. Он протянул вторую руку и попытался обнять капитана красного катера «Пролетарий», старого Багера.

Так произошла встреча старого Багера с сыном — врагом, белогвардейцем, когда-то белоголовым баловником Юркой, а теперь офицером Жоржем Багером.

Морской офицер разыскал отца, чтобы у него поселиться. Морской офицер жаловался, что ему надоело однообразие моря, хочется походить по суше, хоть здесь тебе, конечно, не Севастополь и не Одесса с их ресторанами и красивыми еврейками.

Старый капитан не понимал многого. Когда ночью к ним вломились какие-то, возглавляемые казачьим есаулом, морской офицер записал фамилию есаула и заставил его извиниться, козыряя своей принадлежностью к русскому флоту. Те ушли, а сын спокойно продолжал рассказывать отцу про Одессу и про Севастополь. Мало ли о чем могут поговорить сын с отцом? Они же не виделись всю революцию — четыре года!

Их отношения и все прочее насчет этих четырех лет мало-помалу обрели ясность.

— Зачем ты носишь эту... эту чужую форму? — спросил старый Багер морского офицера однажды вечером, когда они попили чаю и побеседовали о жизни. Это следовало понимать как законченное выражение достаточно явной разницы во взглядах и мыслях.

— Не ходить же мне в кожаной куртке, как эти... грабители и убийцы! С большевистской звездой на фуражке! Мои убеждения... присяга... честь офицера...

— Вы боретесь против рабочих, против честных людей и против справедливости.

— Нет. Мы боремся за порядок, за веру и... за культуру.

— Ты помнишь, Юрий, этот портовый квартал? Мальчиков и девочек, с которыми ты вместе рос, любил степь и море... Ты все забыл?

— Да. Я рад, что стал взрослым и могу стать выше этого.

— Здесь не было ни одного богатого человека... Ты ведь знаешь, каких усилий мне стоило поместить тебя в морское училище...

— Правильно. И я хочу отплатить тебе за твои усилия. При нормальных, культурных обстоятельствах это не представит затруднений.

— Ты мне уже отплатил — своими снарядами.

— Не понимаю. Не тебе — бандитам, анархии!

— Нет, нет. Именно мне. Если я сижу здесь и разговариваю с тобой, то это только благодаря моей опытности... и случаю. Ты помнишь ночь, когда вы преследовали нас у Белой косы? Там остался мой голос... Спасибо!

— Почему ты не с нами?

— Потому, что я не могу пойти против своих убеждений.

— И значит?..

— Ты совершенно напрасно избавил меня от казацких нагаек и, может быть, от пули.

— Но ты же мой отец!

— Да, ты мой сын. Но по ночам, когда я вижу, как самодовольно ты спишь и, может быть, видишь во сне свою «культуру», пока в степи в боевых цепях падают мои матросы, — из-за вас! — мне иногда хочется стиснуть пальцы на твоей гладкой шее морского офицера... Чтоб не было таких сыновей на свете!

— Отец, я чувствую, что они и тебя испортили.

— Не они! Мои убеждения. Если я не стану твоим убийцей, то только потому, что мне не позволяет этого моя гордость моряка, может быть, предрассудки. Но мы еще встретимся в открытом бою!



В то утро, когда из степи в городок ворвались вихри красной кавалерии и застигнутые врасплох белые части искали спасения в порту, белая эскадра опять стала на почтительном отдалении от берега, увязнув в сером морском горизонте.

Горько цвели тополя, перебивая тошнотворный запах крови, дымившийся на портовых мостовых. Рядом с красными знаменами зелень тополей выглядела гораздо радостнее, чем в другие весны. И даже снаряды, которые с леденяще долгими промежутками грохотали над взгорьем, меся в кашу берег, землянки, людей, лошадей, — даже они не могли убить весну.

Старый Багер не успел попрощаться с сыном. Всю зиму он благодаря связям и настойчивости морского офицера считался капитаном своего бывшего «Пролетария» — теперь «Джорджа» (в честь английского короля!). Ему было приказано эвакуироваться. Но эскадра так внезапно вышла из порта, а котел у «Джорджа» так неожиданно испортился, что он мог с радостью встретить красные знамена в качестве старого и верного «Пролетария».

И старый капитан опять стал командовать портом. Только сперва ему надо было попрощаться с сыном. В полдень он подобрал себе трех матросов, в том числе поседевшего у Белой косы кочегара; и, словно и нет никакого обстрела с эскадры, под вечер из ворот порта вышла необычайная флотилия. На палубе катера, как в памятную ноябрьскую ночь, опять стоял пулемет, вытянув ствол к горизонту. За катером послушно следовали две старые нефтеналивные баржи.

Странно выглядел в дни боев подобный караван. Люди, стоявшие на берегу, пытались даже улыбаться. Но улыбки обрывались, соскальзывали с лиц: шутка ли сказать, достаточно одного снаряда, чтобы раскидать упрямого капитана с его флотилией по всему заливу!

Люди на берегу уже не могли разобрать сигналов, подаваемых катером. А эскадра молчала. Эскадра прочла, что катер с нефтяниками вышел только затем, чтобы присоединиться к ней.

Эскадра молчала, пока на четвертой версте от ворот порта катер не сделал вдруг крутой поворот, а баржи, как дохлые акулы, остались стоять, медленно покачиваясь на волнах. Возможно, теперь-то эскадра заметила, что на баржах вдруг загорелись костры, а с капитанского мостика катера кто-то грозит кулаком — грозит кулаком эскадре!

В эту минуту снаряды эскадры были Багеру еще безразличнее, чем в ночь Белой косы. Его команды были дерзки — это были команды победителя. Пулеметчик принимал их по жестам. А может быть, и морской офицер Жорж Багер почувствовал в них прощание старого Багера:

— По врагу! По предателям-сыновьям, огонь!

И пулемет, оскалив зубы, рассыпал свои пули по бронированным корпусам, отвечая на грохот снарядов с эскадры.

Нефтяные баржи уже вспыхнули, точно иллюминация в час необычайного и неравного боя. И только потом раздалась взрывы. Один, два, пять... На краю моря поднялись горящие полосы.

Морской канал был забаррикадирован для трехцветных и британских флагов. И на весь салют было израсходовано две пулеметных ленты! А «Пролетарий» со своим капитаном, выкинув красный флаг, вернулся в порт.

#### 4

Осенью 1926 года, одновременно с огромными эшелонами хлеба, мне довелось попасть в веселый южный порт.

Алый закат с осенней прохладой уже залег над морем и портовым городком, когда из порта через степь потянулась необычная процессия.

С алостью солнца состязались алые знамена, с серостью степи — серые люди и их серые головы. Длинной и необычной была эта процессия.

Матросы с обнаженными головами несли красный гроб. Вечерний ветер, долетая с полей, развеивал им волосы. И они тоже казались рыже-алыми. И рыже-алыми были могучие руки, поддерживавшие гроб на плечах.

До кладбища всегда кажется далеко...

Когда люди молча, со свернутыми знаменами, повернули обратно в порт, мы присоединились к ним. И матросы рассказали мне о старом морском волке, о награжденном двумя революционными орденами почетном капитане «Пролетария», о старом Багере.

— Капитан умер, — сказали они. — Да здравствует капитан!

И тяжелой поступью пошли в порт.

Море было уже серое, как всегда по ночам. Только над степью, где кладбище, мерцала алая полоска заката.

## РАССКАЗ ЛЕТЧИКА

*Посвящается Акерману*

Нелегко найти себе такое занятие, чтоб приносить пользу до конца. Труднее всего это нам, людям революции. С бойцами бывает так: в руках ломается оружие. И тогда уж какой из тебя боец?..

Всю свою молодую жизнь я старался приносить пользу. Еще когда жил на рабочей окраине, в Риге, когда мы еще только наполовину были «мы». Там, на окраине, не было лишних людей. Там все зарабатывали себе на хлеб: грузчики и заводские рабочие, изможденные конторщики и девчонки из мастерских и трактиров.

Но разве это польза?

Вот в 1919 году, когда боролись за Советскую власть, было уже иначе. Я работал в одном провинциальном политотделе и чувствовал себя полезным революции. Не оттого, что я выступал на тогдашних бесконечно долгих, эпихальных собраниях, где говорили о боях и об аграрном вопросе то вместе, то порознь, не оттого, что я мог обходиться без сна бесконечное множество ночей, когда гонялся по уезду за контрреволюцией, ездил на фронт с чрезвычайными поручениями, с чрезвычайными патронными оboзами. (Может, я просто был покрепче других товарищей, которые тоже мало спали и превратились в некое олицетворение революции, одетой в шинель.) Не только оттого! Помимо общих обязанностей, мне приходилось также исполнять приговоры чрезвычайных трибуналов. Быстро и четко — как выстрелы. У меня не было ни злобы, ни кровожадности (я слышал мимоходом, как меня называли «синеглазым пастушонком»), в которой нас обвиняют еще сегодня. Были только исполнительность и сознание, что твоя работа приносит пользу,

Разве это не польза, что я собственноручно расстрелял графа П., который был, так сказать, душой одной из карательных экспедиций в девятьсот пятом году и к тому же предавал наших людей во время германской оккупации? В его парке и посейчас стоят липы со следами казачьих и германских пуль. Я расстрелял его у этих же лип, — говорят, летом там поют соловьи, а белые мраморные бабы улыбаются наглой буржуйской улыбкой — усмеваются небось и посейчас над буржуйской культурой Латвии и над новыми «графами», скрывающими запах хлева под фракком.

Помню, граф просил о пощаде. Он просил меня, бывшего токаря, потомственного гражданина голодной, нищей окраины. Я тоже просил его — повернуться спиной. Потом мой хорошо пристрелянный наган закончил этот необычный диалог в летнем парке.

При отступлении из Латвии я был пулеметчиком. Вы, может быть, слышали, как трудно отступать с пулеметом. Отступая, нужно тащиться по топким болотам и пропотелым пригоркам, а за спиной оставляешь так много! Мы часто останавливались и стреляли назад. У меня было чувство невероятной оторванности, похожее на усталость и голод. Я решил впредь быть полезнее. А значит, стать кавалеристом или же летчиком.

Когда мы добрались до первого, забитого эшелонами, прифронтового (теперь приграничного) городка, в котором среди прочих воинских частей располагалась и авиационная, я вспомнил свою прежнюю дружбу с металлом и, приврав кое-что в меру необходимости, перешел в эту авиачасть. Лай пулеметов на фронте как раз поутих, началось невыносимо тяжкое стояние на месте, а в авиации не хватало механиков и людей со здоровыми легкими.

Знакомство с аэропланами далось мне без особого труда. Я проводил с ними целые дни и даже спал с ними, забравшись в кабину летчика, под старой шинелью. Товарищи дразнились, а я и сам знал: влюбился. Да, я полюбил этих стальных орлят сильнее, чем Анну Балтынь, с которой мы вместе не спали ночей и вместе отступали, отстреливаясь из нашего пулемета За революцию. Она часто ходила смотреть на наши аэропланы, как ни гонял ее часовой, и просила, чтобы я и ее научил летать.



— Женщина, даже если она хорошая пулеметчица и коммунарка, может завести самолет слишком высоко! — подсмеивались мои товарищи.

И я от радости смеялся вместе с ними.

Я любил аэроплан больше, чем Анну. Впрочем, наши отношения не страдали от этого. Не станет же Анна Балтынть думать о каких-то мешанских двуспальных правах, когда я, бывало, провожу ночь в аэроплане и вместо боевой подруги сквозь сон ласкаю его штурвал?

В 1920 году я уже считался полноправным летчиком и, расставшись с товарищами, по собственному желанию откомандировался на Южный фронт. Потому что Врангель (достаточно слова «барон», чтобы разгорячить латышскую кровь) еще не был разбит и все латышские стрелки дрались с ним.

О сражениях на юге вы много слышали. Многие из вас сами сражались там, вам помнятся необозримые степи, воспетая поэтами гладь рек и еще не воспетые никакими поэтами бронепоезда на рельсах, исправленных на скорую руку, у разрушенных станций, окруженных штыками тополей. И еще помнятся вам дерзкие полеты аэропланов, днем — под самое солнце, ночью — в небе не видать ничего. Но красный летчик уходит с бомбами и с пулеметом, и неизвестно, вернется ли он...

Я дрался на юге в компании смелых и быстрых воздушных парней. Пусть докатится до них привет старого соратника, где бы они ни были сегодня: в мирных пассажирских рейсах, на аэродромах капиталистической Европы с толстыми торговыми представителями буржуев на борту или же на заводах, в цехах, в партийных комитетах. Или... ну, летчиков-то погибло много! И все-таки крылья революции звенят над зеленеющими нивами. Трудно мне думать о павших, и я нарочно не упоминаю о них в этом рассказе.

Чаще всего я вспоминаю своего дружка Горчакова, с которым мы вместе летали там на юге. Уж он-то наверняка жив.

Однажды он дрался с тремя сразу неприятельскими бронепоездами.

Тогда он летал на аэроплане со старинным названием «Илья Муромец». А летчик, наперекор названию, был молод и полон жизни, как никто другой.

Приказ дивизии был краток, как выстрел: взорвать вагоны с боеприпасами в тылу противника. Там-то и там-то.

Горчаков взял три бомбы и взлетел. Потом мы увидели, как вокруг «Муромца» стали рваться снаряды. Горчаков атаковал бронепоезда, курсировавшие в нашем секторе фронта. Снаряды взрывались все ближе, и мы, сжав кулаки, ждали, что вот-вот «Муромец» загорится.

Но он исчез за горизонтом. Мы слышали множество взрывов, от которых содрогнулась широкая степь и умолкли бронепоезда. Через полчаса Горчаков прилетел обратно. У «Муромца» было всего лишь одиннадцать ран... А для головы Горчакова, задетой осколком, у нас не хватило бинтов (медицины у нас тогда было гораздо меньше, чем энтузиазма). Глаза его были залиты кровью, руки изрезаны, как ножами.

Бинтуя товарищу голову, мы спрашивали:

— Как ты нашел дорогу обратно? Глаза кровью залеплены...

Он улыбнулся искромсанным лицом:

— Нюхом чуял, что тут бинты найдутся... И такие славные доктора, как вы...

Меня сейчас греет эта улыбка Горчакова. Я тогда много думал — о летчиках и об исполнении боевых приказов.

Примерно через неделю мне представился случай проверить свои мысли и свою полезность.

Я уже много раз вступал в бой с белогвардейскими аэропланами и пренебрежительно называл их воробьями. Сбрасывал бомбы на казачьи эскадроны. Терял ориентировку над предательски одинаковой ночной степью. А в тот вечер у меня было самое что ни на есть простое задание: разведать перегруппировку артиллерии противника на левом фланге.

Я повернул налево, мой товарищ — направо. Наш третий аэроплан находился в ремонте. Больше аэропланов у нас в части не было.

Пока мы летали, произошли непредвиденные события, вернее — боевые действия. Понтонный мост, выстроенный в тот день для ночной атаки, был обнаружен вражеской разведкой, и пять белых аэропланов бомбили переправу революции.

Когда я возвращался домой, солнца в степи уже не было, а я сверху еще видел его на порядочном расстоянии от горизонта. Я думал об арбузах, потому что хотелось пить, и солнце показалось мне расколотым сочным арбузом на

земном склоне. В этот момент я увидел белую эскадрилью и сразу понял все.

Летчик всегда составная часть своего аэроплана. Он часть руля, мотора, пропеллера, плоскостей. В то мгновение я весь без остатка врос в свой «Спад». (Так звался мой самолет. Уж не окрестил ли его так кто-нибудь из летунов, после того как в один осенний вечер этот аппарат, серый, как тополевый лист, упал, подбитый нашим снарядами, и мы целую неделю чинили его, пока я смог сесть на него мало-мальски уверенно?) Я врос в «Спад» так, что казалось: если в баке не хватит горючего, моя кровь перельется в трубку мотора. Если это понадобится...

Надо было спасать мост.

Я видел, как всполошились наши на берегу, как залегли у моста, как клубились крохотные дымки винтовочных выстрелов. Бойцы были готовы устлать доски моста своими телами, лишь бы спасти переправу, лишь бы ночная атака началась вовремя.

Солнца уже не было. Противник увидел меня поздно и, наверно, принял за своего. Я поспешно пристроился рядом. Я видел, что каждый белогвардейский аппарат вооружен двумя пулеметами, а у меня был один, да и тот с короткой патронной лентой.

— Держись, «Спад»! Это тебе не графский парк!

Я что-то кричал, так же как мой пропеллер, вращаемый мотором. Но мотор кричал громче меня. Белые не слышали — они были всецело заняты мостом. Они опомнились лишь, когда мой пулемет метнул в них первые пули. И паника, всегда таящаяся под белогвардейскими френчами, под их орденами, неожиданно охватила пять бронированных аэропланов. Белые забыли про мост и пустились наутек.

— Держись, «Спад»! Это тебе не графский парк.

Я инстинктивно обрушился на первый аэроплан, самый крупный и несший, конечно, больше всего бомб.

— Сдавайся! — наверно, кричал я ему. И, взмыв над ним, направил угол крыла на его плоскости, чтобы сломать или обезвредить их.

Белые оправились от смятения и приняли бой. Мимо меня проносились пулеметы, порой пуля, странно звеня (в воздухе пули звенят особенно смертельно, если случайно расслышишь их сквозь рокот мотора), пронзала плоскости.

Я боялся за бак с горючим. И боялся за мост, к которому возвращались белые летчики.

— Сдавайся!

И «Спад» снова ринулся на крылья противнику. Все равно — пусть загорится мое боевое оружие! Все равно вместе с ним сгорит еще кто-то!

Двадцать минут или больше метался я среди вражеских пулеметов. Две бомбы уже взорвались в Днепре, не задев моста. И я заметил: аэроплан, которому я дал по плоскостям, начало болтать в воздухе.

Смерть большого аппарата сызнова подняла панику среди врагов. Плохо нацеленные бомбы падали в воду, даже в сумерках были видны всплески воды, а не дыма. И белые аэропланы, «выполнив задание», отправились восвояси. Пулеметы молчали.

Первый аппарат еще вихлялся над позициями белых. Ох, жаль будет, если он упадет там, пригодился бы нам такой редкостный трофей! Я погнался было за ним, чтобы последними патронами загнать его на нашу сторону. Но было уже поздно. В серости сумерек вспыхнула необычная ракета: аппарат загорелся и, пылая, рухнул над своими.

Мост был спасен. Я немного устал, все так же хотелось пить, зато я научился с одним пулеметом драться против десятка. И мне казалось, что я буду полезен еще долго-долго.

Этот мелкий эпизод боевой жизни почти ускользнул у меня из памяти. Но поскольку конец моего рассказа никак не назовешь красивым и радостным, я теперь все чаще вспоминаю именно этот эпизод и заново переживаю каждую мелочь — от мимолетных ощущений в воздушном бою до той радости, с которой я гладил свой старый «Спад», посадив его лишь слегка пораненным в украинской степи у спасенного моста.

Хорошо быть повелителем воздуха — во имя революции!

Это я почувствовал, обучаясь в авиационном училище. В боевые годы я летал, можно сказать, как простой металлист. А тут пришлось кое-чему поучиться. И за учебой я часто вспоминал старый «Спад» и удивлялся, как он не вывалил меня на землю под пулями белых. Как это у нас получалось?

После окончания училища я, квалифицированный военный летчик, каждое утро садился в свой самолет и, по-

садив рядом будущего летчика, парнишку-комсомольца, летал над окраинами Москвы. В эти минуты я снова думал о Южном фронте, и оттого мне было особенно приятно видеть под собой мчащиеся поезда, дымящие трубы фабрик, новостройки. Я говорил тогда своему воспитаннику:

— Мы можем гордиться — мы охраняем революцию! Радостно пели моторы. И не говорите, что в них не было прежнего упорства боевых дней!

Солнечными утрами, окрыленный старым боевым упорством, я носился над московскими окраинами. Самолеты с легкостью выделяли «мертвую петлю». Равняя боевые порядки, наши «треугольники» сотрясали воздух. Вытянувшись в разведывательную цепочку, мы летели на запад... Мы знали: перед началом работы с заводских дворов на нас глядят тысячи глаз. Глядят так же, как в боевые годы, когда, защищая мосты революции и переправы новой жизни, мы били своими старыми крыльями по вражеским пулеметам. А теперь разве не выросли у нас новые, могучие крылья?

Солнечными утрами радостно пели моторы и радостны были мы.

...В то утро мы взлетели в тумане. Не видать было заводских корпусов, поездов,строек. Кожаная куртка отсырела от тумана. А мой комсомолец с улыбкой раскрутил пропеллер.

— Контакт!

— Есть контакт!

Мы заняли свои места. Мотор работал четко, как всегда. Я осмотрел бензопровод, рули. И мы взлетели в шуршащем тумане.

Города не было. Глыбы тумана наваливались сверху, пробегали мимо, холодные, подозрительные.

На двадцатой минуте, когда высотомер показывал 860 метров, в моторе послышались перебои. С заграничными моторами это бывает. Я прибавил скорость, и перебои повторились. Уменьшил высоту и повернул обратно на восток, к аэродрому, чтобы проверить мотор.

Но спустя несколько секунд сильный взрыв вырвал у меня из рук штурвал. Бензопровод лопнул, и самолет загорелся.

Мой воспитанник сорвал с себя кожанку, бросил ее под ноги, чтобы сдержать вторжение огня. Я выключил мотор. Стало жарко. Шуршал то ли туман, то ли огонь..

— Мы горим в тумане!

Кажется, это крикнул он. А может быть, произнес я. Или нелепая мысль в голове сама заговорила вслух?

Земля, конечно, уже недалеко. На землю — как можно скорее! На землю!

Но огонь бил снизу. Пропеллер, как колесо иллюминации, месил огонь. Дергался, умирая, мотор, захлебываясь смазочным маслом и бензином. Мне жгло лицо. Глаза тлели под раскаленными стеклами очков. Руки в кожаных перчатках словно облепило расплавленным железом. Мой воспитанник, наглотавшись огненного воздуха, свесил голову и хрипел.

— То ли еще выдерживали! — крикнул я, глотая пламя. В голову ломилась смерть с десятью пулеметами, от которых тогда унес меня старый «Спад».

В одну и ту же секунду я увидел деревья, отдаленные корпуса домов и бежавших в тумане красноармейцев. И ощутил удар, как от вражеского аэроплана. Это была земля.

\* \* \*

Два месяца я пролежал в больнице.

На третью неделю я очнулся от сна или от смерти. Почувствовал, что мой мотор еще работает. Почувствовал также, что у меня уже нет ни лица, ни рук, ни спины. Я спросил, вслушиваясь в собственный гнусавый, неприятный голос и радуясь, что сам еще слышу себя:

— Зачем вы меня разбудили?

И меня чинили, как мы когда-то чинили сбитые вражеские аэропланы.

Два месяца на меня накладывали заплаты. Нарастили на пальцах мясо вместо сгоревшего. Зарастили на лице рывтины, которые выжег горящий бензин. Потом сняли повязку с глаз, и я увидел холодное зимнее солнце в щель большого окна.

Но это было уже не то солнце, которое привык видеть летчик и к которому, говоря безо всякой лирики, так приятно лететь. Я смотрел на свои забинтованные руки, и в единственном глазу, показавшем мне все это, накопились злые слезы...

Все было хорошо.

Анна Балтынъ любит меня по-прежнему, любит искалеченного, полуслеплого, искромсанного, изломанного. Так

же, как я когда-то любил старые, залатанные аэропланы. Но ведь это было когда-то!.. И я сказал ей:

— Ты же молодая. У вас в цехе много сильных, здоровых мужчин. Живых. На что тебе калека?

Но женщины и в наше время все такие же чудачки — даже старые пулеметчицы.

Все было бы хорошо.

На свете достаточно молодых летчиков. И хотя сгорел молодой Волков, а я...

Мне причиняют боль мои товарищи. Конечно, не нарочно. Полные сочувствия, они входят в мою инвалидскую, в мою пенсионерскую комнату. Они говорят о самолетах. Они рассказывают мне каждую мелочь — о каждом новом винтике, который прибавился в воздушных эскадрильях революции. Из своего окна я вижу ангары, о которых они рассказывают. Я мысленно вижу, как они там поднимаются в воздух и садятся... И их сочувствие, их разговоры выводят старого бойца из равновесия.

Я стараюсь молчать, потому что мое сердце — мой мотор — испорчен и не может работать помногу. А мои товарищи заставляют меня кричать. И я кричу — о том,

что никакие их разговоры не заменят мне счастья летать,

что без высоты я не могу жить,

что самолет — мой самый верный, испытанный друг еще с гражданской войны,

что мне, инвалиду, нет больше смысла жить, я только напрасно ем хлеб республики, и лучше бы его отдали какому-нибудь молодому летчику.

И еще я кричу о нелепых случайностях, о неизбежности, преследующей даже нас, новых людей революции.

Надо же! В те боевые годы, летая на «этажерках», на «летающих гробах», я не сгорел. Тогда у нас только и были эти «гробы» — испорченные вражеские аппараты, и мы их чинили молотком и кусками проволоки. Не было бензина. Уже в 1918 году у аэропланов революции не было горючего. Мы тогда сами изобрели историческую «горючую смесь»: керосин, ополоски от нефти, какие-то масла. И она горела — ничего, не лопались никакие баки и бензопроводы. Мы не горели в полете. Потому что весь огонь надо было отдать врагу.

А теперь, когда мы летаем не на гробах, а на «коврах-самолетах», когда я знаю, как здоровье каждого винтика

в организме аэроплана, когда бензин у нас чистый и легкий, как воздух, в котором мы выделяем звонкие «мертвые петли», — вдруг случайность, неизбежность. И летчик — калека.

Я не виню мотор, за который иностранным буржуям уплачены немалые деньги. Не виню наши новые авиазаводы. Чушь собачья все эти комиссии, копавшиеся в кучках пепла и в моей больной голове, чтобы выяснить, как это я горел. Да, может быть, в воздухе я просто не был полезным до конца, ибо трудно найти себе самое полезное занятие в жизни.

Теперь, когда сердце у меня бесполезное, глаза и руки бесполезные для полета, я много думаю об этом. И я вынужден думать по-всякому.

Чего бы я ни отдал за то, чтобы полетать еще один-единственный раз! Но стоит заговорить об этом — товарищи подозрительно смотрят на меня и начинают утешать. Товарищи понимают. Но понимаю и я: они думают — поднимется в воздух этот невоенный инвалид, а там, как боец, — раз! Одним смертельным ударом врежется в землю.

Неправильно вы думаете, товарищи! Только лишний раз причиняете мне боль. Разве я не знаю, что самолет все-таки стоит дороже, чем старый, чиненый-перечиненый, бесполезный летчик?

Ладно, не давайте мне летать! Но тогда уж летайте сами. Летайте, товарищи, так, как мы летали когда-то — в девятнадцатом, в двадцатом году, будьте такими же бойцами, какими были мы. Потому что еще придется драться — за мосты революции!





**ПРИКАЗ № 325**

**Т**огда мы боролись за Советскую Латвию. В ее освобожденных городах и селах уже занималась заря новой жизни, призывая к восстанию весь мир.

Это была тяжелая борьба, как все битвы во имя революции. Мы уже прошли с боями добрую половину всей Советской Республики. На берегах Волги вместо унылых песен бурлаков звенели новые песни. Мы сражались с казаками, с теми самыми казаками, нагайки которых в 1905 году секли наших отцов. Красные бойцы дрались на подступах к Троицку, сражались на берегах Хопра, и не один стрелок сложил свою буйную голову в степях под Борисоглебском, на укреплениях под Перекопом. Мы сражались, чтобы построить новую Родину!

В нашей роте было много батраков, безземельных крестьян из Алуксне и рижских рабочих. Их мозолистые руки оставили косы на краю кулацкого поля и молоты на заводе «Феникс», чтобы взять винтовку и гранату.

Служил у нас в роте Антон Нейланд, старый стрелок. Он не мог спокойно вспоминать Пулеметную горку, не мог равнодушно говорить о знаменитых рождественских боях. Никто еще не обманывал его так бесстыдно, как те, у этой проклятой горки.

Янис Калнынь пережил неслыханные ужасы в оккупированном англичанами Архангельске. Бежал оттуда. Перенес тиф, от цинги потерял половину зубов и все-таки

остался сильным и бодрым. До войны он работал кузнецом. Товарищи в шутку говорили, что на его широкую грудь можно положить наковальню и выковать обод для колеса.

Служил в нашей роте и Алфред Микелсон. На правой руке у него не хватало двух пальцев: он потерял их во время подавления ярославского мятежа. У него была глубокая рана в левом боку, но об этом никто не знал. Алфред давно мог уйти с военной службы, но ему и в голову не приходила такая мысль.

Нашим командиром был стрелок Фрейманис. Летом 1918 года он принимал участие в ликвидации белогвардейского восстания в Кинешме. Товарищи не раз вспоминали, как при попытке белогвардейцев захватить наш отряд в плен он пулеметной очередью чуть не разрезал на две половинки белогвардейского генерала.

Таких людей в роте было немало. Если рассказывать о подвигах каждого, пришлось бы написать толстую книгу.

Это было горячее время. Мы охраняли мост через Гаюю. Конечно, у каждого из нас был свой дом, невеста и мать, каждый мечтал о встрече с близкими. Но мы были солдатами революции, долг повелевал нам охранять завоевания революции. Мы должны были как зеницу ока беречь этот мост через Гаюю. Ведь по мосту тянулись рельсы, а по рельсам шли поезда с хлебом и гранатами для стрелков, которые сражались на передовой. У нас в тылу коварный враг то и дело взрывал мосты и портил рельсы. Поэтому охрана моста требовала большой бдительности. Наконец пришел долгожданный приказ, и мы отправились на передовую.

Противник активизировался, упорно пытаясь прорваться вперед. В белых отрядах находились латышские и финские белогвардейцы, эстонские отборные роты, остатки русской царской армии. И все они были вооружены заморским оружием, одеты в форму английского образца. А в последние недели стал появляться бронепоезд, чаще всего ночью.

И на этот раз он появился внезапно, в трескучий мороз, когда снег скрипел под ногами, словно растертое в крошку стекло. Стояла такая тишина, что слышно было, как с ветвей сыпался снег. Изредка раздавались отдельные выстрелы.

Бронепоезд шел, давая резкие гудки, и этот пронзительный звук далеко разносился по уснувшим полям. За

бронепоездом следовали неприятельские цепи. Морозная зимняя ночь огласилась выстрелами.

Набирая скорость, бронепоезд оторвался от цепей, следовавших под его прикрытием. Из бронепоезда налево и направо строчили пулеметы, грохотали пушки, и, казалось, не было силы, которая могла бы его остановить.

Противник наткнулся на наши заставы, но продолжал медленно продвигаться вперед. Мы отступили. Бронепоезд прошел глубоко в наш тыл, сея огонь и смерть. Потом он медленно пополз назад. Словно издеваясь над нами — ведьмы были не в силах задержать его, — он коротко свистнул и скрылся за поворотом. Вместе с ним отошли на свои позиции и неприятельские цепи, оставив на снегу кровавые следы. Вслед им прозвучало несколько запоздалых выстрелов, и все стихло.

— Теперь не даст нам покоя этот бронепоезд, — сказал Антон Нейланд на другое утро.

— Да, трудно с ним будет, — согласился Микельсон.

— Ничего, — успокаивал ребят командир роты Фрейманис, — справимся и с такой машиной. Еще и захватим ее!

— Бронепоезд захватить — дело нелегкое, — сказал Янис Калнынь. — Помню, около Рогачева, на польском фронте, когда мы без подкреплений не захотели идти вперед, к нам явился комиссар бронепоезда Берзинь, вы его знаете: он теперь в штабе дивизии. Приехал на станцию, поднялся на паровоз, произнес пламенную речь и укатил как ни в чем не бывало.

— Ха-ха-ха! — дружно рассмеялись стрелки, а Калнынь закончил:

— Так что захватить бронепоезд совсем не так легко.

С тех пор как по ночам начал действовать бронепоезд, фронт ожил. Тревожными стали дни и ночи, все чаще раздавались выстрелы. Стрелки чувствовали, что приближаются новые бои, такие же тяжелые, как ход бронепоезда в морозную ночь.

Бронепоезд не унимался. Часто бывало так: обычный фронтовой день, из трубы занесенного снегом домика на опушке леса идет дым. Он поднимается ввысь и плывет над лесом. А в лесу тихо, только изредка слышится стук топора да треск падающего дерева.

И вдруг с неприятельской стороны показывается бронепоезд. Он идет медленно, словно что-то ищет или прощупывает. Мы знаем, что за ним следуют цепи, и поэтому

настораживаемся. Вскоре с бронепоезда открывают пулеметный и орудийный огонь. Мы отходим в лес, прячемся в густом ельнике. Бронепоезд продолжает двигаться вперед, выпускает несколько снарядов по станции, местечку и снова стремительно несется назад, стреляя во все стороны. Потом он останавливается в нейтральной зоне и стоит там с вызывающим видом. И лишь когда наши батареи открывают огонь и снаряды начинают рваться то тут, то там, бронепоезд лениво отползает назад, продолжая беззаботно выпускать белый дым.

Так проходили дни, недели. Но вот однажды утром на главный путь вышел старый паровоз с двумя товарными вагонами. Машинист долго, усердно разжигал топку, словно собираясь в дальнее путешествие. Паровоз надсадно шипел, пыхтел, будто протестовал против предстоящей дороги. Как слезы гнева, стекали по паровому котлу крупные капли воды. С черным дымом то и дело вздымались вверх яркие искры. На рельсы нельзя было смотреть без жалости: так они пожелтели от ржавчины. Поезда тут ходили редко, и ночную тишину не часто нарушал гудок поезда. Поэтому старый паровоз на рельсах выглядел очень необычно. Его колеса покрылись толстым слоем ржавчины, и не верилось, что они могут быстро побежать по рельсам.

Когда далеко на горизонте показался бронепоезд, паровоз вздрогнул, зашипел, выпустил клуб белого пара и словно нехотя двинулся в сторону противника. Вздروгнули и ожили рельсы. Паровоз шел сначала медленно, как бы с трудом расправляя старые, заржавевшие члены, машина кряхтела, кашляла, набирая силы и скорость. Колеса вращались все быстрее, быстрее и наконец застучали весело, ритмично. Вдруг машинист спрыгнул с паровоза, и тот, быстро набирая скорость, ринулся вперед, будто стараясь кого-то догнать, опередить.

Стрелки видели, как нарастала скорость удаляющегося паровоза. Вскоре он уже мчался по открытому полю, подобно намерстающему время экспрессу. Дым прижимался к белым полям, громыхали товарные вагоны.

В поезде не было ни одного человека. По приказу штаба на паровозе подняли пар и пустили его на полном ходу навстречу бронепоезду. Разбрасывая искры, шипя и фыркая, паровоз быстро приближался к повороту, а там уже дымил бронепоезд белогвардейцев. Паровоз ка-

зался смертельно раненным зверем, который хочет с пользой прожить последние минуты.

Стрелки с тревогой следили за паровозом. Теперь он был совсем близко от бронепоезда. Тот стоял спокойно, как будто ему не было никакого дела до поезда. Или там еще не осознали опасности?

Но вот бронепоезд начал медленно отползать назад. Паровоз мчался с бешеной скоростью и вдруг на полном ходу остановился. Громко застучали вагоны, ударившись друг о друга. Вырвалась вверх струя черного дыма. Еще мгновение — и паровоз с обоими вагонами скатился по откосу железнодорожного полотна. Бронепоезд продолжал спокойно дымить.

— Вот черт! — ругались стрелки, следившие за паровозом. — Неужели беляки успели разобрать рельсы!

В тот момент никому не пришло в голову, что неприятель может быть не только там, впереди, но и здесь, в тылу, что предательство может ползти по болотистым зарослям и жужжать даже в порванных проводах.

Да, кто-то успел вовремя разобрать путь.

Два дня было спокойно. На третий день снова задвигался бронепоезд, опять открыли огонь батареи, застроили пулеметы, слышались взрывы гранат. Так продолжалось еще целую неделю. Стрелки привыкли к бронепоезду, и их уже не пугали его внезапные налеты. Бойцы больше не разбегались во все стороны, как в первые дни появления бронепоезда. Борьба продолжалась.

Но вот пришел приказ приготовиться к атаке. Приказ № 325. Он призывал нас покончить с бронепоездом.

Наша рота заняла район от опушки леса до сарайчика, который спрятался глубоко в снегу. Место было неудачное: довольно открытое, поросшее редким кустарником. С бронепоезда нас хорошо будет видно, но другого выхода не было.

Наступила оттепель, подули теплые ветры, ожили в лесу зеленые ели, хотя до весны было еще далеко. Потеплело. Прислушиваясь к шуму леса, грохоту ружейных выстрелов и пулеметных очередей, мы думали, что скоро и нам предстоит перейти в наступление.

Субботний вечер и ночь прошли спокойно. Мы даже расстегнули ремни, чтобы отдохнули плечи и бока,

намятые тяжелыми патронташами и гранатами. В воскресенье, к полудню, опять показался бронепоезд. На этот раз мы подпустили его совсем близко. Но он, словно жалея боеприпасы, выпустил только два снаряда и начал медленно отползать обратно.

Тут и началась наша атака. К рельсам направилась команда красноармейцев со взрывчаткой. Бойцы были уже в нескольких шагах от насыпи, когда пехота противника заметила их и открыла огонь. Видимо, она поняла, какая угроза нависла над бронепоездом, и поспешила ему на выручку. За командой шла наша рота. Закипел ожесточенный бой.

Бронепоезд двинулся обратно, прибавил ходу, чтобы не попасть в окружение, и продолжал поливать нас пулеметным и ружейным огнем. Наша команда — горсточка отважных смельчаков, приблизившихся к рельсам, — быстро таяла.

Но вот загрохотали пушки нашей батареи. Они стреляли по бронепоезду, однако эти выстрелы были опасны и для нас, если бы мы приблизились к насыпи. Положение становилось серьезным. Мы видели, как за нами спешил Фрейманис без шинели, в солдатской гимнастерке с расстегнутым воротом и шапкой на затылке. Он бежал широкими шагами, то и дело увязая в глубоком снегу.

— Ты что тут стоишь? — крикнул он Микельсону. — Под шальную пулю лезешь?

Микельсон стоял у куста можжевельника и посылал пули в сторону противника, обстреливающего наш правый фланг. Он видел, как ползли по снегу несколько раненых стрелков из команды подрывников. Остальных не было видно.

«Неужели все погибли?» — пронеслось у него в голове. Но тут он увидел, что стрелки встали из канавы и теперь карабкаются вверх, к рельсам. Их было около десяти.

Микельсон застыл от страха за своих товарищей: противник открыл по ним ураганный огонь. Он боялся, что они не успеют ничего сделать и бронепоезд пройдет по их трупам. Минуты казались часами. Микельсон чувствовал, как по лицу его стекают капли пота.

— Ты что уставился? — услышал он голос Нейланда, который барахтался в снегу неподалеку от него. Но Ми-

кельсон продолжал смотреть на насыпь. Он видел, как свалился один стрелок, затем другой. Бронепоезд быстро приближался к тому месту, где находилась команда подрывников.

И вдруг бронепоезд остановился: один из снарядов попал в паровоз.

Раздалось «ура». Цепи бойцов бросились к бронепоезду. Но неприятельские пули и гранаты заставили их залечь в снег.

Микельсон тоже устремился вперед и вместе с товарищами кинулся в сугроб. Хотелось пить. Он жадно хватал губами снег. Стало легче, и он начал стрелять. Но тут Микельсон увидел, что с полотна железной дороги скатились все стрелки. Он не мог понять, сами они свалились или их скосили пули. Но вот на рельсах раздался взрыв, и он радостно воскликнул:

— Нейланд, теперь им некуда деваться!

— Кому некуда деваться?

— Ну тем, на бронепоезде!

Да, теперь бронепоезду не уйти. Подбитый, он стоял на рельсах, как открытая мишень, и яростно отстреливался. Так стреляют люди, оставленные на произвол судьбы и потерявшие последнюю надежду на спасение.

Приближался вечер. На поле боя легли сумерки, смешанные с пороховым дымом. Вероятно, поэтому так быстро стемнело. Густой дым долго не рассеивался. Но и в дыму на снегу ярко алела кровь. То здесь, то там черными точками на снежном поле мелькали неподвижные тела стрелков.

Бой затянулся. Бронепоезд не сдавался и отчаянно метал в разные стороны красные языки пламени. Наступила ночь, и пламя освещало землю далеко вокруг бронепоезда. В этом зареве было отчетливо видно, как время от времени из бронепоезда выскакивали солдаты и тут же падали, сраженные нашими пулями.

Наши пушки успели хорошо пристреляться и снаряд за снарядом направляли по железнодорожному полотну, по бронепоезду, который все еще огрызался. Цепи противника перешли в атаку, но их встретили в штыки и разгромили, заставив отойти с тяжелыми потерями.

Вдруг ночную тьму озарили громадные столбы пламени, и по лесу покатались звуки непрерывных взрывов.



Видимо, один из снарядов попал в вагон с боеприпасами. Долго еще с грохотом и воем взрывались гранаты и снаряды. Отдельные взрывы сливались в один общий грохот, все кругом гудело и стонало. Когда грохот стал наконец затихать, языки пламени еще стремительнее взвились вверх и высоко поднялось громадное зарево пожара, будто извещая весь мир о кострах революции, зажженных на тихих полях Латвии.

Теперь сопротивление белых было бессмысленно. Изредка из бронепоезда еще раздавались отдельные запоздалые выстрелы. Но вот в отблеске пламени заметался на нем белый флаг. Неприятно запахло гарью.

Первым на паровоз бронепоезда прыгнул Яник Калнынь. Перед топкой лежали убитые осколками гранат машинист и какой-то офицер. Калнынь понял: машиниста силой принудили вести этот поезд смерти! Он осмотрел паровоз и увидел, что тот почти не пострадал. Топка еще не успела остыть, и Калнынь начал подбрасывать в нее дрова. Напрягая последние силы, он пытался поднять пар. Скорее, скорее привести паровоз в действие. Ведь теперь он наш!

И вот окрестности огласились громким гудком паровоза, радостным, победоносным. Стрелки были взволнованы до глубины души.

Вскоре бронепоезд двинулся в сторону станции. Но долго еще пламя озаряло ночное небо и огненные языки лизали снег и придорожные кусты. Потом на поле боя наступила тишина. Где-то вдали прогремели последние выстрелы, посланные вдогонку отступавшим белым. Но вот и они смолкли. Наступила тишина.

Утром на станции собралось много народу посмотреть на отнятый у врага бронепоезд. Все смеялись над хвастливыми лозунгами «Смерть большевикам», написанными на вагонах, и дивились невиданным рисункам — черепу с двумя скрещенными костями.

Подойдя к обгоревшим вагонам, люди с содроганием увидели на почерневших платформах, между искривленными стержнями, обуглившиеся трупы, разбросанные в самых диковинных позах. Это были белогвардейцы: оглушенные выстрелами и раненные, они не успели спрыгнуть с поезда и сгорели.

— Господи, страсти какие! — промолвила старуха

в сером платке, утирая глаза. Кто знает, стало ли ей жаль погибших или она вспомнила о сыне, убитом под Борисоглебском. — Неужели же нельзя без этого?

— Нет, нельзя, — ответил ей Антон Нейланд, стоявший у поезда. Он хотел что-то сказать ей, но, вспомнив, что прошлой ночью в бою погиб его лучший друг Алфред Микелсон, промолчал. Потом посмотрел на старую женщину и еще раз твердо сказал: — Нельзя!

## КОЛОКОЛЬНЯ

При форсировании Днепра погибли десятки латышских стрелков. Их сразили белогвардейские пули, и молодые жизни поглотила пучина, пустив по голубой воде красные разводы.

Когда стихли бои, рыбаки выловили в плавнях трупы. Похоронили их на берегу под акациями, вблизи станицы Казацкой. Окрестные жители до сих пор это место зовут «Латышской могилой».

Весной, когда цветет акация и над степью плывет ее медвяный запах, там в лад со звонкими ветрами звучат песни. Поет молодежь, радуясь солнечным утрам, в которых столько бодрости, жизни, веселья. Звенят песни по берегам свободного Днепра, пышно цветет акация на могиле латышских стрелков. А на левом берегу, как раз напротив, стоит монастырь. В нем устроен свиноводческий совхоз «Победа революции». Директором этого хозяйства был недавно назначен бывший латышский стрелок Джек Эйланд.

Еще издали, с палубы парохода, Эйланд приметил монастырскую колокольню, как и прежде гордо возвышавшуюся на крутом берегу, далеко видимую отовсюду. Эйланд люто ненавидел эту колокольню еще с той поры, когда ему пришлось изрядно поторчать на ее верхотуре по соседству с колоколами. Пока шли бои, те хранили молчание. И только когда осколок снаряда или шальная пуля ударялись об их позеленевшие бока, колокола, точно раненные, глухо стонали. И монастырские монахи, словно крысы, затаившиеся в подвалах, испуганно крестились и тарабарили молитвы.

Колокольня была хорошим наблюдательным пунктом. Оттуда просматривалась вся окрестность, чуть ли не до

самого моря. С макушки колокольни как на ладони были видны передвижения противника. С колокольни можно было корректировать огонь артиллерии, беспощадно громившей сосредоточения вражеских войск.

Потому-то колокольня постоянно находилась под обстрелом, независимо от того, в чьих руках она была. Но колокольня, всем на зло, продолжала надменно возвышаться над степью. Она пестрела от выбоин, снаряды дробили ее толстые стены, и все-таки ни перед кем не склонила она головы. И местные жители невольно прониклись благоговением к монастырю, который, казалось, сам бог бережет.

Когда Эйланд приехал в совхоз, он взглянул на колокольню, как на заклятого врага.

Из монастыря давно прогнали монахов, в церкви устроили склад и амбар. В зимнем помещении открыли школу, клуб, в кельях расселились рабочие.

От дождей и ветров ржавели колокола, теперь уже навсегда онемевшие. Не слышно более монашьей тарабарщины, не слышно причитаний о вечном блаженстве. Свиньи ели и пили из мраморных кормушек — приспособили белые надмогильные крышки, под которыми догнивали кости окрестных помещиков и попов. Кресты и памятники со стершимися надписями тоже пошли в дело. Монастырское кладбище постепенно выравнивалось, земля освобождалась от давивших ее камней. И только громада колокольни высилась гордо, надменно и вызывающе, затаив в себе память о вчерашнем дне.

Джек Эйланд получил указания расширить хозяйство. Трест выделял немалые средства на строительные нужды, предлагая необходимые материалы разыскать на месте.

— Но из чего же будем строить свинарники? Из песка не выстроишь. Плавни тоже не подходят, — рассуждали рабочие совхоза, ознакомившись с новым заданием.

«В самом деле, где взять материалы, если в степи последний камень подобран, если в парке каждое дерево на счету», — размышлял Эйланд. Перебрав все возможные варианты, он наконец нашел удивительно простой выход.

В колокольне уйма строительного материала, и торчит она бельмом на глазу, совершенно ненужной. Почему бы

не взорвать ее, не использовать камень в строительстве? Предложение показалось настолько очевидным и естественным, что все подивились, как это раньше никто не додумался.

Уже через несколько дней приступили к сносу. Тем утром Днепр беспокойно катил свои воды, а по затопленным плавням метался низкий порывистый ветер. На берегу угрюмо шумел парк. Ночью прошел дождь, над степью все еще плутали всклокоченные облака, напоминая перепуганных подранков.

Вокруг колокольни собрались чуть ли не все рабочие совхоза. Каждому хотелось посмотреть, как станут крест снимать.

Действительно, добраться до него было не просто. Снаряды раскроили, раскрошили стены, уничтожив целый пролет лестницы, тем самым отрезав путь к верхушке колокольни. До сих пор туда никто не забирался, поскольку это было связано с большим риском.

И вот теперь Эйланд с двумя рабочими пытался залезть на самый верх. Чтобы восстановить путь, проделанный некогда с винтовкой за плечами, пришлось втащить лестницу, привязать ее веревками. Нелегкое дело — как раз в этом месте колокольня была разбита гораздо больше, чем это казалось снизу. Только к полудню удалось подобраться к верхушке колокольни, где крепилось основание креста.

Эйланд надавил головой на тяжелую крышку люка, открывавшего доступ наверх. Как и тем жарким летом, он надеялся увидеть узкие оконца, сквозь которые так хорошо видна окрестность, надеялся услышать свист степного ветра в выемках стен, испещренных пулями.

Но он не увидел ни слуховых оконц, ни окрестностей, не услышал свиста ветра. Глазам его открылась странная картина, совершенно ошеломившая его. Через поперечный брус была переброшена драная истлевшая шинель, а по всему тесному помещению разбросаны кости и тряпье.

Эйланд невольно отпрянул. Ему показалось, что он попал в склеп. Ветер дохнул сухим запахом гнили. Перепуганные галки с громким криком порхнули на волю. Эйланд рывком откинул до отказа крышку люка и взобрался наверх.

— Залезайте, ребята! Быстро! — крикнул он, оглядывая помещения.

Пыль, птичий помет и прочий мусор густо устилали пол. Между потолком и поперечными балками торчали гнезда, свитые из речного тростника и степных былинки. На полу под шинелью были ржавые гильзы и желтые кости. У стены, обращенной к Днепру, лежал череп, на нем истлевшая фуражка, по другую сторону — вконец сгнившие сапоги, из дырявых голенищ торчали кости. Тут же валялся револьвер с двумя нерасстрелянными патронами и наполовину занесенный песком бинокль.

— Батюшки, это что такое? — вырвалось у одного из рабочих. — Да тут, никак, монах за молитвой богу душу отдал.

— Как бы не так, за молитвой... Небось белякам подавал сигналы да скопытился от нашей пули.

Эйланд приподнял шинель. Из нее, как из старого тюфяка, посыпалась труха, за клубилась пыль.

— Не монах это, — проговорил в раздумье Эйланд. — Может быть, даже наш человек.

Не один разведчик в то лето был сражен здесь пулей. Распахнул шинель. Да, внутри были еще какие-то клочья одежды. Все ясно: тут на ветру уже несколько лет иссыхал и тлел человек, останки которого они обнаружили.

Эйланд бросил шинель на пол. И опять взметнулась пыль. Какой-то жук шуршал в проеме окна в ворохе сухих листьев, нанесенных сюда птицами. Вдруг в груди тряпья рабочие заметили полусгнивший ранец. Обычный офицерский ранец. Из него Эйланд достал клочки бумаги, видимо, остатки полевой карты, ее тоже время не щадило. Среди прочих бумаг оказалась небольшая записная книжка в кожаном переплете.

Дрожащими руками Эйланд раскрыл ее. Записи, сделанные чернильным карандашом, местами совершенно выцвели, некоторые страницы начисто размыло, но кое-что можно было разобрать. Эйланд сообразил, что это записная книжка разведчика. Раскрыл первую страницу. В уголке довольно четко было выведено:

Поручик Миронов, лето 1920 года.

Собравшиеся внизу люди кричали от нетерпения. Наверху же крики были едва слышны, будто доносились они

с того берега Днепра. Эйланд сунул записную книжку в карман.

— А ну, ребята, соберите кости и тряпки в мешок. Будет время — похороним. А сейчас давайте-ка за крест приниматься.

Сотни глаз в тот день неотступно следили за небом — там люди собирались опрокинуть колокольню, веками славившую господа бога. Рухнул крест, и по степи пронеслось ликование. Уже через час началась разборка стен.

А вечером, когда поутихли степные ветры и солнце закатилось за багряные облака, когда смолкли разговоры о найденных костях, Эйланд засел в своей комнате и принялся читать заметки поручика Миронова.

-----  
-----  
----- В станице на правом берегу противник. Особой активности не проявляет. Артиллерия в лощине за станицей — — — — —

----- редкая перестрелка. Река укрыта утренним туманом: ничего не видно — — — — —  
----- на монастырь внезапное нападение. Тяжело ранен в ногу. Остаюсь в тылу врага.

Наши отступают в панике, хотя для этого нет оснований. По моим наблюдениям, силы противника незначительны. Продолжают наступать — — — — —  
----- на направлении — — — — —

----- лично мне опасность угрожает теперь главным образом от своих. Пушки бьют по колокольне. Два снаряда как будто угодили в колокола, и они разразились оглушающим звоном.

Подтверждаются штабные данные: именно в этом районе действуют латышские стрелки и кавалерийский полк 52-й дивизии. Известный по желтым козырькам фуражек — — — — —  
-----

Нет сомнений, силы противника незначительны. Район оперативных действий его все время расширяется. А подкреплений не поступает. Внезапным контрударом можно было бы отбросить противника за Днепр, восстановив тем самым прежнее положение.





враг поскорей спугнул эту тишину, нарушаемую лишь всплесками весел и прерывистым дыханием стрелков.

А противник просто-напросто не ожидал стрелков. Первые редкие выстрелы прозвучали, когда стрелки были в двух шагах от берега. Это было нестрашно. Стрелки бросились врукопашную, застигнутый врасплох противник отступал или сдавался в плен. Смяв береговые караулы, стрелки двинулись к монастырю. Приходилось брести через глинистые скользкие ручьи, через поросшие высоким тростником протоки, продираться сквозь густой кустарник, плавни, перелезать через поваленные, с корнями вывороченные деревья. Берег притока Днэпра под монастырскими стенами был затянут колючей проволокой, а брод и мост охраняли пулеметы. Внезапным броском стрелки смяли и эту заставу. Противник, оказавшийся малочисленным, в панике отступил. На своем берегу он, видимо, выставил лишь отдельные сторожевые посты, в задачу которых входило помешать высадке десанта. Основные же силы находились в глубине. Они должны были контратаковать и уничтожить противника, когда будет установлена его численность. Так белогвардейцы поступали и на других участках предполагаемых переправ, причем в одном месте им удалось отбросить отважных десантников. Однако об этом Эйланд узнал значительно позже.

Завязались бои на редкость ожесточенные. Полки стрелков заметно поредели. После кровопролитных июльских сражений один из них был не более прежнего батальона. Белогвардейцы раз в пять превосходили их численностью. И тем не менее стрелки держались стойко, они ведь знали, за что воюют. Кроме того, слева и справа по флангам другие части Красной Армии поддерживали их наступление. Понемногу оно разрасталось и ширилось. Однако все оказалось куда сложнее, чем думали вначале.

Поручик Миронов был прав: в течение трех дней им выдавали всего лишь по ломтю черствого хлеба. Солнце палило нещадно. Песчаные дороги накалились, как жаровни. Над томительно однообразной степью с разбросанными то там, то здесь курганами плыл жаркий воздух. Только на хуторах в тени тополей, абрикосовых деревьев можно было отыскать прохладу и перевести дух.



В монастырском саду собралась толпа. Много красноармейцев. Они так похожи на разбойников с большой дороги: оборванные, босоногие, серые, как земля. Вроде бы митингуют... Кто-то произносит речь, но кто? В воздухе мелькают кулаки... Наседают, грозят. Так... так... Хватайте друг друга за глотки. Грызитесь — — — — —

Этот эпизод Эйланду хорошо запомнился. За него потом укоряли латышских стрелков, хотя и не совсем обоснованно.

Три дня без передышки стрелки провели в боях. Преследуя противника, потом сами отступая, они исходили сотни верст по раскаленной степи. Не смыкая глаз ни днем ни ночью. Эйланд припомнил дерзкую ночную атаку врага. В лунном свете надвигавшаяся цепь казалась черной змеей, она извивалась в дикой злобе, изрыгая свинец и огонь. Цепи стрелков были редки, рассредоточены.

И все же они отразили атаку. Это стоило нечеловеческих усилий. Эйланду редко приходилось видеть что-либо подобное. Степь полыхала вспышками огня, блестили штыки, к небу взлетали фонтаны земли. Стрелки стояли насмерть. Казалось, они зубами вгрызлись в эту землю, которую видели впервые, а кое-кто и в последний раз в своей жизни. Ночь пролетела без единой минуты отдыха. А днем противник перебросил с другого участка свежие подкрепления. И опять пришлось принять бой.

А тут новое несчастье. Одежду и обувь разодрали в клочья в первые же дни. Раскаленный песок обжигал босые ноги, колючки, стерня раздирали их в кровь, которая сразу спекалась, и все тело было сплошь покрыто струпьями и ноющими ранами.

В таком вот состоянии находились стрелки, когда их наконец вывели из-под огня в монастырь, чтобы дать передышку. Все ожидали этой передышки как большого и светлого праздника. Каждый мечтал хотя бы на несколько минут закрыть глаза, забыться, и еще сполоснуть свои пыльные раны в днепровских водах. И тут как раз был получен приказ занять исходные позиции. Пришло сообщение, что бригада на фланге отброшена за Днепр. Многие погибли, утонули. Закрались сомнения, имеет ли смысл и дальше удерживать этот проклятый берег. Уста-

лость была беспредельной. Казалось, в ней, как в глубоком колодце, иссякают и тонут последние силы.

И вот в такую минуту один из агитаторов, прибывших с того берега, воскликнул:

— Так и знайте, что, отказываясь идти в наступление и вместо этого требуя хлеба, вы предаете революцию!

Стрелки пришли в ярость. В воздухе замелькали кулаки, агитатора едва не застрелили. Комиссару насилу удалось успокоить стрелков.

Но потом в строю они долго еще кипятились:

— У самого молоко еще на губах не обсохло, а он учить нас вздумал. Трепло несчастное!

Миронов продолжал свои записи:

Подниматься к окну все труднее. Невероятная усталость и бессилие. Может, пустить себе пулю в лоб? Что за вздор, поручик Миронов! Это же трусость, отступление. Нет, и так слишком долго отступали. От Орла до Перекопа. Довольно! Опять забраться в Крым? Никогда!

-----

К окну уже не полезу. Это стоит ужасных мучений. Силы надо беречь.

В таком случае, что же ты за разведчик? Собираешься дрыхнуть в этом загаженном гнезде, пока красных загонят в Днепр? А если это случится не скоро? Если красных не потопят в днепровских топях?

Проклятая нога!

-----

Потерян счет дням. Ночи кажутся бесконечными. Хотя бы каплю воды! Но, может, они и Днепр испоганили?

Испоганили всю Россию. Топчет ее русский, латыш, китаец, жид, мадьяр, поляк, башкир...

За монастырским парком слышна перестрелка.

Понемногу нарастает. Может, наши перешли в наступление? Давно не слышал я радостного стрекота пулеметов.

Ласкают слух эти шумы битвы, залетающие сюда из внешнего мира...

Это было одно из последних сражений во время тех семи дней, что Эйланд находился на левом берегу.

Цепи залегли совсем близко друг от друга. Белые — в винограднике, стрелки — по ту сторону дороги. Так

близко, что, окопавшись, они перестреливались, переругивались:

— Подлец латыш, куда катишь?

— Задать вам перцу, чертям толстозадым!

Белые открыли бешеную пальбу. Стреляли и, не вставая с места, орали:

— Ур-р-р-а-а! Ур-р-р-а-а!

В атаку все же пойти не решились.

— Ну что, сдрейфили? — кричали стрёлки.

— А куда торопиться, бардаков на том свете нет, — отзывались белые.

На следующее утро, получив подкрепление, белые широким фронтом перешли в наступление. В соседней дивизии был убит командир. Всю степь опять заволокло сизым туманом.

И дальше Джек Эйланд прочитал:

Где-то у Днепра кукует кукушка.

Может, красных уже прогнали?

Не могу подползти к окну.

-----  
Я буду ждать, я знаю, вы придете за мной, мои отважные орлы.

Если только останусь жив, я научу вас, как ненавидеть врага.

В этой колокольне я до тонкостей познал науку ненависти.

А если вы найдете мой труп, — может статься, я не дождусь вас, — так знайте, поручик Миронов задохнулся от ненависти.

Обагрите степь кровью врагов.

На Украине глубокие колодцы. В них можно скинуть целую роту стрелков.

Стройте мосты через Днепр из костей красных.

-----  
Вы еще не пришли?

Значит, вы их не прогнали за Днепр?

И все же я буду ждать вас!

-----  
Мое последнее желание: увезите меня за Днепр в мой тенистый парк. Там фамильное кладбище Мироновых. Похороните меня на том кладбище. Пусть растет, благо-

ухает сирень над моей могилой. Поручик Миронов этого заслужил.

Поручик Миронов простым солдатом дрался под Кро-  
мами в составе офицерской дивизии Дроздова. Под Харь-  
ковым он командовал батальоном, истребившем вражескую  
роту до последнего солдата. В апреле поручик Миронов  
был на валу под Перекопом, и на эту колокольню он взо-  
брался для того, чтоб указать вам путь к Днепру.

-----

Хочу увидеть степь.

Воет ветер. Воет, словно красный волк. Где-то пощел-  
кивают выстрелы.

Нога, как чурбан, синяя, опухшая.

Боль невозможная.

Может, все-таки пулю?

За окном светало, когда Эйланд закончил листать по-  
желтевшие страницы. Дальше невозможно было что-либо  
разобрать. Угадывались отдельные бессвязные слова, но  
общий смысл терялся.

Да, тогда пришлось оставить левобережье, словно про-  
должая неоконченные записи Миронова, вспоминал Эй-  
ланд. Оставили и монастырь. Если бы только наблюда-  
тели знали, что над ними, всего метр-другой повыше,  
сидит белогвардеец, они, конечно, взобрались бы наверх,  
свели с ним счеты.

Покидали монастырь тоже утром.

При всеобщем затишье начали переправу. И вдруг  
заговорила батарея. Артиллеристы, приметив в степи бе-  
ляков, ударили по ним прямой наводкой. Первый же сна-  
ряд угодил в самую гущу, разметав их ряды. Батарея  
долго не смолкала. Противник решил, что красные при-  
готовились к упорной обороне, и потому сосредоточил  
огонь по монастырю. А стрелки со своей батареей уже  
давно находились на правом берегу. Наблюдая, как бе-  
лые атакуют покинутый монастырь, они от души смея-  
лись.

Так прошли эти семь дней. Эйланду, да и другим  
стрелкам казалось, что прошли безрезультатно. Кавале-  
рия Барбовича и офицерская дивизия Маркова на неко-  
торое время отвоевали левобережье. Говорили, неудача

объяснялась неправильной расстановкой, дроблением сил. Как бы то ни было, но это послужило хорошим уроком для будущих сражений, увенчавшихся славными победами.

...На следующий день над степью клубились тучи известки. Разборка колокольни шла полным ходом. В ней находили невзорвавшиеся снаряды, глубоко засевшие в стенах. Камни кладки были громоздкие, тяжелые. Сколько народу гнуло спины, надрывалось, пока строилась эта колокольня. А теперь ее ломали, смеясь.

Революция и не такие колокольни разрушала!

— Ну, так как нам быть с теми костями? — спросил рабочий, кивнув на лежавший в стороне мешок.

— Закопайте прямо тут за свинарником, — равнодушно бросил Эйланд.

— Выходит, не наш был?

— Не наш!

## НА ПОЛПУТИ

По городу плыл запах дыма и гари. Ноябрьский ветер то там, то здесь вздымал густые тучи золы и пепла. Город содрогался, вспоминая ужасающий пожар прошедшей ночи. Сгорели склады, сгорел пристанционный поселок. Сгорели сотни приземистых, бедняцких изб с прокопченными потолками, серыми соломенными крышами. В одной из них сгорели дети, и от горя помутился рассудок матери.

Вот почему над станцией, над эшелоном, над гудящими рельсами, над всем городом плыл этот едкий, разящий и отпугивающий чад.

Кое-где еще клубился дым. Временами даже вспархивали красные языки пламени. Там, где вчера стоял поселок, торчали голые трубы, чернели обезображенные печи, обугленные бревна, обгорелые деревья с опаленными ветвями.

А по городу был расклеен приказ Революционного трибунала:

**Смерть врагам революции!**

**Смерть контрреволюционерам, белогвардейцам!**

За поджог и попытку взорвать прошлой ночью эшелон с оружием сегодня утром расстреляны следующие лица:

1. Анисимов Сергей Петрович, бывший офицер, белогвардеец.

2. Смирнов Григорий Андреевич, кулак, спекулянт, контрреволюционер.

3. Куканов Евлампий, священник, шпион.

Революционный трибунал предупреждает, что рука пролетарской диктатуры безжалостно уничтожит всякого, кто посягнет на власть Советов!

**Да здравствует всемирная революция!**



Студеный ветер голодным волком с воем рыскал по улицам. На вокзале, в соседних бараках дрожали от холода погорельцы — железнодорожники, крестьяне, дети, старики. Их постепенно размещали по квартирам.

Одна за другой колонны стрелков стягивались к станции. Издалека доносилась артиллерийская канонада. Это приближался враг.

Пожар начался вчера незадолго до полуночи, когда город уже понемногу забывался в беспокойном сне. Порывистый ветер расшвыривал искры, горячий пепел перекидывал пламя от избы к избе, от сарая к сараю. Огонь трещал, растекаясь во все стороны. Вскоре с глухим рычанием взметнулись над крышами огненные фонтаны. Они рвались к небесам, плотно прижатым к земле тьмой осенней ночи. Густые скользящие облака озарились алым заревом.

На улицах, по которым на пожар бежали стрелки и перепуганные жители, с каждой минутой становилось светлее... Город окутывал прозрачный, розоватый туман.

Ветер доносил отдаленные раскаты орудий. Звучали они то тише, то громче — будто снаряды рвались уже на окраине. Пламя полыхало, как в раскаленном горне, а среди огней сломя голову носились обезумевшие, на смерть перепуганные люди. В первую очередь каждый стремился спасти самого себя, отдавая огненному вихрю дом, добро, скотину, все самое дорогое...

Сквозь рев бушевавшего пламени слышалось мычание скотины, суматошные выкрики, писк опаленной птицы, скулеж собак.

Все сливалось в невообразимую сумятицу шумов и звуков, и все окрестности гудели от наседавших огненных валов.

Да, ужасная была ночь.

Айгар еще и часу не отстоял на посту. Совсем недавно вокруг была непроглядная ночь. Ветер жалобно завывал в голых ветвях деревьев, раскачивал редкие фонари на станции, разносил дымок из теплушек, где спали стрелки, беженцы и сотрудники эвакуируемых советских учреждений.

Теперь стало светло, как днем. Айгар видел охраняемый им и его товарищами эшелон, растянувшийся по запасному пути среди складов и срубов пристанционного по-

селка. Казалось, избы, сбившись в кучу, испуганно вздрагивают и, томимые недобрым предчувствием, прислушиваются к лютому треску огня. Неужто им тоже суждено сгореть дотла?

Станция битком забита эшелонами: одни застряли при отступлении, другие — направляясь на фронт, с новым пополнением стрелков, красноармейцев с боеприпасами и продовольствием. Все пути заняты. Отойдет один состав, на его место тут же придет другой. Не хватало паровозов, и в беспокойном ожидании на рельсах застыли колеса.

Эшелон, в котором ехал Айгар, должны были отправить еще вчера. В нем винтовки, пулеметы, гранаты и динамит. Стрелки требовали оружия: ломались штыки, прорывая вражеские цепи, вот каким крепким был враг...

Старый маневровый паровозик, выбиваясь из сил, пропыхтел весь вечер, так и не сумев устранить затор. Поэтому-то эшелон с оружием и боеприпасами остался стоять на запасных путях, и теперь на него отовсюду наседали пожары. Айгар спокойно прохаживался вдоль вагона, когда к нему подбежал запыхавшийся комиссар.

— Айгар, — крикнул он с ходу. — Айгар, никого не подпускать к эшелону ближе десяти шагов. Никого! Понял? Стрелять после первого предупреждения...

Айгар кивнул и ответил:

— Слушаюсь. Никого не подпускать ближе десяти шагов.

— На территории эшелона введено чрезвычайное положение, — еще успел бросить комиссар, убегая к станции. Тяжелый кольт у него на боку беспокойно колотился и пошлепывал по коже полушубка.

Комиссар ворвался в кабинет начальника станции и с места в карьер принялся выкрикивать то, что давно накипело в душе:

— Последнее предупреждение. Не отправите эшелон, велю вас арестовать. Понятно?!

И грозно саданул по столу рукояткой револьвера.

Трепыхало дрожащее пламя свечи. Свечное сало округлой лужицей стекало на стол. Кабинет больше освещался светом пожарниц, чем свечи. Из окна было видно, как взлетают снопы жарких искр над ввалившимися крышами.

— Не вы первый, не вы последний собираетесь меня арестовывать, — равнодушно отозвался дежурный. — Ну

что я могу сделать? Все пути забиты. Такой затор... А у меня всего один паровоз... Один хлипкий паровозик.

Потом добавил, словно оправдываясь:

— Разве я здесь хозяин? Теперь комендант любого эшелона царь и бог, распоряжается как хочет.

— Меня это не интересует, — гаркнул в ответ комиссар. — Понятно? Не интересует. Я знаю одно: нужно во что бы то ни стало отправить эшелон. На фронте ждут боеприпасов.

Оглядевшись по сторонам, — не подслушивает ли кто? — он шепотом произнес:

— Огонь подступает к эшелону. А в нем, помимо снарядов, гранат, еще два вагона с динамитом. Понятно? Два вагона... Взлетит на воздух не только станция, а весь ваш городишко...

Дежурный поднял на него воспаленные от бессонницы глаза.

— Что вы сказали?

— Я сказал, от вас и мокрого места не останется, — выпалил комиссар. — Понятно?

В этот момент снова отскочила расхлябанная дверь и в кабинет ворвались два командира, красноармейца.

— Послушайте! — с порога закричал один из них. — Если вы еще хотя бы на минуту задержите наш эшелон, мы вас... расстреляем.

— Да кому нужна моя жизнь? — равнодушно пробормотал дежурный. — Не вы первый, не вы последний собираетесь меня расстрелять. Ну, что я могу сделать... Скажите — что?

— Где начальник станции? — в нетерпении прервал его комиссар. — Это же саботаж, — ругался он, направляясь к двери. — Контрреволюция!

Ветер швырнул в окно горсть горячих искр, они кошачьими когтями царапнули стекло. На перроне стало совсем светло, как будто по ту сторону составов запылали яркие факелы. Все ярче пламенело небо. Оно краснело, раскалялось словно днище висящего над землею котла.

Айгар, стоя на посту, видел, как огонь с грозным ревом подползал все ближе. Он ломился, точно враг, уничтожая на пути все препятствия, одерживая одну победу за другой. Сухими кострами уже запылали ближайшие срубы, и ветер окутал эшелон искрами и дымом.

Айгар наблюдал, как обезумевшие люди волокли из жилища свой скарб — стулья, столы, кровати, перины, валили их в кучу поодаль, надеясь уберечь от огня. Силком тащили со двора тощих коровок, а те жалобно мычали, упираясь, не понимая, что им угрожало. Кругом полнейшая неразбериха.

Неподалеку двое мужиков ползали по соломенной крыше, поливая ее водой. Облитые места дымились от пышащего жара, мгновенно высыхали, и опять загоралась сухая солома, уже в другом месте. Мужички отчаянно боролись с огненными всплесками, но силы были неравные.

С каждым мгновеньем ярость огня возрастала. Казалось, он задумал все испепелить: и крестьянские избы, и ометы соломы, и дворы, и станционные склады, целиком всю станцию с эшелонами, и даже посягал на город. Безжалостен, грозен и ненасытен был огонь. Он громыхал вместе с пушками, вскидывая к небу красные гребешки, переполняя восторгом врагов революции. Голод, холод, тиф, пожары и фронты, бесчисленные фронты единым строем наседали со всех сторон.

— Слушай, Айгар, — обратился к нему стоявший рядом на часах стрелок Яунзем. — Айгар, плохи дела.

— Хорошего мало, ты прав... Вон как полыхает... будто берёста.

В этот момент с глухим треском провалилась крыша соседней школы. Кверху взметнулось облако искр, ветер подхватил их и красными звездочками рассеял в ночи. Они плыли над городом, зароня в души тревогу и беспокойство.

— Да я не об этом, — возразил Яунзем.

Айгар глянул в лицо товарища. В ответах пламени оно показалось ему бледным, перепуганным и растерянным.

— Что с тобой?

— Скорей бы сменили.

— Ишь чего захотел, — проговорил Айгар. — Сейчас все на пожаре. Скорей всего, что нам придется и сверх своего времени постоять.

Помолчав немного, еще добавил:

— Слышал, что комиссар сказал?

— Слышал... Да кто сюда сунется?

— Как это... кто сунется?

— Кому охота раньше времени помирать? — И словно решившись наконец доверить тайну, долго угнетавшую его, он наклонился и негромко забормотал: — Кто ж сюда сунется? Как бы самим на воздух не взлететь. Динамит ведь!

«Чего мелешь», — хотел было ответить Айгар. Но вспомнил, что вагоны в самом деле набиты взрывчаткой, снарядами, гранатами. Мурашки забегали по спине: в один миг он осознал грозившую опасность. А Яунзем продолжал все нить:

— Как только избенки вокруг загорятся, тут нам и крышка вместе с эшелон.

Айгар не слушал его, он и сам все понял: от жары, от искр, от бушующего пламени мог загореться эшелон. Это страшнее любого пожара. А ведь близлежащие избы загорятся... Обязательно загорятся.

— Где комиссар? Чего не перегонят эшелон на другие пути? — произнес он машинально. И тут же вспомнил приказ комиссара. Вспомнил и свое обещание остаться на посту несмотря ни на что. Резко выпрямился и застыл, будто к земле прирос.

— Сходить, что ли, за комиссаром, — снова прозвучал хриплый голос Яунзема.

— Не имеешь права покинуть пост, — отрубил Айгар. — В такой-то момент? Ничего, и без тебя знают, что делать.

Разговор оборвался. Бушевало пламя, и его жуткое рычание отзывалось тревогой в сердце. Неподалеку поднималась белесая завеса.

«А может, правда сбегать разыскать комиссара, — промелькнуло в голове у Айгара. — Может, товарищи не понимают опасности положения. Чего тянут, почему не переместят эшелон? Но комиссар ведь побежал на станцию. Состав с минуты на минуту тронется... Надо быть начеку, только бы не загорелись вагоны, только бы никто не приблизился к эшелону. В нем гранаты, в нем все, что так нужно фронту».

— Кто идет? — громко вскрикнул Айгар, заметив в тусклых сумерках что-то подвижное. Это «что-то» беспокойно мельтешило перед глазами. Казалось, огромная птица машет своими черными крыльями. И вдруг оттуда повалили клубы белого дыма.

— Черт подери, — пробормотал Айгар. — От жары ум за разум заходит. Надо глядеть в оба.

А Яунзем никак не мог успокоиться. Он за войну достаточно понюхал пороха и все-таки никогда не чувствовал себя так скверно, как сейчас. Когда идешь в атаку, надеешься, что останешься жив, прорвешь вражескую цепь, отгонишь противника... Сражался же он с офицерской дивизией Дроздова под Кромами, с полками Маркова, Корнилова. И в бою был не последним, хотя и в первые не рвался. Уж такая у него натура — вперед батьки в пекло не полезет. Но здесь не поле боя, и врага то не видать, а смерть неминуема. Неминуема! До чего же глупо!

Эта мысль, явившаяся так неожиданно, теперь терзала его и мучила. Огненные валы, расцвеченные черно-белыми гребешками дыма, катились все ближе. Даже если эшелон не загорится, раскалятся вагоны, взорвутся снаряды, грохнет динамит. И все — кто стоит на посту, кто суется вокруг горящих изб, вся станция, весь город, весь мир — полетит к чертям.

Яунзему вдруг показалось, что это вот-вот произойдет. Огонь совсем рядом, подножки вагонов, и стены, и крыши уже такие горячие.

— Всех сотрет в порошок...

Яростный ветер насквозь продувал тонкую шинель. А по спине Яунзема градом катился пот. Когда он сдвинул на затылок шапку, от волос, будто из кипящего котла, повалил пар. Дышалось с трудом, не хватало воздуха: воздух тоже сгорал в этом пекле...

И к Яунзему в душу закралась странная мысль, сердце бешено заколотилось, заломило в висках... Хорошо бы смыться... Улетучиться подобно искорке на ветру. Раствориться в ночи...

Чем дальше, тем невыносимей делалось от подобных мыслей. Яунзем отлично понимал, что означает покинуть свой пост, да еще в такую минуту. Ведь это же предательство! И ему стало еще тягостней.

Глянул на пожарище. Пламя разрасталось, грозя проглотить весь мир. Целые созвездия искр взмывали в небо, растворяясь в хмурых облаках.

Проверяя посты, прошел комиссар.

— Чего это, Яунзем, тебя словно в воду опустили? —

спросил он мимоходом. — Скоро нас переведут на другой путь...

Яунзем собирался ответить, что он стоит себе, как стоял, и ничего такого с ним не случилось, но пока он подыскивал слова, комиссар уже скрылся в алых сумерках, где-то в конце эшелона.

И тут загорелись станционные склады. Длинные, обшитые досками строения, доверху заваленные обмундированием.

— Э-э, — от досады крикнул Айгар. — Надо же, сколько одежды сгорит. Опять нагишом придется ходить.

Он повернулся к Яунзему. Но тот не слушал его: оцепенело уставился в просвет между вагонами, дрожал, как осиновый лист.

— Да что с тобой, Яунзем? — не на шутку встревожился Айгар. — Замерз ты, что ли?

Где-то рядом, перекрывая шум пожара, зазвучала заунывная молитва. Айгар с удивлением глянул туда, откуда она доносилась. словно выкрики сумасшедшего, слышались визгливые причитания:

— Господи, помилуй...

Среди моря огня каким-то чудом оставалась нетронутой одна избенка. У порога ее, перед иконами, клали низкие поклоны седой старик и девчушка лет десяти. Они бились лбами о землю, монотонно повторяя:

— Господи, помилуй... господи, помилуй... господи, помилуй...

Им ни до чего не было дела.

И когда подбежал к ним красноармеец с ведром воды, чтоб окатить край кровли, подпаленный залетевшими искрами, седоголовый старец перекрестился и гнусавя прокричал:

— Изыди, сатана!..

И опять послышался фанатический припев:

— Господи, помилуй...

Айгар вспомнил: когда загорелся дом его хозяина Яунзема, хозяйка точно так же заламывала руки и молила господа. Но господь бог остался глух к ее мольбам. То, что спас Айгар, спас хозяин с сыном, молодым Яунземом, то и осталось. А господь бог? Господь не помог.

— Айгар, — снова прервал его размышления Яунзем. Теперь его голос был строг и решителен. — Айгар!

— В чем дело?

— Я не желаю тут дольше оставаться.

— Не болтай ерунды, — отозвался Айгар. — Скоро придет смена.

— Не будет никакой смены, — ответил Яунзем. — Все стрелки у склада. В самом-то деле, сколько нам тут стоять?

— Нужно будет, и до утра простои́м. Заруби это себе на носу.

— Айгар, друг, — прорвало внезапно Яунзема. — Бежим отсюда! Бежим, пока не поздно.

— Ты что, спятил, Яунзем?

— Нет, не спятил, Айгар. Бежим. Все равно куда: в город, в лес, если хочешь — на передовую. Только прочь отсюда... пока эшелон этот в щепки не разнесло...

Айгар пристально глянул на Яунзема. В зареве пожара тот был похож на тифозного больного. В глазах растерянность, страх и отчаяние.

— Куда тебе на передовую, — словно в раздумье проговорил Айгар. — Раз ты здесь спасовал, там и подавно. Там слабаки, брат, не нужны, там с крепкими нервами подавай.

— Да что я, необстрелянный, что ли? А помнишь?..

— Успокойся, Яунзем, не болтай ерунды. Все мы любим чужими руками жар загребать. Но теперь не уйдем с поста, если даже придется взлететь на воздух вместе с эшелоном, — проговорил твердо Айгар и опять принялся вышагивать вдоль вагонов.

В этот момент огонь перекинулся на ближайший склад. Люди, пытавшиеся затушить пламя, казались такими беспомощными, ничтожными перед лицом огненной лавины. Силы их таяли.

Алые языки уже реяли над головами стрелков, огненной аркой пламя смыкалось над эшелоном. Что-то ломалось, трещало, рушилось. Дробинки искр вонзались в шинели и шапки часовых, проникая за шиворот, с шипеньем жалили потное тело. Духота и жара становились невыносимыми.

Когда Айгар повернулся, Яунзема на месте не было. Инстинктивно стиснув винтовку, взгляделся в темноту. Неужели сбежал?

И тут Айгар заметил, кто-то крадучись ползет под



вагоном. Несколько прыжков, и Айгар очутился рядом, пригнулся и замер: это был Яунзем..

— Ты что? — крикнул Айгар.

Из-за колес глянули обезумевшие в страхе глаза, бескровные перекошенные губы что-то лепетали.

Не разобрав того, что говорил ему Яунзем, Айгар еще крепче сжал в руках винтовку, выпрямился и снова крикнул:

— Яунзем, ты что?

Сквозь завывания ветра Айгар расслышал хриплый голос:

— Айгар, не могу... Не могу...

И в тот же миг Айгар увидел, как Яунзем пополз дальше, через рельс. Ствол его винтовки зацепился за колесо. Яунзем пригнулся еще ниже и дернул. Винтовка выпала из рук и звонко ударилась о железо.

В просвете между вагонами Айгар увидел, как Яунзем, согнувшись в три погибели, бежал в темноту, бежал от него, от огня, от эшелона, от смерти.

«Предатель! — пронеслось в голове у Айгара. — Негодяй!»

Яунзем убегал, но Айгару казалось, что к эшелону приближается враг.

«Не подпускать ближе десяти шагов...»

Айгар вскинул винтовку и выстрелил. В трепетном свете пожаров он увидел, как Яунзем подпрыгнул, точно раненый заяц, и, раскинув руки, грохнулся на землю. Над ним заплесало пламя, за клубился дым.

Айгар больше не смотрел в ту сторону, где свалился Яунзем. Он боялся вспомнить те далекие утра, что приходили в сиянии солнца с птичьим щебетом, с запахом цветов. Что, если вдруг глаза затуманятся от дорогих воспоминаний, а пороховые дымы пахнут душистыми лугами, навевая грусть? И потому он не смотрел в ту сторону, где упал и навсегда остался лежать друг его молодости Яунзем.

Вскоре дернулся состав, лязгнули буфера, пришли в движение застоявшиеся колеса, задрожали рельсы. Просвистел паровоз, эшелон поспешно покатыл по направлению к станции.

В городе был вывешен приказ Революционного трибунала. Одна за другой колонны стрелков стягивались

к станции. Издалека доносилась артиллерийская канонада. Это приближался враг.

Айгар с удовлетворением прочитал приговор трибунала. Всю ночь до утра он простоял на посту — пока не дали приказ выступать. И потому он чувствовал себя совершенно разбитым.

Проходя мимо станции, Айгар все же глянул в ту сторону... Но там ничего не было видно. Дрожащими хлопьями опускался снег, укрывая землю пушистым белым саваном.





## ЛАТЫШСКИЙ СТРЕЛОК

**П**етерис Лапинь достал из ранца старенькое мутное зеркальце и бритву в футляре, склеенном из папиросных коробок, и насыпал в щербатую глиняную чашку тонкую мыльную стружку. Пятилетний Пецис уставился на отца широко раскрытыми голубыми глазами.

— Солдат, что это ты делаешь?

Петерис улыбнулся. Это была улыбка фронтовика — смесь грусти, усталости и юмора.

— Щетину скрести собираюсь.

— А где ты ее возьмешь? А вот Алма приносит, когда свиней пасет... а мне не дает. Говорит: у кого есть щетина — тому платье. А как из щетины платье делают?

Отец, смеясь, прижал щеку мальчика к своей.

— Ну, а моя щетина тебе нравится?

— Ай, отпусти, солдат... колется! — Пецис вырвался из отцовских объятий. — Свиная не колется, а твоя — как иголки.

— Ничего, сейчас сбрую...

Мальчонка вздрогнул.

— Нельзя! Увидит хозяйка... выпорот!

— За что она меня выпорот?

Мальчик, озираясь, зашептал:

— Алма говорила... и мамка тоже: «Ты, карапуз, помалкивай. Не то худо нам будет, если хозяйка узнает,

что Алма щетину у свиней щиплет...» — На детском личике промелькнул страх.

Петерис вспомнил свое детство: как хлебнул он горя из-за пятнистого борова. Якобштадтский коробейник Абрам за пучок щетины платил несколько копеек, либо давал карандаши и тетради. Как плакал он, застигнутый на месте преступления хозяйским дедом. Было это в Латвии, а теперь они жили в Белоруссии. Тогдашних хозяев звали Зепниеками, теперешних — Лиепниеками. Петерис горестно улыбнулся: у кого есть щетина — тому платье. На косынку бы надергать — и то ладно...

Вспомнилось, как до войны он, Петерис Лапинь, жил на берегу Сусен и работал кузнецом. Его захудалую кузницу своротил артиллерийский снаряд, жена Алвина с двумя детьми подалась сюда, в Белоруссию, в старую латышскую колонию Видрею. Сам Петерис, залечив рану — память об острове Смерти, вышел из госпиталя и теперь приехал домой на побывку. Уже завтра ехать ему обратно в свой 6-й Тукумский полк. Кто знает, придется ли еще когда-нибудь погладить белокурые головки своих детишек.

Петерис встрепнулся — Пецис, дернув его за рукав, крикнул:

— Солдат... Эй, солдат! Заснул, что ли? Когда щетину скрести будешь?

— Сейчас — раз и готово!

Петерис торопливо взбивал мыльную пену и приговаривал:

— Черт-те что, а не помазок. Истрепался, как наша армия.

Раскрылась дверь — вошла мать. Пецис кинулся к ней словно за помощью.

— Мам, что солдат, шутит?

Заботы и горе мелкими морщинками испещрили когда-то румяное лицо Алвины. Она остановилась на пороге и взглянула на мужа, водившего по лицу бритвой. Вдруг схватила с гвоздя полотенце и подскочила к столу. Осторожно вынула из руки мужа бритву и вытерла с лица полотенцем мыло.

— Что ты делаешь? — Петерис в недоумении широко раскрыл глаза, точно как только что Пецис. — Чего озоруешь?

Алвина перевела дыхание. На рано поблекшем лице расцвела тихая улыбка.

— Я принесла тебе жизнь.

\* \* \*

— Ну, пострел, долго еще будешь тут вертеться? Ступай в поле, к Алме! — сердито крикнула мать.

— Я хочу к солдату... — Пецис потер кулачком глаза.

— Перестань ныть! Березовой каши захотел? — И она пальцем показала на розгу, торчавшую за потолочной балкой.

Петерис мрачно молчал. Все эти годы Алвина, и в стужу и в зной, ночей не досыпала, как львица дралась за детей. Он тут только гость, даже подарка детям не привез, — что ж, приходится теперь держать язык за зубами.

Когда мальчонка был изгнан во двор, Петерис взял шершавую руку жены и пробормотал:

— Зачем обижаешь мальчонку? Я ведь завтра уезжаю...

Жена легонько поворошила ему волосы:

— Господи, у тебя совсем седые виски! В тридцать шесть лет...

Петерис виновато вздохнул:

— В окопах день за год посчитаешь. Так что мне, наверно, уже за двести перевалило.

— Ничего! — В голосе жены зазвучали нежные нотки. — Скоро ты у меня помолодеешь.

— Неужто мирные переговоры начались? — Петерис подался вперед.

— Для тебя война кончилась. Сегодня я ее закончила.

— Не мучай меня! Дай сюда газету!

— Из-за газеты я мальчонку не гнала бы. Хочу поверить тебе тайну.

— Да не тяни же!

— На, закури! Чуть не забыла... — Алвина достала из кармана юбки коробку дешевых папирос «Тары-бары», на которой были изображены охотники. — Папиросы эти мне хозяйка Швортелей для тебя дала.

Такой веселой он свою жену видел разве только, когда они еще женихались.

— Понимаешь, хутор Швортелей на самом отшибе стоит. Кругом кусты да рощи... Мать и две дочери, и ни одного мужика... Хозяин в Бежице, на фабрике, с которой на фронт не берут. Сам знаешь, каково без мужика. Поле еще с грехом пополам засеют. Но разве бабы могут тяжести ворочать? Они тебя как избавителя примут, словно тебя сам бог послал. Сыт и одет будешь, и нам кое-что перепадет. И Пециса туда возьмешь... Авось и мы с Алмой потом к вам переберемся. Опостылело мне тут, у Лиепниевых, как в тюрьме. Старуха хоть и глядит в могилу, а десять раз на дню к нам в комнату приползает. Все досматривает — не испачкали бы беженкины дети углем двери... не испортили бы гвоздями стены... не рубят ли хворост на полу. Чертова бабка! Дома рушатся, города горят, а я за эту дыру никак не расплачусь. Алвина, сегодня нам навоз вывозить... Алвина, грядку прополи... Алвина, выкоси... У Швортелей мы спокойнее проживем, а там и домой вернемся.

— Ах, вот как ты себе представляешь конец войны! — сказал Петерис осипшим голосом.

— Да, — радостно подтвердила жена. — Ты же сам говорил, что солдатам эта бойня осточертела. Тысячами с фронта бегут. Ты только бороду не тронь — она выручит нас. Она у тебя растет, как трава на Янов день. Ты уж и теперь на старика похож, а через недельку-другую — в акkurat как дед-пасечник будешь. А когда вернемся на родную Сусею, я эти лохмы тебе враз ножницами отстригу, а самого, как штуку холста, в щелoke вымочу, сразу помолодеешь, как картинка станешь.

— Как картинка... — пробормотал Петерис.

— У Швортелей тебя никто не тронет. Туда хорошо если раз в месяц нищий забредет. Какой теперь без царя порядок? А сунется кто, тоже не беда — заберешься в рощу и прикорнешь под кустом. Мне говорили, — продолжала она вполголоса, — что с фронта труднее всего удрать, если поездом ехать, через города идти надо, там патрули да казаки документы спрашивают. А ты уже тут, значит, считай, что линь из вирши выскочил.

Петерис встал точно с тяжелой ношей на плечах.

— Скажи, кто мы дома были?

— Как, кто были? — не поняла она. — Ты был кузнецом, я женой твоей была, детей растила.

— А разве ты не ворчала: «Да будь неладна такая жизнь. Люди горя не знают, целыми днями водку пьют да песни поют, а я не придумаю, что детям в миску налить!»

— Ну, ворчала...

— Теперь у твоего мужа в руках винтовка...

— Думаешь, еще десяток немцев убьешь, так тебе с неба клецки посыплются?

— Я же, милая, говорил тебе про семнадцатое мая.

— Хороша сказка, только я через час забыла ее.

— Нет, жена, резолюция Совета латышских стрелков<sup>1</sup> — не сказка.

Алвина кусала губы, в уголках которых змеилась усмешка.

— Все вы, латышские стрелки, такие: точно козлы, ноги в колесо пихаете. Кому польза от того, что в рождественских боях вы это проклятое Тирельское болото своими трупами удобрили? Все равно там пшеница не родится — ни на болоте, ни на Пулеметной горке, ни на острове Смерти.

— Ты права, в окопах пшеница родиться не будет: ни для нас, ни для немцев. Стрелки это уже поняли. Поймут и немцы.

— Фрицы вовек не поймут этого! Пока ты в госпитале был, Ригу сдали. Стрелкам и мертвым покоя нет, их могилы теперь прусские юнкера топчут.

У Петериса на лбу легли морщины.

— Красную Ригу черные генералы предали. Неправда, что немцам не понять, что Вильгельм и юнкера такие же бандиты, как наш сброшенный царь и буржуи. Поймут, милая, поймут! Падет власть паразитов и у нас, и в Германии. Только клочья полетят.

Тихо брякнула дверная ручка — кто-то несмело дернул ее. Алвина распахнула дверь.

В комнату кубарем влетел Пецис.

— Иди, иди! — крикнула она. — Полюбуйся на своего солдата, готов сам вместо ядра в пушку влезть и по немцам выпалить.

Схватив мальчонку за локоть, она подтолкнула его к отцу.

---

<sup>1</sup> Имеется в виду резолюция латышских стрелков от 17 мая (по старому стилю) 1917 г. о власти Советов. — Прим. автора.



— Иди, сынок, покажи солдату свою рубашку, она и для огородного чучела не годится!

— Постыдись, — прошептал Петерис. — Зачем ребенка впутываешь...

— Ах, зачем ребенка впутываю!.. А кто три года кряду детей, как кошка, с места на место таскал! Кто три года сломя голову по людям бегал, чтоб для детей добыть корку хлеба или каплю молока выклянчить? Мать! Кто их три года у своей груди грел, жизнь им сохранил? Мать! А ты в это время что делал? Солдатом был — рубил, колол, стрелял таких же, как сам. А твой сын даже слова «отец» не знает, хоть раз он назвал тебя папкой?

— Будь же разумной! — умолял Петерис. — Ты права!

— И тебе я принесла жизни! — Алвина побагровела. — Так тебе не нравится это...

Мальчуган с перепугу забился под шинель, висевшую на крючке в углу. Петерис шевелил челюстями.

— Ты сказала «жизнь»! Но я не хочу жить только для себя. Мы, стрелки, мы, солдаты, несем жизнь всем народам России.

— Пустые слова, все равно что: «уж ты потерпи, зато на небесах лучше будет...» — Она вдруг обмякла. Так обмякает бегун, усомнившись, хватит ли сил до цели. — Ну и пускай другие несут жизнь народам, а с тебя хватит. У тебя семья. Да и подло это — гнать на войну тех, у кого дети. Пускай молодые, холостые да вдовы дерутся!

Алвинины глаза наполнились слезами.

— И слушать не хочу! — продолжала она. — Где наш Янит, наш последыш. — Она уже рыдала. — Лежит мальчонка в песках у Великих Лук. Сыночек, родной мой, отец и не видал тебя, даже ни разу ты ему не улыбнулся.

На фронте, в начале июня, Петерис во время затишья брался с немецкими солдатами. На ничьей земле он встретился с саксонцем Гансом. Петерис знал десятка два немецких слов. А Ганс, побывав в Курляндии, выучил несколько латышских. Хоть и безъязыкие, они потолковали на славу и расстались довольные. Ганс, уползая к своим, пыхтел самокруткой и бормотал «мир», а Петерис закурил сигарету Ганса и сказал «фриден». Враги поняли друг друга, а вот жене не понять...

На фронте солдат Лапинь был сторожек, как охотник. В разведке улавливал малейший шорох, скрип, треск. Но теперь Петерис ничего не слышал и не видел. Не заметил,

как жена вытащила из-под шинели спрятавшегося там Пециса и поволокла его к столу. Не догадывался он, что вот-вот жена и ребенок упадут перед ним на колени, будут плакать, умолять, колотиться головой об пол.

А в душе Алвины шла борьба. Может быть, еще более тяжелая и болезненная — ведь у нее двое детей на руках. Будь Алвина одна — она всю Россию вдоль и поперек исколесила бы. А теперь она солдатка и привязана к каморке Лиепниеков, где в окно никогда не заглянет луч солнца.

Одно дело в Швортелях, другое — на фронте. Где выход?

Мать отпустила сынишку. Тот уже не прятался за шинелью, а, поднявшись на носки, макал пальчик в щербатую чашку, в опавшую мыльную пену. Сама Алвина навалилась мужу на плечо и снова начала сдавленным, полным горечи и отчаяния голосом:

— Я знаю, Петерис, весь мир воюет, и я вовсе не хочу выставлять напоказ свои слезы, колотить себя в грудь: глядите на меня, сжальтесь над святой мученицей. Но наша семья уже ведь пожертвовала одного на алтарь войны. Не довольно ли? В театрах показывают трагедии... а нам никакие театры не нужны... мы сами играем трагедии...

Петерис молчал. Он даже не шелохнулся.

— Бог ты мой, не будь слепым. Ведь люди с фронта бегут... бегут...

Петерис поднял голову. Его глаза затуманились.

— Это не для всех людей годится...

— Для всех людей... Пушечное мясо вы, а не люди, согнали вас в окопы, как баранов на бойню.

Петерис еще выше вскинул голову.

— Да, мы были баранами. Как тебе объяснить это. Помнишь, когда мы познакомились... как я тогда запынчался. Мы уже целовались, а я толком так ничего и не сумел тебе сказать...

Она хорошо это помнила, помнила милого, неуклюжего медведя!

— Если б подыскала ты мне этих Швортелей еще весною — тогда другое дело. Я бы ни секунды не колебался. Знаешь... — Он покачал головой. — Иногда хотелось в мышь, в крота превратиться. Любой твари я тогда завидовал. Вот тогда я сказал бы тебе: спасибо, избавила меня от фронта. И торчал бы я в запечье вместе с

прусаками и сверчками... Отсиживался бы в погребе с лягушками и жабами. Достал бы костыли и прыгал бы по твоим Швортелям, как воробей. Но теперь не могу... не уговаривай...

Алвина сухо спросила:

— Что тебе дадут эти Советы? Вы решили: всю власть Советам. А где ты видел на свете такую власть? Поналезут в ваши Советы всякие господчики.

— А что такое Советы? — резко ответил Петерис вопросом. — Мы сами! Фабричные рабочие, батраки, ремесленники... Так это мы, по-твоему, в господчиков превратимся? Не говори мне: Лапины навоевались... Если на мир твоими глазами смотреть, то, может, оно и так. Но я из тех, кто понял теперь, как надо громить этих гадов... Трудно мне все это объяснить... Если бы у меня такой гвоздь мудрости...

— Чтоб вогнать мне в голову?

— Если те, что поняли теперь смысл жизни, отступятся и побегут, то к чему мы придем? Неужто мы трусливее и глупее тех, что восстали в пятом году? Послушай, тогда у наших отцов и братьев оружия не было... твой отец с одной косою штурмовал баронский замок. Остановила бы ты отца? Он сам потом сетовал: «Эх, будь у нас по кремневому ружьишку — мы бы баронов этих, как мешки с тряпьем, тряханули». А у нас теперь винтовки, пулеметы, пушки. Так неужто я теперь от оружия откажусь? Нет, не жди этого!..

Алвина молчала. Не говорила ни да, ни нет.

А Пецис спросил:

— Солдат, куда пена девалась?

\* \* \*

Алвина пошла быстрее. Муж сегодня утром собирался на станцию. Накануне он сказал: лучше обожду на станции, ты же знаешь, поезда теперь ходят как попало.

Чем ближе к дому, тем горячее Алвина молит бога: господи, удержи Петериса, удержи... Он у меня такой отчаянный, может и не простившись уйти. Правильно ли она поступила? Не проводив еще мужа, чуть свет побежала к Швортелям. Правильно! Ей все равно сегодня туда идти надо было... Так уж лучше утром это сделать, — быстрее проститься, не так тяжело будет.

Молитвы сменялись проклятиями. Ну и люди эти Швортели. Только из-за них одних другая, новая власть нужна!

Петерис, уже собравшись в дорогу, сидел перед домом на ясеновом чурбаке. Завидев жену, он тихо сказал:

— С Алмой я уже простился, она свиней погнала. Могли бы сегодня за свиньями и старики Лиепниеки при-смотреть.

— Лучше с этими индюками не связываться.

— Пецитис еще спит, не буди... я его поцеловал. Ну, так... — Петерис протянул жене руку.

— Погоди!.. — Алвина убежала в дом.

Петерис забеспокоился. До станции, правда, близко, но если поезд не сразу услышишь, то наперегонки с ним бежать бесполезно. Придется до Витебска добираться товарным, на тормозе. А потом уж думать, как в Новосокольники попасть...

Чего это она в комнате пропадает? Думает задержать его? Он же вчера сказал: ни на час не задержусь. Неизвестно, когда партия призовет повернуть оружие. Дезертиром не стану! Ну, чего она там возится? В дорогу что-нибудь собирает, что ли? Он никакой еды не возьмет... ни яблок, ни сыра. Сами сидят голодные. Пора идти.

— Петерис! — Из дома выбежала Алвина. Волосы у нее растрепались. — Прямо обыскалась я: твой любимый сыночек, наверное, утащил... — Она протянула мужу из пестрых лоскутков кисет. — Только жалко, пустой... Были две пачки махорки... вчера не отыскала, не до того было, а сегодня как сквозь землю провалились.

— Спасибо, Алвина! — Глаза мужа засияли, голос потеплел. — Ты о махорке не жалеяй — это к возвращению.

— Не думай, что я вру... ей-богу, была! Завалялась, должно быть, в тряпье...

В рваной рубашонке на крыльцо выбежал Пецис.

— Где солдат?

— Назови же наконец солдата папкой, — сказал Петерис и подхватил мальчонку на руки.

— Ой, не хочу... Колоться будешь! Ой!.. Где твоя щетина? Мам, смотри: солдат без щетины!

Вдали загудел паровоз. Петерис поцеловал жену и сына.

— Ждите меня с жизнью, с Советской властью! До свидания, Алвина!.. — Он припустился бегом, напрямик

через картофельное поле — к станции. Жена с сыном провожали его взглядом. Солдат споткнулся, упал, опять вскочил на ноги и рысью помчался дальше. Пецис дернул мать за кофту.

— Мам, почему солдат убежал? Я не хочу... Он хороший!

— Сам виноват. — Мать потрепала малыша по щеке. — Называл бы его папкой, он бы остался.

Малыш проворно взобрался на чурбак, на котором недавно сидел Петерис Лапинь, и во все горло закричал:

— Пап-ка-а!

Ему в ответ прогудел подходивший к станции поезд.

## ПОДАРОК

### 1

Старики Винтеры ждут сына домой. На заклятие обречены две курицы и боров, до того разжиревший, что его едва ноги несут. Новая метла разорила в доме все паутиные царства. И все ж, почему-то не светятся радостью стариковские глаза и лица.

— Говори что хочешь, Лизе, а я нынче ночью пойду!

Натруженными руками жена хватается за голову: в висках звенит кровь.

— Юрис, да кому это нужно? Сколько всего натерпелась. Не хочу больше бессонных ночей...

Старый Винтер повернулся к окну. В кротких лучах солнца он похож на великана. Седые пряди в русской бороде будто подчеркивают нерушимость его стариковского слова.

— Видишь, Лизе, за ржаным полем пригорочек?

— Тот, где у нас всегда была хорошая картошка?

— Он самый. И разве ж не грех отнять его у нашего сына?

Бесшумной поступью подходит жена к великану. Солнце обратило на нее свой взор, и вспыхнули в глазах женщины радужные слезинки.

— Юрис, разве не жаль мне того пригорка? Почитай два года пни сосновые там корчевали. С той поры и ревматизм в костях засел.

— Так чего тогда ворчишь? Как проклятые на холоде мерзли, в жару потом обливались. Чтоб я теперь отступился, чужакам свою землю отдал? Не бывать тому!

Поначалу солнце пыталось осушить слезы женщины, но вскоре, утомившись, махнуло рукой и скрылось за тучами.

— Юрис, да в своем ли ты уме! Как бы все опять боком не вышло, как тогда, три года назад...

— Не бойся, на сей раз чин чином все обделаю, уж поверь мне! И хороший будет подарочек сыну.

Петер Винтер вскакивает с места, прижимается лицом к вагонному окну, опять садится и снова вскакивает. Поезд делает остановки на тех самых станциях, что и три года назад. И тянется он так медленно, будто везет дорогой фарфор. Вот промелькнул за окном последний семафор.

После заливистого свиста поезд начинает притормаживать. В лицо Петеру пахнуло странным теплом: слезай, парень, вот ты и приехал! Без тебя покатит по республике этот медлительный поезд.

Широким шагом выходит он на большак. Остановился. Здравствуй, родная земля, здравствуй, синий бор! После трех лет разлуки возвратился к вам демобилизованный красноармеец. Не забыли его?

Петер считает шаги. Но с такой неспешностью плывет навстречу еловая просека, понемногу уже кутаясь в серые сумерки. Когда путник пересек журчащий ручей, почудилось ему, будто над серым сумраком вскинулось трепетное зарево. И опять остановился парень: нет, никто из вас Петера не забыл, никто, никто! Той истории, в которую он тогда по глупости влип, конечно, со счетов не сбросить. Но вы уж не сердитесь: теперь он совсем другой!

То-то три года назад звезды, с высоты своей озирая земной шарик, диву давались: и чего это парень, сидя у амбара, что ни вечер себе ногу колет иглой? Минула неделя — хромает парень, словно худо подкованный жеребец.

А потом пришло утро, и оба — отец с сыном — едут в город.

— Не хнычь, Петер, потерпи маленько! Ручаюсь тебе: таким тебя на службу не возьмут. Смотри только лишнего не сболтни, коли доктора пытаться начнут! Бей себя в грудь: откуда мне, мол, знать, где подцепил эту хворость?

— Ох, отец, знал бы ты, как болит! Хотя сейчас готов в солдаты пойти, только б нога зажила.

— Тьфу ты, черт! Не мужик ты, а старая баба! День-другой не можешь потерпеть.

Докторские «пытки» оказались сильнее Петера. Долго он мучился. Мучился и когда операцию делали, и когда свой срок в тюрьме отбывал. Впрочем, разве в тюрьме он мучился? Скорей учился уму-разуму. Хорошо, что ели закутались в сумрак. Не увидят, как краснеет Петер, как убыстряет шаг, будто пытаюсь убежать от клубка воспоминаний, который катится да катится следом!..

А ну их — воспоминания! Подумаем лучше о настоящем. Интересно, как теперь выглядит их Эглайне! Отец в письмах все плакался: поселковый Совет отрезал-де для школы две десятины лучшей земли Винтеров — это там, на пригорке. Потому как на весь поселок семья их самая малочисленная. А про то не подумали, что у Петера может народиться дюжина ребятишек. И надо же, такая несуразность: и его, отца, заставили лес возить на строительство школы. В прошлом году писал: вот вернешься домой, будем жаловаться, мы этого, сынок, так не оставим, до самого Калинина дойдем, в обиду себя не дадим!

Демобилизованный красноармеец про себя усмехается. Вот и хорошо, что школа рядом! Зимой вечерами будет ходить на занятия.

Петер снова прибавил шаг. Эх, батя, эх, Юрис Винтер, ворчун неисправимый — годы идут, земля вертится, скоро и ты на жизнь взглянешь иными глазами, когда сын возьмется за твое перевоспитание. Пиявкой присосался ты к своим суждениям: это мое, и это мое, и добро мое должно прибавляться, хоть сам весь согнусь от работы, хоть ладони будут все в мозолях. Но как из творога отжимают сыворотку, так и сын из отца отожмет дух этот собственнический. Вспомни, ведь ты когда-то Курземе батраком покинул...

Расступился бор, и глянула полоска света. Еще несколько метров, и пойдет он по родным полям.

Позади эти несколько метров. И застыл парень на месте, будто в камень превратился.

Север полыхает ярким пламенем. Да ведь там... там же дом его!

Петер бросился бежать. Но не очень-то разбежишься, ноги от усталости отнимаются, мешок плечо режет. Но он все-таки бежит, догоняет кого-то у верстового столба.

— Это что горит? Никак, Винтеров дом?

— Нет... школа наша новая.



Уж заря за окнами засветила яркую лампаду, когда в дом свой входит Петер с перепачканным лицом, с перепачканными руками, ни дать ни взять кочегар с паровоза. Сам-то старик приплелся загодя, вынесенный курам приговор приведен в исполнение, мать позвякивает в комнате ножами, вилками.

— Петер, сынок... — его шею обвивают старческие руки.

Но Петер еще сам не свой, не терпит к нему поскорей умыться, сменить рубаху и снова пуститься в путь, тут ведь каждая минута дорога.

— Куда ж ты? — Старики недоуменно глядят на долгожданного пришельца.

— Запрягай скорей, отец, лошады! Скорей в город за ищейкой, за милицией! Будь я проклят, если мы не изловим этого мерзавца, поджигателя!

Тихо в комнате — будто в чаше непролазной, будто в глубоком колодце. Только в кухне шипит жаркое на сковородке.

— Рехнулся ты, что ли, Петер, что нам школа, наше дело сторона! Да пропади она пропадом, — мы ведь землю свою обратно получим!

Сын уже скинул с себя рубаху, разыскал мыло.

— Ай, батя, гляжу, постарел ты, а ума ничуть не прибавилось. Ну, да ладно, поторапливайся, я обещал учителю без задержки в город отправиться.

— И думаешь, ищейка тебе правду скажет?

— Обязательно. Мы нашли лучинку, смоченную в керосине... Дадим собаке понюхать — и поджигатель у нас в руках!

За окном восток полыхает — новый день идет. Идет день, заглядывает в окна, в глаза заглядывает. И каменеет сын, увидев лица родителей: и все сразу стало ему ясно.

— Отец, это ты... ты поджёг?

На кухне, как и прежде, шипит жаркое на сковородке: пора, пора бы за стол садиться.

Дельная школа, строгая школа — Красная Армия — закалила разум. Только в сердце еще переплавить в топке борьбы. Потому-то пальцы Петера раз уже тридцать, а то

и пятьдесят застегивали и опять расстегивали пуговики гимнастерки. Бросает парня то в холод, то в жар, а во рту такой гадкий привкус...

Словно пушинку, отец поднял мать на руки, уложил в постель. И, прикрыв теплым платком, приговаривает:

— Не кручинься, мать, не убивайся! Не первый раз и не последний, когда дети родителей ногами топчут. Ты ведь помнишь — как-то сын наш целый месяц в горячке бредил. Ночи напролет у постели его просиживала, припарки да примочки делала. Вот за это он нас обоих на старости лет в тюрьму упрячет...

Душа у Петра в огне горит. Жизнь такая путаная, как тропки в чащобах: по какой пойти? А идти-то надо, на месте не останешься — в трясине увязнешь.

— Да, жена, хотели мы подарок сыну сделать, горьким потом доставшийся нам подарок. Кости наши ревматизм разъел; от работы пальцы скрючились, а мы все терпели, себя тешили: сыну легче будет, сыну поля тучные после нас достанутся.

Но Петер строго отвечает:

— Не болтай ерунды, отец! Ты весь поселок солнца лишил, чтоб одного человека озолотить.

Петер уж и фуражку надел, вещевого мешок в руке. Жалость разбирает, да нельзя жалеть. В солнечный чертог хотелось бы увести этих людей, что бессчетные ночи у твоей колыбели, у постели твоей без сна провели, но ничего не поделаешь, вместо этого придется отправить их в тюрьму. Так того требует жизнь, неумолимая, строгая.

Захлопнулась за сыном дверь. Жаркое на сковородке давным-давно остыло. И тогда из комнаты донесся долгий душераздирающий крик...

Жалко, мама, ой, как жалко, но нельзя нам жалеть!





Эрнест Клуcайс-Эфeрт

[1889—1927]

## ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ ОТРЯД<sup>1</sup>

**Г**ляди, вон и Мунамяги, — указал Ешка на север, шагая за санями.

Действительно, там уже была граница белой Эстонии.

— А видали бы вы, как оттуда ракеты ночью пускали! Словно от северного сияния все покраснело! — сказал стрелок Криш, который ночью стоял на посту около саней с продовольствием.

— Верст десять — двенадцать будет дотуда, не больше, — заметил Ешка.

— Да вон за тем лесочком уже эстонская волость. Мы на самой границе, — прибавил молодой Уга, зябко кутаясь в рваный зипунишко.

...Два дня назад продовольственный отряд выехал из уездного центра Вишни в пограничный район, чтобы собрать продовольствие для стрелков.

В него вошли начальник продовольственного отдела уезда и председатель партийного комитета Ешка Дзилна, трое стрелков, только что вышедшие из госпиталя, и Уга, молодой рабочий паровой прядильни Шульца — единственной «фабрики» в Вишнях.

Ешка надеялся обернуться за один день и поздно вечером вернуться домой. Но это не удалось. Февральский

<sup>1</sup> Орывок из повести «Пограничный район». — Ред.

день догорел быстро. Вечер подкрался незаметно и, как скряга-хозяин, запер небосвод тяжелыми воротами. А в темноте какая работа! Богатые хозяева не встречали отряд с распростертыми объятиями, особенно здесь, на границе. Отдавать продовольствие добровольно почти никто не соглашался. Разве что какой-нибудь середняк. Но что с него возьмешь? Кроме кур, у середняков ничего не было.

Кое-где им приходилось осматривать чуть ли не каждый стог сена, заглядывать в каждую щель в полу.

— Идите сами и берите! Сила-то на вашей стороне, — ядовито замечал толстый кулак и обязательно поворачивался в сторону Мунамяги.

Вчера ночью, после ракетной иллюминации, белофинны атаковали Вишни. Ешка узнал об этом от знакомого исполщика, связанного с кулаками пограничного района. А сегодня можно ожидать выступления белофиннов с другой стороны. Сигнал — ракета... Да, задерживаться здесь нельзя. Взлетит ракета — полетит весть от дома к дому. И тогда плохо придется маленькому продовольственному отряду во главе с самим председателем районного комитета. Кулаки не простят ему того, что он изучил хозяйское добро до последнего бревна в доме, до последней щели, в которую они пытались спрятать продукты от его зорких глаз.

Когда Ешка входил в кулацкий дом и требовал ключи от клетки, в глазах хозяина, хозяйки и всей родни загорался недобрый огонек. Кулак семенил во двор и жадно ловил каждый звук со стороны озера Вишни. Не несется ли из Вишней церковный звон? Не ворвались ли финны в городишко? Тогда конец советскому обозу. Не добраться ему до тайных запасов.

Наступил вечер второго дня. Колокольного звона из Вишней не было слышно, но стрельба приблизилась. До ночи во что бы то ни стало нужно вернуться домой. Иначе вообще не вернешься.

Солнце еще высоко, и неплохо бы подбросить в сани еще по мешку. По большаку ехать легко — хоть целый вагон грузи.

На опушке недалеко от большака стоял крепкий кулацкий дом, словно от собственной тяжести глубоко ушедший в снег. Это был самый глухой пограничный уголок — сюда за все время Советской власти никто еще не добирался.

— Заедем, поглядим, чем здесь пахнет, — сказал Ешка.

— Везде хочешь успеть! — отозвался один из стрелков. — Ведь второй день ездим.

— Ну, солнце еще выйдет. Будем надеяться, этот отдаст без хитростей. В сумерки выедем и через два часа доберемся по большаку до Вишней. Если белые туда еще не вошли, за один час не войдут! — заметил Уга.

— Да что там рассуждать! — рассердился Криш. — Кому война — воевать должен, у кого еда — кормить должен. Заворачивай, и все тут.

Лошади свернули с дороги. Снег почти не утоптан, и лошади двигались с трудом. Люди шли рядом с санями.

В доме давно заметили обоз. В поблескивающем на солнце окне показались круглые, словно подсолнухи, лица.

На дорогу выскочил большой откормленный пес и залаял медленно и веско: «В нашем-доме-хлеба нет. Нет-нет-нет!» А сам нехотя отступал во двор.

Вдруг откуда ни возьмись выскочила крохотная собачонка, видно, пастушья. Дрожа от холода, она протявкала тоненьким голоском: «Есть-есть-есть-есть, есть-есть-есть!»

Все невольно засмеялись:

— Знаем, знаем, иначе не стал бы хозяин такого фараона держать!

В дверях показался и сам хозяин — в валенках, в вязаной коричневой фуфайке, заячьей ушанке, сдвинутой на лоб.

— Что, гости дорогие, верно, с дороги сбились?

— Нет, завернули сюда по дороге на большак.

— Вон он, большак-то. Видите, три столбика на краю дороги, — охотно пояснил хозяин.

Стрелки ответили, что знают, мол, потом туда и двинутся. А пока хотят погреться и кое-что раздобыть. Они из вишнинского продовольственного отдела.

— А, сам начальник продовольственного отдела Дзилна! Бывали в нашей стороне?

Нет, в этом году Ешка здесь не бывал и потому хотел бы проверить продовольственные нормы.

— Да у меня и нормы-то нет. Видите, сколько едоков? Полон дом.

— Чего там разговаривать! — не выдержал Криш. — Покажите, тогда поверим. Такой уж у нас порядок.

— Как же, как же. Вот ключи, идите в клеть.

— Нам некогда, — внушительно заявил Ешка.

— Да я ж вам говорю.

Но Ешка и Криш не отступали. Вместе с хозяином они вошли в дом.

Остальные остались у лошадей. Каждый невольно нащупал сквозь дырявый карман пальто револьвер, пристегнутый к поясу.

Дом у самого леса и на самой границе. А они даже не проверили, нет ли следов из лесу к дому. Так и в западню попасть проще простого.

Время тянулось медленно, и стрелкам казалось, что Ешка и Криш слишком долго задерживаются в доме. Что им там нужно? Взяли бы ключи — и в клеть. Продовольственные книги и там можно полистать.

Лошади тоже заскучили: переминаясь с ноги на ногу, они тоскливо грызли удила. У Уги в кармане немного овса: когда насыпал лошадям, сунул в зипун несколько горстей. Он пошарил по карманам, выгреб зерно и дал своему гнедому. Тот аккуратно собрал овес с руки и жевал долго, как лакомство, изредка сплевывая шелуху. Потом снова начал тыкаться в руки теплой мордой.

«Нет, надо пойти посмотреть». Уга крепко сжал револьвер в кармане зипунишки. Осторожность никогда не мешает. Главное — первому увидеть, не прячется ли где противник. Этому учил его Ешка, а он старый партизан.

В сенях было темно, как в печке, и он не знал, куда повернуться. Прислушался, но, кроме торопливого стука своего сердца, ничего не услышал. Наконец он заметил полоску света, проникшего сквозь тонкую щель, нащупал дверь. Она распахнулась с неожиданной легкостью, и Уга очутился на батрацкой половине.

У стены стоял верстак, на котором расположился парень лет тридцати, обросший жесткой щетиной, в одной рубаше. Он, вероятно, только что работал: волосы у него прилипли ко лбу, на домотканых штанах висели стружки.

Он протянул Уге руку и сразу заговорил:

— Я вас с Дзилной сразу признал, только вы с дороги свернули. В позапрошлом воскресенье видел вас на собрании.

Теперь и Уга вспомнил, что как будто видел его на собрании безземельных крестьян. Помолчали. Из комнат доносились голоса домочадцев и Ешки с Кришем.

У низкого оконца, выходившего на запад, стоял огромный ткацкий станок, забытый и брошенный, — только

паук ткал на нем свою паутину. Лучи заходящего солнца пронизывали своими красными стрелами черные деревянные столбики, падали на выщербленный кирпичный пол, разделяя его на яркие, кроваво-красные полосы. Так же пестры и беспокойны сегодня мысли батрака Алексиса.

Где-то тикали часы, медленно, неровно, словно прихрамывая. Сколько может быть сейчас времени? Уга посмотрел по сторонам — нет часов. Наконец он понял: на длинной жерди под низким потолком висели промокшие попоны; стекая с них, капли воды ударялись о кирпичный пол, и казалось, будто тикают старые ходики. В выбоинах кирпичного пола собралась черная жижа. А дальше расположился, казалось, средневековый лекарь со своей аптекой. Огромная печь, занимающая почти треть комнаты, растрескавшаяся и закопченная, еле сдерживала в своем нутре кипение и клокотание каких-то чудодейственных снадобий. А по ее щелям взад и вперед сновали тараканы, не верившие ни в какие чудеса, их спокойно склевывала курица, — вероятно, она каждое утро где-нибудь в укромном местечке несла по сказочному золотому яичку. На лежанке была сложена груда мисок, стеклянной посуды и всевозможных банок и склянок. А немного повыше, на веревке вокруг печи, висели рукавицы с оттопыренными указательными пальцами, передники, носки, нижние юбки и другая одежда. В чанах что-то мокло, издавая невыносимое зловоние. Высоко под потолком висела пара кирзовых сапог, надеваемых, вероятно, только по праздникам; целый гербарий различных трав — от полыни до ромашки; огромные желтые гроздья лука, свисавшие чуть не до пола; распятые на палочках телячьи шкурки. Пять-шесть бычьих пузырей воздушными шарами взлетели к самому потолку. И все издавало запахи, немыслимые даже в деревенской аптеке.

— Вот так хозяин у нас! — не выдержал наконец Алексис, все время прислушивавшийся к разговору кулака с Ешкой. — Нет, говорит, ничего. Так-таки и нет ничего у богатого Межмалиетиса! Кто ж этому поверит? Да уж сам-то он ничего не отдаст, грязи из-под ногтей пожалеет!

Все эти дни, пока огонь красных и белых не скрестился в этом глухом уголке, Алексис о чем-то сосредоточенно думал, одинокий, забитый, на вонючей батрацкой половине. Не с кем было поделиться. И вот, встретившись с Угой, он разговорился.



— Ладишь с хозяином? — спросил Уга.

— Мне-то что — я здесь сезонный, живу, как птица на ветке, — ответил Алексис. — Хозяин давно бы уж прогнал, да зимой красные пришли, испугался. Теперь работаю за еду, меня кормят впроголодь, а я кормлю хозяйских блох и тараканов. Сегодня ночью тут ожидаются эстонцы. А меня бунтовщиком объявили: как же, с хозяином поссорился, по собраниям бегаю, младший брат в Красной Армии. Ни один хозяин не держит зимой батраков. Куда же им деваться? Вот и идут в леса.

У Алексиса путались мысли. Чтобы привести их в порядок, он произнес запомнившиеся ему слова из Коммунистического манифеста, который он слышал на одном собрании, а потом снова заговорил своими словами:

— К вечеру я уйду, пусть сами встречают своих белых. Как только увидел вас, сразу решил — пойду с вами. Правильно?

— Что ж ты так долго раздумывал? Другие уж давно ушли, — сказал Уга.

Алексис словно не слышал. Накинув пиджак, он продолжал:

— Хорошо еще, что вы сейчас заехали сюда, а то попали бы в лапы к белым. Как ты считаешь, ведь несправедливо же, чтобы наша армия умирала с голоду, батраки работали день и ночь, а хозяин твердил и твердил бы: «Нет ничего! Нет ничего!»

— Само собой, это несправедливо, — не задумываясь, подтвердил Уга.

Ешка и Крыш вышли во двор, а хозяин, размахивая руками, показывал им на клеть.

Уга тоже шагнул к двери.

— А ты, брат, собирайся, если надумал, — на ходу бросил он Алексису.

— Да и вы не задерживайтесь, а то поздно будет, — сказал Алексис. — В клетки ничего не найдете, одни семена. Все попрято, а где — не знаю.

Они вышли в темные сени, дверь с шумом захлопнулась за ними.

Хлопнула вторая дверь. Уга поспешил к саням. Алексис постоял в дверях, припоминая события прошедших дней. Потом провел рукой по лицу.

Значит, это позади. Теперь уже ничего не изменишь... Тайник обнаружат, и хозяин быстро смекнет, кто винов-

ник. И тогда его не только выгонят на мороз, но и вздернут, пожалуй. Алексис стал взбираться по лестнице на чердак. Под его тяжелыми шагами потолок задрожал, бычьи пузыри закачались, словно собираясь улететь, а из связок лука посыпались луковицы.

Выходя из дому, он столкнулся в дверях с хозяйкой. Она с удивлением посмотрела на Алексиса, нарядившегося, как на праздник, — кирзовые сапоги, полушубок, ушанка, в руках узелок.

— Ухожу я. А здесь только одежда — пока у вас работал, порвалась, — сказал он и потряс узелком.

Хозяйка что-то умильно забормотала, но Алексис не слушал ее.

Он вышел из дому и зашагал по заснеженной аллее к большаку.

В клети действительно не было никаких припасов. Не хватало даже до нормы.

Хозяин не из бедных, земля здесь хорошая, значит, хлеб должен быть — это Ешка отлично понимал. Но чтобы найти его, надо время. Одних стогов сена не меньше трех, гумно, ток, хлеб, огромные кучи хвороста... Хозяин нарочно медлил, ждал наступления темноты: тогда волея-неволей пришлось бы ограничиться осмотром клети. Поглаживая бороду, он словно скрывал под ней хитрую усмешку: руки, мол, у вас короткие.

Действительно, что делать? Солнце уже над самыми верхушками деревьев. Перерывать все кучи хвороста, стога, чердаки и хлев немислимо.

— Может, на ночь останемся? — спросил Криш.

— Это как вам угодно! На конюшне лошадям места хватит, — с готовностью ответил хозяин.

— Не нужна нам твоя конюшня! — проворчал Ешка.

Что же делать? Хозяин не сознается. Добрый, услужливый, но хлеба у него не выпросишь. А руки о него марать никому не хочется.

— Ну что, нет так нет, — сказал наконец Уга. — Раз не показываешь, где припрятал, будем искать сами! Но тогда уж жалости не жди. Что найдем — все наше.

— Ваше дело. Ищите, если не верите, — с фальшивым смирением произнес хозяин, но глаза у него блеснули хитровой усмешкой.

— Начнем по порядку: гумно, хлев, стога соломы.

Стрелки устали. Не к добру, видно, заехали они в этот

дом. Но и уезжать посрамленными, не солоно хлебавши, не хотелось. Вдруг что-нибудь удастся обнаружить?

На гумне было пусто. Ткнули в кучу соломы, что лежала в углу, в мякину. А дальше голый потолок, стены. Здесь нечего было задерживаться.

Когда ворота уже закрыли и товарищи поспешили дальше, Уга наткнулся на сметенные в кучу высевки под низкими задворками. Проходя мимо, он нагнулся и пошарил рукой. Нашупал угол мешка:

— Эй, ребята, тут что-то есть!

Уга и Криш принялись разгребать высевки. Восемь мешков, набитых доверху. Когда Ешка развязал один из них, на руку полилось тяжелое золотое зерно. Пшеница!

Хозяин стоял в стороне, не зная что делать. Но никому не хотелось смотреть на него. Ешка что-то написал, вынул из кармана печать, подышал на нее и прихлопнул. Потом молча сунул хозяину в руки. И сани, груженные мешками, поскрипывая, выехали за ворота.

А хозяин бросился в комнату:

— Ну, Лексис, теперь ты у меня попляшешь.

А Лексис уже дожидался обоза на дороге.

Солнце село, на поля опустились сумерки. С хутора доносился лай собак.

Выстрелы становились все слышней, видимо, за последние два дня фронт придвинулся. А дорога шла в сторону фронта. Легко можно было оказаться в тылу у белых или натолкнуться на их посты.

Но сворачивать с большака не хотелось. Дорога ровная, как стол, под гору лошади еле удерживали стремительно катившиеся сани. Через два часа должны быть Вишни. А если свернешь с тяжело нагруженными санями на занесенные снегом проселочные дороги — лошадей уморишь, а то и крепко застрянешь.

Ешка придержал лошадей и окликнул остальных. Нужно вместе решать, как быть дальше.

Вышел месяц. Большак сверкал, как замерзшая речка, под полозьями громко поскрипывал снег. Дорога шла по пустынному месту: ни пригорка, ни кустика, ни домика. Любую тень заметишь издалека, так что незаметно напасть на отряд невозможно. Скорее бы до наступления полной темноты проехать эту равнину. Прежде чем въехать в лес, надо дать передохнуть лошадям, чтобы в случае нападения они могли вывезти. А за лесом на несколько верст тянется

равнина, дальше видны сосны русского кладбища. За ними же до Вишней рукой подать, версты две-три, не больше. Так думал Ешка.

Криш, бывалый солдат, предложил другую тактику. Он считал, что теперь нужно ехать медленно, сберегая силы лошадей, а потом на рысях проскочить лес.

Уга и Алексис не согласились с ним. По их мнению, нестись вскачь через лес, не глядя по сторонам, значит, поддаться панике. До сих пор ничего опасного не случилось. На равнине же, хоть и быстро понесешься, в западню не попадешь. А в лесу, если будешь медленно продвигаться и внимательно вглядываться вперед, можно вовремя избежать опасности. Нестись же вскачь, как предлагает Криш, значит, по их мнению, идти навстречу собственной гибели. Ешка с детства знает здесь каждую сосну — недаром пастухом сколько лет проходил, да и в партизанах многому научился. Разумеется, он должен взять на себя роль проводника.

План Ешки казался более обдуманым. Это понимали и стрелки. Уга и Алексис доверяли его опыту. Так и решили.

Ешка уселся в сани, запряженные лучшей лошадей, и поехал вперед. Рядом с собой он положил винтовку, передал вожжи Алексису, а сам стал наблюдать.

Если он крикнет: «Гоп!» — все должны пустить лошадей рысью. Это значило, что можно проскочить опасное место.

Если Ешка крикнет: «Стоп!» — следовало придержать лошадей, спрыгнуть, спрятаться за санями, как за баррикадами, и приготовиться к бою. Кроме того, это будет означать, что поперек дороги лежит дерево или другое препятствие. Ибо враг, вероятно, не настолько силен, чтобы напасть открыто.

Если же Ешка шепнет: «Назад!» — надо немедленно поворачивать лошадей и скорее уносить ноги. Значит, противник силен, и нужно, отстреливаясь, отступить.

Проехали всю равнину, Ешка молчал.

Начался спуск, и они слегка натянули вожжи. Ничего подозрительного. Ешка крикнул: «Тпр-у-у!» — и остановил лошадь. Это означало, что опасности нет, но нужно остановить лошадей.

Отдыхали минут десять. Потом осторожно двинулись дальше. Грозно притаившись, еле слышно шумел лес. Замыкал обоз Уга. Он боялся, что не расслышит окрика Ешки, не успеет вовремя повернуть и загорodит дорогу осталь-

ным. Ему казалось, что сосны неумолчно шепчут: «Назад, назад!»

Вытянув шею, Уга настороженно ловил каждый шорох. Поскрипывал под санями снег, прошелестела шишка, падая с верхушки на мохнатую ветку. Все повернули головы. Нет, это не шаги.

На одной елке возле самой дороги время от времени шевелились ветки. В лесу было совершенно тихо, и ветви других елей замерли. Почему же у этой они шевелятся?

Ешка не отводил глаз от ели, но не мог заметить ничего подозрительного. Окликнуть? Но как? Разве узнаешь, кто там притаился?

Ешка снял рукавицу и высоко поднял свою широкую ладонь. Легкие порывы ветерка изредка набегали со стороны дороги. Когда они проезжали мимо ели, ветви ее снова заколыхались и потом застыли...

«Так и есть — ветер шалит».

Между стволами деревьев уже поблескивала равнина. Лес остался позади, и теперь можно было ослабить поводья.

«Да, с Ешкой одно удовольствие ездить! Без толку он кричать не станет. Хорошо, что он поехал впереди», — успокоился наконец и Криш. Казалось, теперь все трудности позади. До Вишней еще верст пять-шесть, а за кладбищенскими соснами нападающим не укрыться.

— Дома нужно будет сообщить, — сказал Криш, — что на всем этом участке, начиная от Мунамяги, фронт дырявый, как решето, — разгуливай себе взад и вперед. Захватить Вишни ничего не стоит. Нужно людей побольше.

Ешка улыбнулся:

— Легко сказать побольше. А где их взять? Из волости и из города все молодые батраки на фронте. Ну, может, найдется еще несколько таких, как Алексис, но этого мало.

Зашумели кладбищенские сосны. Стрелки умолкли.

Под соснами снег был мокрый, и сани скользили бесшумно. Хоть ложись на мешки и слушай шум сосен. Они скрипели и гнулись на ветру.

Вдруг Ешка приглушенным голосом крикнул:

— Стоп!

«Стоп!», «Стоп!» — понеслось от саней к саням. Лошади остановились, люди спрятались за возами.

Они заехали в тень. Дальше дорога поднималась в гору и у кладбищенских ворот была ярко освещена лунной. На

дороге было пусто, но слышались тихие голоса — кажется, у ворот, недалеко от дороги.

Кто там мог быть в такой поздний час? Когда они выезжали из местечка, никто не умер. А стрелков хоронили на братском кладбище, за замковым озером.

Алексис остался у саней. Он плохо стрелял и боялся, что не успеет выстрелить вовремя. Да и должен же кто-то остаться у лошадей.

Остальные, кто с револьвером, кто с винтовкой, спрятавшись в тень, осторожно продвигались один за другим вперед. Никто их не услышит, они первыми нападут на противника. Только бы Алексису удалось справиться с лошадьми, если они испугаются стрельбы!

Голоса становились все слышней, но отдельные звуки никак не складывались в слова. Вероятно, разговаривали на незнакомом языке.

Но вот Ешка, шедший впереди, повернулся к остальным и прошептал:

— «Куррата». Понятно?

По уловленному слову можно было догадаться, что это были белоэстонцы, скорее всего, разведчики. Но сколько их — один черт знает.

Стрелки выстроились в косую линию, чтобы можно было дать чувствительный залп, так как подойти ближе нельзя: тень от сосен кончалась.

Наконец четыре человека вышли на дорогу и стали вглядываться в обе стороны. Дольше ждать было нельзя. Раздался залп. Один белоэстонец споткнулся, но все же сумел скрыться. Нападающие бросились в гору с диким криком, чтобы белоэстонцы приняли их за крупный отряд. У ворот никого больше не было, но вдаль по освещенному луной кладбищу прыгали тени, как черные хлопья золы.

Преследовать белоэстонцев не имело никакого смысла. Револьвер на большом расстоянии бесполезен, да и выдавать свою малочисленность опасно. Поэтому Ешка со стрелками бросились на снег и выпускали по бегущим пулю за пулей, пока Уга и Алексис гнали лошадей в гору. За воротами дорога круто спускалась вниз. На вершине холма все бросились в сани и погнали лошадей к Вишням.





## **РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ГОРОД**

Отрывок

1



сю дорогу не смолкали жаркие споры и диспуты. Больше всех доставалось коммунистам. Как обычно, ругали за голод, тиф, реквизиции. Поносили чекистов и трудовую повинность. Рассказывали небылицы об их якобы разгульной жизни.

Защищали дезертиров: война, дескать, есть война, и какого рожна кровь проливать — за Николашку ли, за Ленина ли...

По углам шептались о Деникине, о скором падении большевиков. Теперь-то уж недолго осталось ждать. Главари, мол, ихние заграничными паспортами запаслись. Ну, а мелкой сошке, той не сдобровать...

За коммунистов вступались немногие, но попадались и такие, особенно среди красноармейцев. Те держались как могли — убеждали, а то и просто грозили...

Крик и споры на станциях немного стихали, когда на перроне появлялись милиционеры и агенты Чeka. К властям еще сохранилось известное уважение...

Антон Крауя больше помалкивал. Наблюдал, прислушивался. Известное дело, дезертиры, мешочники, спекулянты — эти не могут иначе ни думать, ни говорить. Вся жизнь мешочника в его грязном замаранном мешке... Пускай болтают, пускай ругаются...

Только однажды не сдержался Крауя — когда сидящий напротив толстяк, не в меру размахавшись руками, чуть не съездил ему по носу.



— Э-эх, сколько народу православного загубили, изверги, всю державу жидам на откуп отдали! Христиане с голоду мрут, в тюрьмах задыхаются... Э-эх!

Крауя с отвращением глянул на меднорожего барышника с Сухаревки.

— Зато ты вон какую ряшку откормил, того и гляди, от жира лопнет! Навалил тут мешков, ступить некуда... Ишь заступник народный нашелся!

Тот вылупил глаза:

— А тебе чего?

— Чтоб ты заткнулся! Вот чего! Слушать тошно!..

Барышник засмеялся, идиотски покрякал, потом скорчил гнусную рожу и толкнул в бок соседа — такого же спекулянта:

— Вишь, ему слушать тошно, правда глаза колет... Погодите, голубчики, не такое услышите, погодите малость... Русскому народу рот не заткнешь...

— Народу никто рот не затыкает, а вот на спекулянтов, бандитов и шпионов-деникинцев управу найдем, будь покоен!

— Эх вы, жандармы, чекисты-душегубы! — кто-то прошипел за спиной у Крауи.

— Да что с ним толковать, он же латыш... Латыши, они у коммунистов заместо диких черкесов... Как русских людей вести на расстрел, латыши тут как тут... — шипя от злости, добавил другой.

— Неправда, латыши отличные ребята, могу поручиться!.. Вместе с ними довелось повоевать... — Весь пожелтевший, худой, видимо, только что с тифозной койки, красноармеец хотел что-то еще добавить, но ему не дали говорить.

Крауя не стал препираться. Какой смысл? Скорее притихнут.

С верхней полки свесил голову седой лохматый старик с патриархальной толстовской бородой. Его грязные, стоптанные, давно немазанные сапоги покачивались на весу.

— Так вы, значит, латыш?

— Да. А что?

— Ничего, просто так... Слышал я кое-что о латышах. Говорят, отличные вояки... Да... Интересно, что бы вещал Лев Николаевич, доживи он до нынешних времен?

— Вы знали Толстого?

— Как не знать, соседями были. Примечательный старец, хоть и лицемер ужасный...

— Лицемер — это как же? — удивился Крауя.

— Да взять хотя бы его проповеди и все остальное... В мужицкой одежде ходил, а свою господскую шкуру так и не сбросил... А вы, что же, коммунист?

Крауя кивнул.

— Вообще-то коммунисты народ неплохой, я, пожалуй, примирился бы с ними, — продолжал старик. — Да вот беда, уж больно притесняют личность, таланты губят...

— С чего это вы взяли?

— А с того, как со мной обошлись. Я музыкант, артист, я каждый божий день упражняться, играть обязан, ведь в пальцах все мое искусство; а домком посылает меня на заготовку дров, на погрузку кирпичей, на чистку уборных. Трудовая повинность, говорят они, для всех граждан обязательна... Ну, гражданские свои обязанности я выполняю, чищу уборные, а талант мой загублен... Вот полюбуйте, пальцы у меня теперь, как цапки... Да и рояль конфискован...

— Чего с ними без толку разговаривать — насильники, грабители, изверги! — опять подал голос барышник с Сухаревки, размахивая увесистыми кулаками и брызгая слюной в соседей.

По углам по-прежнему шептались о том, что было боязно высказать вслух: вот-вот наступят перемены, большевики-де сотнями расстреливают, тысячами... Но ни аресты, ни террор им не помогут...

Крауя слушал и диву давался: какие нелепые слухи, какие панические настроения царят здесь, вблизи Москвы, и как стойко держатся стрелки там, на фронте... Там — революционный порыв, жажда борьбы, здесь — бессильный злобный шепоток барышников, разнузданное хамство дезертиров и шкурников, происки деникинских шпионов... Ну и народец подобрался в вагоне, сплошная контра...

## 2

В Москву прибыли ближе к полудню. На вокзале на скамейках, а то прямо на полу, на ступеньках лестницы сидят, лежат вповалку отощавшие люди, особенно много старух, детей. Бесчисленные руки тянутся за подающими... У кассы толпятся бабы с порожними бидонами. Это молчицы. Грубые обветренные лица, красные сильные руки.

Засмеются — и блеснут здоровые, белые зубы. Вот протиснулся сквозь толпу какой-то франт. На нем мягкая велюровая шляпа, перчатки, шелковый галстук. Этот как будто из разряда «чистых», обитателей особняков.

Когда молочницы пытаются оттеснить его в конец очереди, он цедит сквозь зубы:

— У, быдло!

Молочницы приходят в откровенную ярость, дружно берут его в оборот, вот-вот исколотят.

— Маша, — кричит одна из них, — двинь его бидоном! Будет знать, как лезть без очереди!

— Ну погодите вы у меня!.. — негромко грозитя франт. От волнения и злости у него дрожит челюсть.

— Ах, ты грозить еще будешь... А ну, где милиция? Отправить его на Лубянку!..

Франт мгновенно примолк, даже как будто испугался. Втянув голову в воротник, насупившись, встал за толстой молочницей. Просунул большой палец в петлицу и, с аристократической отрешенностью глядя в одну точку, что-то насвистывает, мурлычет себе под нос...

Краюя в Москве впервые. До военного комиссариата, где работает брат, далеко, на извозчика нет денег. На трамвае тоже не поедешь — для этого, наверное, необходимо какое-то удостоверение. Впрочем, он и не знает, в какую сторону ехать. Ничего, дойдет пешком, у милиционеров по пути справится.

Свернул в ближайший переулок бородатый старик музыкант, с которым вместе вышли на площадь. На прощанье приподнял шляпу, протянул ему руку. Уходя, еще что-то сказал, но Краюя так и не понял. Ушел, волоча по земле сукастую увесистую можжевелевую палку. На боку вместительная, наполовину пустая сума. Краюе почему-то вспомнились ветхозаветные пророки... Кому нужны сейчас такие бородачи-пророки?..

На улицах шла бойкая торговля семечками, яблоками, махоркой. Мальчишки наперебой предлагали папиросы. Тетки расхваливали свои тепленькие пирожки с капустой, с творогом. Красноармейцы, опасливо озираясь, доставали из-под полы новое обмундирование. Стоило показаться милиционеру, и толпа в панике разбегалась. Сыпались семечки, папиросы, пирожки...

На каждом перекрестке нищие, калеки, беженцы. Умолляющие взгляды, протянутые руки, жалобные голоса.

— Товарищи, помогите!.. Есть хочу!.. Три дня крошки во рту не держал!..

Жертвы войны и капитала, изувеченные люди, до того истощенные, забитые, изуродованные и внешне и внутренне, и все-таки живые люди, не потерявшие способности чувствовать... один без рук, другой без ног...

Движение на улицах довольно оживленное. Автомобили, извозчики пролетки. У извозчиков крепкие лошади. Ритм большого города ничто не в силах нарушить — ни война и революция, ни эпидемия и голод...

На Красной площади Крауя остановился перед огромной картой военных действий. Она пестрит бумажными стрелами, исколота синими и красными флажками. С юга по-прежнему ближе всех подступили деникинцы — офицеры, белоказаки. На Петроград насаждают «молодцы» Юденича, эстонские и финские белогвардейцы. Отмечены и глубокие рейды конницы генерала Мамонтова. Лишь Колчак отброшен далеко за Урал. Там крестьянин-сибиряк скоро свернет ему адмиральскую шею.

Подошли двое, видимо, из «этих». Запрокинули головы, подбоченились, курят, криво усмеваются, глядя на красные флажки, которые не скрывают победоносного шествия Деникина.

«Теперь уж недолго осталось ждать...» — как будто говорят их плутоватые и хитрые ухмылки...

Крауя проводил их неприязненным взглядом: рано обрадовались, ишь как лихо замахали тростями с серебряными набалдашниками...

Но вот у карты двое рабочих в перепачканных солдатских гимнастерках, смотрят долго, серьезно.

— Прет нечистая сила... — говорит один.

— Ничего, остановят, да еще так шуганут, что костей не соберут, — отзывается второй.

— Остановят! — подтверждает Крауя.

— Вы тоже так считаете, товарищ?

— Иначе и быть не может!

— Это хорошо...

В военном комиссариате брата отыскать удалось довольно быстро. Два года не виделись. Брат все время был в Москве. Сначала при Октябрьской больнице, затем в комиссариате. Делопроизводитель. Учился петь у итальянца-

профессора. Мечтал о блестящей артистической карьере. И как будто не без основания.

А он, Антон Крауя, в прошлом ученик слесаря, с первых дней империалистической войны на фронте. Побывал в Восточной Пруссии, под Варшавой, в Галиции. Трижды ранен, травлен газами. И под Казанью, и на Урале, и в этом году под Ригой. Теперь он красный командир.

— Хорошо, что ты приехал, я тебя из Москвы никуда не пушу...

— Да ты что, брат! Я всего на денек-другой, не больше, в главный штаб командирован...

— А ты знаешь, из Москвы намечено эвакуироваться.

— Эвакуироваться? — Крауя с удивлением посмотрел на него. — Ерунда...

— Нет, не ерунда, есть секретное указание... Все уверены, что в ближайшие дни что-то должно произойти...

— Кто эти «все»? — спросил Крауя довольно резко.

— Ну, в комиссариате, да мои знакомые, с которыми встречаюсь... — Брат немного задет, обижен его резкостью, хмурится, краснеет.

— А я говорю, что ерунда это... Положение на фронтах не так уж безнадежно...

— Ну, а Деникин?

— И его разобьют — от генеральского мундира только клочья полетят! Скоро из Латгалии пришлют латышскую дивизию...

— Ты уверен?

— Да, уверен... Латышские стрелки себя еще покажут...

### 3

Вечером Крауя с братом отправились в Политехнический музей. Там была объявлена лекция о Горьком. Брат сказал, что лекция будет интересной, потому как лектор по всей Москве славится. Фамилия его Блеце, он бывший редактор многих журналов, врач, приват-доцент, человек, так сказать, многогранный.

О Горьком говорил долго и пространно. Не преминул отметить, что сам был на короткой ноге с Толстым и другими видными мужами. Сыпал анекдотами. В произведе-

ниях Горького выделял главным образом те места, где писатель сетовал на крутые меры революции... Террором, мол, народ не воспитаешь. Пусть коммунисты проникнутся рыцарским великодушием. Только так им удастся завоевать всеобщее признание, поднять всенародный энтузиазм...

Оратор то и дело откидывал спадавшие на лоб волосы, временами подходил совсем близко к публике, вставал на цыпочки и, вытянув длинную жилистую шею, на мгновение закрывал глаза. Громогласно начатую фразу неожиданно завершал едва уловимым шепотом... Часто встряхивал головой, руки у него ходили, как маятники, он принимал величавые позы, а слова, такие искрометные, пламенные, сыпались, как из пулемета...

Актер он неплохой, подумал Крауя, эту расхлябанную, выбитую из седла интеллигенцию хлебом не корми, а такую анархическую кашу только подавай...

Когда оратор закончил, зал разразился бурными аплодисментами. Хлопали, кричали, минут пять огромная аудитория редела. Крауя покосился на брата — тот, поддавшись общему восторгу, аплодировал вместе со всеми. Нет, с ним что-то неладно, надо будет серьезно поговорить...

Кой у кого ладони от хлопков стали красными. Дурацкие восторги, романтика...

Во время дебатов произошел небольшой инцидент. Слова попросил красноармеец, с виду почти мальчик. У Блеце седина в волосах, он бывший профессор и, по его собственным словам, встречался со многими великими людьми, революционерами, и, несмотря на это, он рассуждал, как глупая баба, дите неразумное, а может, и того хуже. Неужто гражданин Блеце своими складными речами собирается отбить наступление деникинцев? Или он считает, что бурными овациями можно разогнать все подпольные банды и белогвардейских лазутчиков? Проповедовать такие вещи — это же контрреволюция чистейшей воды.

Дальше парню не дали говорить. Закричали, засвистели, затопали. Многие повскакали на сиденья, замахали руками, бессвязно крича. Галерка угрожала. И она трубила, что было мочи, не на шутку собираясь ринуться вниз... Все эти красноармейцы и парни в рабочей одежде. Еще несколько мгновений — и, казалось, потасовка неминуема, но вот появились трое милиционеров, и бушевавшие страсти заметно поубавились... И председатель из

последних сил трезвонил. Пожалуй, и мещане не лишены смелости: кричать да топтать ногами — это они умеют...

Лектору наконец была дана возможность высказаться. Но теперь он говорил так, будто его окатили ушатом холодной воды. С пятого на десятое и не очень убедительно. Похвалялся, что он был революционером еще тогда, когда многие из присутствующих и на свет не родились, а если и родились, то под стол пешком ходили. Он-де дрался на улицах Петербурга вместе с народовольцами... Под конец подпустил жалостную элегическую нотку... Однако прежнего воодушевления зала так и не сумел вернуть...

Расходясь, еще долго говорили, спорили о лекции, о том инциденте. Большинство, конечно, осуждало красноармейца. На лестнице опять едва не дошло до потасовки — между галеркой и «чистой», интеллигентской публикой...

Сойдясь в кружок, шептались о Деникине, об арестах... Совсем как в вагоне, мелькнуло в голове у Крауи... Но пусть себе шепчутся, пусть дожидаются: не вышепчут, не дождутся...

#### 4

На следующий день Крауя отправился в штаб. Там сказали, что ответ он получит дня через два. Тем временем может осмотреть Москву.

Много ходил по музеям и выставкам. Вечером, совершенно разбитый от усталости, насилу добирался до дому.

На Театральной площади возле Дома профсоюзов он увидел длинную вереницу трамваев. Их согнали сюда чуть ли не со всей Москвы.

— Это для женщин-делегаток, — пояснил Крауе милиционер, — будут развозить по районам. Сегодня конференция беспартийных женщин.

Сотни женщин спешили к трамваям. Одни смеялись, громко разговаривали. Другие серьезные, тихие. Белые, серые, красные платки, ветхие, поношенные платья... Крауя прислушался к разговорам работниц.

— Век не забуду слов Ильича, — замечает одна, уже немолодая, сутулая, с вздернутым носом. — До чего ж простой, душевный, будто брат родной...

— Вот и мы сподобились увидеть, послушать великого человека... — добавляет вторая.

— И почему с нами раньше так никто не говорил? Только попы морочили, — вставляет третья, молодая, у которой под тонкой тесноватой юбкой заметно вздулся живот. Почему-то казалось странным в такое время видеть женщину — будущую мать!..

— Умела б я читать, — вздыхает другая, — ой, как бы сейчас училась...

— Еще выучишься, твое дело молодое.

Наконец трамваи переполнены, яблоку негде упасть. Но желающих гораздо больше, все не уместилось, пойдут пешком.

Трамваи наперебой звенят. Бегут вагоны, стучат колеса, гудят рельсы, сыпятся искры... Вверх и вниз — в далекие Сокольники, в пролетарский Бауманский, к революционной Красной Пресне уходят трамваи... Из них несется песня, та единственная, несравненная — работницы поют «Интернационал»... В революционном городе, изнуренном голодом, эпидемиями, зажатом в огненное кольцо, растет и ширится гимн пролетарской борьбы и труда!..

Краюя еще не раз приходил на Красную площадь. Его снова и снова притягивала огромная карта напротив собора Василия Блаженного. По-прежнему Деникин насаждает, впереди ожесточенная борьба.

Ходил и к Кремлевской стене. Там в братских могилах похоронены жертвы Октября. Люди несгибаемой воли, с пламенными сердцами. Они не прятались за чужими спинами...

Здесь и могила Свердлова. Венки, траурные ленты, цветы. Краюя припомнил съезд Советов в Латвии — среди обратившихся к нему с приветствием был и Свердлов. Каждое слово его было ударом молота о наковальню...

Заглянул в Исторический музей. Но скоро там наскучило. Не смотрелись все эти каменные, бронзовые века, первобытные культуры. Когда улица, город, вся жизнь переполнены тревогами, борьбой — где тут восторгаться каменными ножами и стрелами древних?

И снова улица. Постой, что за шум на Театральной площади? Надрываясь, кричат мальчишки, предлагая экстренный выпуск газеты.

Что?! Взрыв в Леонтьевском переулке? Здание горкома! В зал заседаний брошена бомба, десять человек убито, много раненых... Убит секретарь комитета товарищ Загорский, ранены видные партийные работники...



Это дело рук деникинских лазутчиков, наносящих удары из тайного логова! Не важно, какой личиной это прикрывалось — анархистов или эсеров... Избегая открытой борьбы, они пускают в ход бомбы, адские машины...

Крауя читает, перечитывает и никак не может успокоиться...

Улицы снова кишат подозрительными субъектами в мягких шляпах, котелках, в перчатках, с тростями с серебряными набалдашниками... Читают сообщение, злопыхают, шепчутся...

— Эх! — У Крауи руки невольно сжимаются в кулаки. — Террор за террор, праведный суд за рабочие головы, за изувеченные тела... Око за око!

## 5

Крауя хочет остаться на похороны коммунаров, хотя отбыть ему полагалось еще днем раньше. Ничего, как-нибудь оправдается.

С самого утра до Дома профсоюзов потянулись колонны рабочих. Крауя тоже спешит на Красную площадь, чтобы быть поближе к трибуне... Примкнул к делегации красных курсантов...

Один за другим выносят на площадь красные гробы, множество венков, замерли ряды рабочих и воинов... Сердце Крауи учащенно бьется...

Проходят родные, близкие убитых, за ними вожди революции. Лица у всех будто из стали, окаменели от горя и решимости. Кажется, в уме у всех одна-единственная мысль, провозглашенная великим вождем: не сдаваться, выстоять, победить!

Три биплана, низко пролетев над площадью, сбросили листовки. Они падают неторопливо, трепыхая, и наконец опускаются на демонстрантов. Совсем как кленовые листья в осенней аллее...

Сегодня теплое сентябрьское солнце, очень теплое. Лучи его по-весеннему ласковы. Они озаряют алые гробы, знамена и сами тоже становятся алыми...

Траурный марш... Всегда такой волнующий... Крауя чувствует, у него перехватило дыхание... Покосился на товарищей: те тоже едва себя сдерживают... И все-таки не могут подавить волнение — катятся слезы, блестят на

неподвижных подбородках... Плачут солдаты, закаленные в бесчисленных боях, в огне революции!..

Но вот вожди бросают в многолюдную толпу концентрированную волю самих масс, сгусток ее энергии — и лица у всех опять становятся непреклонными, жесткими, будто из металла...

После речей — парад красноармейцев и рабочих. Печатающая шаг, проходят революционные батальоны, содрогается Красная площадь, веками обгагрившаяся кровью трудового люда, площадь, где совсем недавно была пролита кровь защитников Октября.

Всю ночь Краюю мучила бессонница. Вечером у них с братом опять произошла стычка, уже в который раз... Хороший малый, но черт его знает, с кем он тут спутался, каких мыслей понабрался! Третий год в Москве, а революции так и не понял...

Брату тоже как будто не спится, ворочается с боку на бок...

Утром, бледный, разбитый, Краюя протянул брату руку.

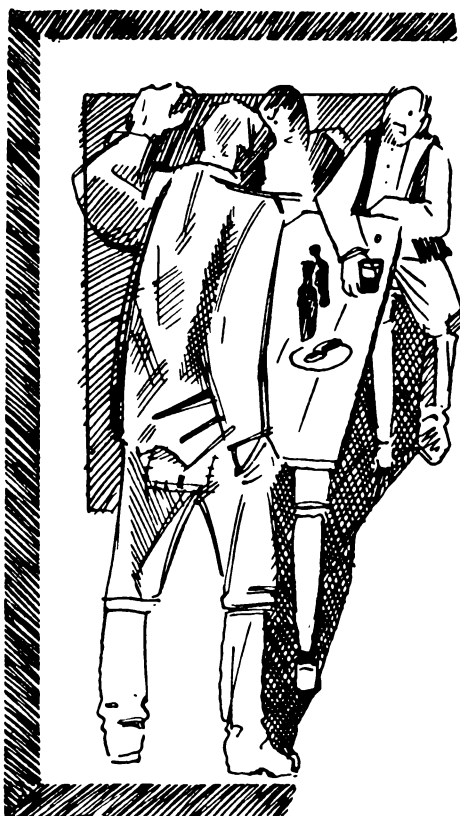
— Кто знает, доведется ли свидеться... И скажу тебе кое-что на прощанье, если хочешь мне братом остаться... Не путайся ты с профессорами-итальяшками и всеми этими типами! Беги ты от них! Будь заодно с рабочими... Кто вздумает стать поперек дороги рабочему классу, тот будет безжалостно смят!..

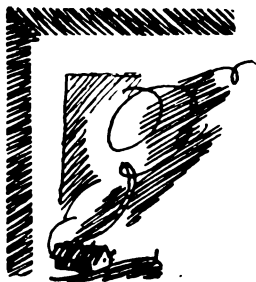
— Да за кого ты меня принимаешь? Неужто я так низко пал в твоих глазах?

У брата дрожат руки, дрожат губы...

— Ну ладно, чего там, напишу... Будь здоров!..

Схватив свой пустой вещевой мешок, Краюя сбежал вниз по лестнице... Но из Москвы он уезжал, преисполненный решимости и боевого задора. Приятно ехать навстречу битвам, зная, что позади остался большой революционный город...





## ИОН ВУЦАН

**В**млеющем пекле июньского полдня смолисто пахнут сосны. Поскрипывает песок под колесами. Лошади еле плетутся, лениво отмахиваясь хвостами от назойливых мух. Щелкнет изредка кнут, застучит по дереву дятел, и снова сонная тишь.

Привалившись к боковым перекладам тряской фуры, сидит Ион Вуцан. Дремотно смотрит он на плывущую перед глазами однообразную синюю гарь. Нет-нет и кинет взгляд на храпящего рядом хозяина. Подступает блаженная усталость. Так надоели обгоревшие сосны, лиловый вереск... Откинув назад густые волосы, Ион дернул вожжи. Гнедой скосил на него глаз и припустил трусцой, скорее подгоняемый примером передней подводы, чем остраской. Быстрее потекли и мысли возницы, только совсем в другую сторону: назад, к родной Дагде...

Нежен запах цветущих ржаных полей, кольцом окруживших тихую Дагду. Словно заморожены, стоят овсы, шелестят метелками, соками наливаются...

Нет полей у Вуцанов. Да разве только у них? Не цветут у Вуцанов нивы, не полег тучный клевер, не погнулись ветви яблонь от обилия плодов...

Да, каждому свое... Руки у сестренки и матери Иона в ссадинах и царапинах — так старательно пололи они сады и огороды богатеев, у которых раздольные нивы и стада.

А старый Вуцан, с той поры как отряды красных стрелков покинули берега Даугавы, остался не у дел. Вот пришла весна, и потянула старика неведомая сила к Даугаве, будто должен он вместе с Ионом плоты вязать. Пришла весна, он весь преобразился, спешит к полноводной рекее-кормилице... А потом понуро бредет обратно, волоча усталые, точно свинцом налитые ноги.

Нет больше Даугавы-кормилицы! Даугава сделалась нищенкой. Заброшенная, одинокая, сиротливо и неспешно катит она свои воды к морю... И никому теперь не нужен старый плотовщик. А Ион, еще мальчонкой в девятнадцатом году бегавший на все митинги, стал совсем взрослым.

И без того хлипкая хибарка на окраине Дагды что ни год все больше заваливается. Огородик — лук да картошка — под окнами, точно гири на ногах у старого Вуцана. Никуда от него не уйдешь. А покосившийся домик всем своим видом будто говорит: уходите! И все-таки Вуцан никуда не уйдет. Дождется следующей весны и опять пойдет к Даугаве...

Другое дело Ион — тот ждать не собирается! Сколько раз твердил, не та теперь стала Даугава, их кормилица ушла в верховья, под Витебск, под Полоцк, словом, в ту сторону, куда отступили стрелки, а им, Вуцанам, ничего не остается, как покинуть тихую Дагду и двинуться в том же направлении, там и работы и хлеба хватит на всех.

Что на это ответит старый плотовщик? Может быть, Ион и прав, может быть... Только он привык на плотах вниз по реке плыть, по течению... А главное, плота у него нет, чтобы с течением побороться. Пешком, что ли, пойти? Они-то с Ионом, может, и дойдут, но как быть с матерью, сестренкой, с покосившейся лачугой?

Нет, старый Вуцан останется дома и подождет возвращения прежней Даугавы. Авось дождется!

А Иону не терпится. Пешком дошагал до Резекне. У парня одно на уме: как разжиться деньжатами да махнуть в верховья Двины-Даугавы. И вдруг удача! Подвернувшийся вербовщик так расписал ему жизнь в рабочих у зажиточных хозяев, что парень окрыленный примчался в Ригу...

— Хозяин, к трактиру подъезжаем! — громко гово-

рит Ион, вспомнив про наказ делать остановку у каждой придорожной корчмы. — Стойте! Тпру-у! — кричит он вознице с передней подводы, тормоша хозяина за плечо.

— Проснись, хозяин!..

Но хозяин, растянувшись во весь рост на поклаже, храпит себе дальше. Передняя подвода остановилась было, но тут же тронула с места, так что пыль закружилась.

— Поехали, черт побери! Тоже мне — пить ему надо в каждом кабаке! — размахивая кнутом, сердится попутчик, едущий сзади.

— Да мне-то что... Было велено... — бормочет Ион. Потом, убедившись, что его хозяин и не думает просыпаться, стеганул лошадь, повернувшую к коновязи, и покатили.

Сосновый бор остался позади.

Задать лошадям корму решили у Малупской корчмы. Хозяин с передней повозки на ходу наводит порядок в своем полупустом возу — укладывает порожние ведерки из-под масла, свертки, покупки, — затем кидает вожжи на телегу, а сам, прыгнув с нее, ведет лошадь под уздцы. Вот и просторная корчемная конюшня. Свернув влево, лошадь чинно встала у обглоданной перекладины.

— Эй, полячишка, что с твоим хозяином? Не очухался еще? Дышит? — Калнуснис, привязав свою лошадь, подходит к Иону, который возится с уздой. — Так кто ты, в самом деле, поляк или литовец? А может, латгалец? Ну тогда валяй по-латышски, латышский язык у нас, брат, в почете! Без него шагу не ступишь! Ну да ладно... девки наши мигом тебя обучат!

— Рейнис, ау! — кричит Малынь, подходя с дорожным кульком к возу. — Вставай, Рейнис Виксне! Дернем по чарочке! Самое время! — И старик, теребя бородку, подмигнул Калнуснису: — Иначе его; стервеца, не поднимешь... Эй, Рейнис, Малупскую корчму проспишь! Не мешало б горло промочить!

— Вставай! Вставай! — напустился на него и Калнуснис, тормоша за плечо. — Закусим, выпьем и дальше поедем.

Рейнис Виксне трет кулаками припухшие глаза, причмокивает мясистыми губами, наконец спускает ноги с фуры.

— Где мы? — спрашивает он, пошатываясь. — Что, Малупская корчма? А разве Заттюрагс проехали? Чего же этот шалопай не разбудил меня?

— Да в тебя хоть из пушек пали, не добудишься, — смеется Калнуснис, обивая башмаки на пороге корчмы.

Вуцан потоптался возле подвод, поплелся за хозяевами.

— Здорово, корчмарь, ставь на стол полдюжины пива! — Виксна первым подходит к стойке, занимает самый длинный стол. — И колбасок нам каких получше, баварских, что ли, хорошо прожаренных. Верно я говорю, господа?

— Да чего ты, зачём такая трата, Рейнис! Слишком жирно будет! — забеспокоился Малынь, развязывая свой дорожный куль. — Нам бы хлеба, маслица да пивка... Чего нам еще?!

Бутылки быстро пустеют. Хозяева пьют стакан за стаканом. Калнуснис и Малынь закусывают хлебом с маслом, а Вискна уплетает баварские колбаски.

— Слушай, ты, как там тебя? — обращается Калнуснис к сидящему в стороне Иону, протягивая краюху хлеба. — На-ка вот отрежь себе да ступай лошадей напои!

— И мою кобылку не забудь! Только с заду к ней не заходи. Лягает чужих-то! — подвинув к нему масленку, говорит Малынь.

Отрезав ломоть хлеба, Ион идет к двери.

— Может, поднести парню стаканчик? — замечает Калнуснис, кивая ему вслед.

— Слушай, хочешь горло промочить? Как тебя там? — кричит Вискна, опрокидывая очередной стакан.

Вуцан остановился. Глотнул побольше воздуха и говорит:

— Меня зовут Ионом Вуцаном.

— Ну, иди сюда, Ян! Чего там, такой же человек, как и все... На-ка тягни! — добродушно бурчит Малынь, наполняя стакан.

Ион за весь день ничего не пил. Жажда мучит его. Взял протянутый стакан и чуть не бегом бросается поить лошадей.

Но вот лошади накормлены, напоены, да и сами хозяева подзаправились. Солнце уже скрылось за лесами, Вискна, еще больше захмелевший, швыряет на стол бумажник.

— Или у настоящих-то хозяев денег мало? Гляди, корчмарь, гляди и ты, неоперившийся хозяйчик, разве ж это не сотенные? Раз, два... четыре, пять... Ставь, корчмарь, дюжину на стол!

— Спрячь лучше деньги в карман!.. Не дело ты затеял, Вискна! Ну выпил, и будет, — с напускной строгостью выговаривает ему Калнуснис, а сам вроде бы собрался уходить.

— Чего? Это ты там вякаешь, Калнуснис? Учить меня вздумал? Ты что, нянька мне? Вот как кину сейчас на стол сотенные и буду пить всю неделю — из-за стола не встану! Верно я говорю, корчмарь, или нет? Хочу послушать, что скажет корчмарь! Я хочу, чтоб корчмарь высказался!

— Верно! Все верно!

— Ну так и ставь без разговоров ящик на стол. Пока все твои запасы не выпьем — до тех пор ни с места! — И Вискна локтем смахивает со стола бутылки. Пиво, пенясь, течет по земляному полу.

Время от времени Вуцан приоткрывает дверь, заглянет внутрь, опять закроет. Там все то же — Вискна расплевывает пиво по столу, по полу, льет себе на штанины...

Лошади совсем ошалели от оводов и мух, легаются, рвутся из упряжи. Пора бы и ехать, да хозяева что-то волят.

«А, какое мне дело! — думает Вуцан, присев на лестницу. — Пусть себе хлещут, пусть морят лошадей!» — И, словно желая сорвать скопившуюся злость, с сердцем сплевывает.

Ты бросай, бросай на ветер  
Денежки отцовские!

В корчме теперь звучит уж не только хозяйский бас, все трое поют.

«Да они поди только во вкус вошли!» — про себя усмехается Ион, прикидывая, что придется, видно, здесь заночевать.

— Ион! Слышь, Ион! — раздается крик на всю корчму, даже стекла в рамах звенят.

— Пойти или не стоит? — рассуждает Вуцан. Потом нехотя встает. Ладно, зайдет, посмотрит, что там такое.

— Пей, Ион! — орет Вискна, о край стола откупоривая бутылку.



— Не хочу, хозяин!

— Пей, раз хозяин велит! — Виксна даже каблуком притопнул, пиво брызжет во все стороны.

— Вы меня работать, а не пить нанимали! — отвечает Ион.

— Пей, говорят тебе, голь перекатная!

Виксна подошел к нему, пошатываясь, чуть ли не силой собирается напоить работника.

— Вы пьяны, хозяин! — Кровь бросилась в лицо Иону, он едва себя сдерживает.

— Не горячись, Рейнис! Не горячись! — вступился Калнуснис. Он уже придумал, как буяна из корчмы выманить. — Человек не скотина, не годится его через силу поить. А вот лошадок можно пивом напоить.

— Давай лошадей напоим! Здорово придумал! Что мне, жаль для них ящик выставить!

Виксне предложение пришлось по душе.

И долго еще трое хозяев поили пивом лошадей из бутылок. Наконец с помощью Иона кое-как удалось уложить Вискну в фуру, прикрыли сверху попоной, и застоявшиеся лошади весело покатались...

Домой гуляки явились поздно. Первым доехал Малынь. У того хутор верст на двенадцать ближе. Последним добрался Рейнис Вискна — его дом в полверсты от Калнусниса.

Домочадцы, на сенокосе за день намаевшись, спят без задних ног, но вот залаяли собаки. «Какого рожна еще брешут», — дивится работник Густ Целм, протирая спросонья глаза. Хозяина вроде бы еще домой не ждут. Да и с чего б тогда лаять собакам? Но хозяйский гнедой мерин стоит перед конюшней, незнакомый верзила топчется у фуры, а самого хозяина что-то не видеть.

— Приятель, чей это дом? — спрашивает Ион, выходя навстречу Густу. — Конь встал и ни с места.

— Дом-то наш! А тебе чего?

Густ опять принимается протирать глаза; конь и фура — все хозяйское, но кто ж этот парень?

— Я вам хозяина привез, если только дом не перепутал. Да уж, верно, лошадь знает свой дом.

— Хозяина?.. Неужто помер? Так я сейчас хозяйку кликну!

— Нет, погоди! Просто пьян в дымину! А я к нему

в работники нанялся. — Вудан приветливо протягивает руку. — Здорово, приятели! Значит, вместе нам работать!

Совместными силами Рейниса Виксну перетащили в хозяйскую половину, потом работники снова вышли во двор. Густ Целм отвел Вудана на сеновал с остатками прошлогоднего сена. Покружил еще по двору, лошадей зашел проведать, накинул скобу на дверь конюшни и обратно на остывшую постель...

И собаки наконец уgomонились. Забрались в самую гущу сирени, свернулись в клубок и дремлют, лишь изредка приподнимут морду — послушают, понюхают...

Ион, зарывшись в сено, думал о новой работе, об ушедших днях революционной свободы, о верховьях Даугавы, но мало-помалу мысли его обрываются...

Разбудил его луч солнца, сквозь щель в крыше упавший на глаза... Часов у Иона нет. Да и куда ему торопиться? Перевернулся на другой бок, решил спать, пока не разбудят.

И опять проснулся. Солнце уже высоко. Про Иона, видно, забыли. Ну и пусть! Не самому ж ему искать работы. Он тут никого и ничего не знает. Пьянчуга-хозяин, проспавшись, может, и не захочет его признавать...

— Эй, там на сеновале! Спускайся вниз, хозяин зовет! — кто-то кричит басовитым голосом, поднявшись до середины лестницы. Для вящей важности раз-другой постучал о перекладину и полез обратно. Вспомнили наконец!

Отворив дверь дома, Вудан рот раскрыл от удивления: перед ним при всех своих регалиях стоит блюститель общественного порядка и, направив на него револьвер кричит:

— Руки вверх!

Ион поднял руки, глаза вытаращил, даже назад попятился, и все глядит в недоумении то на одного, то на другого — на хозяина, Густа Целма, незнакомую женщину. Что за шутки?

После того как полицейский велел обыскать его карманы, продолжая потрясать револьвером перед носом Иона, тут уж он сообразил, что это не шутки.

Густ Целм, которому было велено вывернуть его карманы, выкладывает на стол добытые трофеи: спичечный коробок, свечной огарок, две-три щепотки табака и огрызок карандаша....

— Снимай сапоги! Шапку! — кричит полицейский. Тут уж он сам производит осмотр. Сорвав ветхую подкладу, старательно ощупывал шапку, но, не найдя в ней ничего, с досадой швырнул ее на пол. Запустил руку в голенище сапога, придирчиво оглядел худые ранты.

— Осмотреть рубашку! — подает голос хозяин.

— Снять рубашку! Рубашку! — командует полицейский.

Густ Целм в замешательстве. Не привык он господам перечить! Растерянно глядит на полицейского, на хозяина.

— Извините, господа. На нем... на нем нет рубашки...

— Это подозрительно! — писклявым голосом вставляет хозяйка, до сих пор молчавшая.

— Ну, говори, куда спрятал рубаху?

— У меня ее и не было...

— Не было? — Хозяйка даже руками всплеснула. — Слышите, люди добрые? У него не было рубахи! Врет и не краснеет!

— Говори, куда рубаху дел? — продолжает допрос полицейский.

— Да что вам далась моя рубаха? И что вам вообще от меня надо? Я, хозяин, нанялся к вам работать... Что вы от меня хотите?

— Хочу свои деньги обратно вернуть! — крикнул Виксна, сверкнув на него глазами. — Куда спрятал мои деньги?

— Ваши деньги?! — Вуцана будто оглушили. То ли хозяин спятил, то ли сам он рассудка лишился.

— Да, да, деньги, которые ты украл у хозяина! — опять взорвался полицейский.

Ион хлопает глазами. В самом деле, если он не сошел с ума, значит, угодил в сумасшедший дом. Да что у них здесь происходит?

— Знать не знаю ни о каких деньгах! Ничего я не брал. Оставьте меня в покое.

— Ишь чего, жулик, захотел — оставьте его в покое! Отдашь по-хорошему или нет?

— Отпирается, паршивец! — заискивая перед хозяином, бормочет Густ Целм.

От неожиданности парень пошатнулся, схватился было за спину, но тут же выпрямился:

— Вы что? Руки прочь! Да я вас...

Блюститель порядка невольно подался назад. Присел, не выпуская из рук револьвера, задумался, что делать дальше. У хозяина с хозяйкой наготове совет. Немедленно отправить Густа за казацкой нагайкой к соседу и самого Калнусниса позвать в свидетели.

— Пока его как следует не излупцуешь, до тех пор не сознается! — про себя бубнит Виксна. И, словно вспомнив что-то, бьет себя пальцем по лбу: — Напрасно послали к соседу! У меня же дома отменный кнут!

— Давай его сюда! Ковать железо, пока горячо! А договор наш остается в силе?

— Можешь не сомневаться! Только бы деньги вернуть — тысячи не пожалею. Я всегда был другом полиции.

Прибежала хозяйка с кожаным витым кнутом и тут же скрылась в соседней комнате. Мужчины встали, будто готовясь к торжественной церемонии. Полицейский похлестал кнутом по голенищу сапога, раз-другой полоснул по столу.

— Ну! Отдай подобру-поздорову! Не то заporю, как паршивую собаку! Признавайся, голодранец!

Ион вздрогнул. Глядит в упор на своих истязателей, вот-вот перестанет владеть собой. Видно, дело принимает серьезный оборот. Пара крепких рук против револьвера, пусть даже одного — силы явно неравные. Но отвечает он с задором:

— Никакой я вам не голодранец, а работник. Отродясь ни у кого не крал, и отстаньте вы от меня!

— Ах ты дрянь, еще грубит мне! Посмотрим, какую песенку ты сейчас запоешь! — И блюститель порядка со всего размаху вытягивает его кнутом по спине, отчего парень с воплем подпрыгивает.

Не утихла еще жгучая боль, а уже посыпались новые свистящие удары, в бок и опять по спине... Отрывисто вскрикнув, корчась от боли, Ион падает на пол, Виксне подбегает к нему и, от себя добавив крепкую затрещину, силится снова поднять его на ноги.

— Это еще что за пытки? — кричит с порога Калнуснис. Густ Целм в испуге даже назад попятился. — Крик за версту слышен... И в нашей республике...

— Сейчас я здесь представляю власть! И потому по-

прошу не мешать исполнению моих обязанностей, господин Калнуснис!

— А меня, в свою очередь, пригласили в свидетели, и я готов заявить куда следует о том, что у нас в республике среди бела дня пытаются людей! Для этой цели им, видите ли, даже нагайка понадобилась!...

— Не горячитесь, господин Калнуснис! Отойдемте-ка в сторонку! — понизив голос, говорит полицейский.

— У меня от людей никаких секретов нет! За свои слова я готов где угодно ответ держать. И я буду говорить во весь голос, как всякий порядочный человек... и как член волостной управы... Я всегда боролся с беззаконием... В девятьсот пятом и сам был бит. Со всей ответственностью могу заявить, что этот поляк, латгалец или кто бы он ни был в пропаже денег, о чем знаю по рассказам Густа Целма, гораздо меньше повинен, чем хозяин пропавших денег. Это надо же, такой загул устроить — ни одной корчмы не пропустил! Тут не только деньги потеряешь!..

Калнуснис человек крутой, терпеть не может несправедливости. Разгорячится — не сразу успокоится. Таким его знают в округе. «Порядочный человек» — часто слышишь о нем. Говорили, что он даже при Советах аккуратно выплачивал налоги. «Раз наложили — наше дело подчиниться», — объяснял он упрекавшим его хозяевам.

Полицейский заметно отрезвел. Ссориться с Калнуснисом — дело рискованное. Он и в Крестьянском союзе свой человек, и с отцами волости на короткой ноге, и даже с властями повыше... С таким — да еще безо всякого повода — лучше не связываться!

Блюстителю порядка, больше для формальности, согласен допросить Калнусниса. Сделайте одолжение!

— Напился вдрызг. Из кабака силком не вытащить! Хотели бросить его на дороге. Да неудобно, соседи как-никак... Так мы рассудили с Малынем. Деньгами перед всеми похвалялся. Да, да, сосед! Не гляди на меня такими глазами... По нужде ходил. Мудрено ли в таком состоянии кошель выронить. Да спросите Малыня!

Виксна злится, краснеет, но помалкивает. Хорошо, хоть жена вышла. А то б не миновать ему второй головомойки. Ну, хорошо, это он припомнит Калнуснису. Погоди, еще будет случай и тебе подножку поставить, можешь не сомневаться. Еще пожалеешь, что затронул айзсарга!

И Калнуснис чувствует, что наговорил лишнего. Что за радость со своими ссориться? Склонившись поближе к полицейскому и Рейнису, он доверительно говорит:

— Даже если б вы его и за руку поймали — не век в тюрьме просидит. Придет темной осенней ночью да и пустит петуха по твоему, сосед, хутору. Да и мой заодно прихватит. Мало, что ль, таких историй случалось? Мне об этом первым делом подумалось, когда за нягайкой прислали... Отстегаешь его, а потом без дома и хлеба останешься.

— Чушь ты какую-то порешь, сосед! — раздраженно прерывает его Вискна. — Не так страшен черт, как нам его малюют...

— Не скажи! В этом деле у меня имеется кое-какой опыт. Да и читать приходилось... Был бы ты посмышленнее, ты бы спозаранку, покуда роса не просохла, походил бы по дороге, по канавам бы полазил... Если б он украл, при себе бы не оставил. То ли в карьер, что между нашими хуторами, то ли под дерево, под мох в каком-нибудь приметном месте спрячет, чтоб потом было легче найти. А лежанку-то его хорошо осмотрели?

Полицейский застигнут врасплох. И как он только мог такое забыть? Но нельзя же признаться в своем упущении, и он с деланной невозмутимостью говорит:

— В нашей практике еще не было случая, чтобы подпольную литер... я хочу сказать ворованные вещи преступник прятал там, где он спит. Впрочем, можно обыскать. Где ваш работник, господин Вискна? Он ведь к тому же ваш родственник, на него можно положиться? Пускай поищет!

— Сказать вам правду, господа, я только что обыскал там каждую травинку, — отозвался Густ, просунув голову в дверь. — Даже по застрехам, и там все ощупал... Нигде нет! Плакали денежки!..

Однако против парня не нашлось никаких улик. Взять его под арест? Приклеить ему что-нибудь политическое? Так что же тогда — отпустить? Как-то неловко, и следствию передать его, избитого, тоже неловко — он такое там расскажет!

Посовещавшись, все трое — хозяева и блюститель порядка — приходят к более или менее единодушному решению — на все четыре стороны отпустить этого поляка, латгальца или шут его знает кто он там. Чтобы духу

его тут не было! Пусть в следующий раз им на глаза не попадается. Заживо в тюрьмах сгноят. А сейчас пускай спасибо скажет, что легко отделался!

Ночи в июне короткие, нагретая за день земля теплом дышит. Едва растает заря на западе, алым костром займется восток. Хорошо в лесу на рассвете. Только в эту ночь Иону не до красот природы. Три огненных полосы горят на спине. Голова гудит, как осиное гнездо.

Между днем вчерашним и днем сегодняшним уж не вечность ли их разделяет? Полыхает пожар. Горячим жаром (уж не сам ли он в огне?) пышет в лицо.

Провел по лицу ладонью, она стала влажной. Отчего? В недоумении оглядывает руку. Хватается за спину. Тонкая, прогнившая материя пробита насквозь. Как и кожа — до крови.

— За что? За что? — кричит Ион и тяжело, будто молотом по наковальне, колотит кулаком себя в грудь. — За то! За то (откуда только взялось это эхо?). За то, что нет у тебя собственности! Пока ты владеешь лишь силой своих рук, в глазах всех этих хозяев ты будешь казаться подозрительным хотя бы потому, что у тебя нет больше ничего! Потому что тот, у кого нет ничего, тот и против собственности, и против собственников!

Да, Ион Вуцан против собственников с того момента, когда обжег его первый удар кнута и когда он поднял руку, собираясь дать отпор своим обидчикам. И хорошо, что сдержался. Схватка была бы недолгой, и они бы, конечно, одержали верх — те, против кого он решил отныне бороться.

Охваченный удивительными мыслями, Ион вскакивает и напрямик полями, лугами идет туда, откуда недавно пришел, — и шагает он не таясь, в открытую.

Хутор Рейниса Виксне тут недалеко...

Дойдя до гумна, остановился. Чиркнул спичку, преспокойно ткнул ее в сухую солому... Сбросив с себя пиджак, стоит по пояс голый с окровавленной спиной, вызывающе глядит на огонь. Пусть дотла сгорит собственность собственников! И пусть все узнают, кто это сделал, — он не убежит.

Но вдруг у Иона дрогнула рука. Молнией пронзила

мысль. Дагда... Комсомольские собрания... Митинги... Демонстрации... «Пусть сгорит старый мир!»

То-то — весь мир! А он вздумал спалить одно-единственное гумно! Вуцан готов заплакать от своего бессилия. Но это минутная слабость. Он хватает первую попавшуюся жердь, сбивает ею пламя, выдирает клочьями загоревшуюся солому, ладонями гасит искры — и быстро уходит.

Ночи в июне — короткие. Перед Вуцаном дальняя дорога. Надо торопиться! Цель все та же — Верхняя Даугава. Теперь он твердо знает — дойдет. Может быть, даже ему посчастливится найти там знакомого оратора. Может, тот научит его, как спалить этот мир собственников — весь без остатка.







## ДЕВУШКА, У КОТОРОЙ НЕТ БРАТА

Миниатюра

**З**ападный небосклон полыхал зарею. Над городской громадой — вокзалом — на рассвете и на закате всегда алел горизонт.

Обычно тихий, затаившийся, он теперь без умолку грохотал орудийными раскатами, что ни день звучащими все отчетливей, все более грозно.

Нестройный гул многолюдной толпы чем-то напоминал мне зловещий рев и лай уже близкого фронта. Вместе с другими я ожидал прихода поезда. Перрон был запружен разным хламом, пожитками отъезжающих. Носильщики были нарасхват, им здорово доставалось. Весенний день выдался прохладным, и все же пот градом катился по их перепачканным лицам, а тонкие спецовки липли к спине...

В те дни поезда приходили только с востока... С запада надвигалась канонада, оттуда откатывались измотанные, обескровленные красные полки, в ожесточенных схватках поредевшие ряды бойцов. И в городе не было дома, куда бы не закралась война, не было улицы, где бы люди не тревожились за свою жизнь, имущество... Но находились и такие, кто, ни о чем не заботясь, старался лишь с последними поездами отправить детей, — впрочем, не зная, куда отправляют их, — а сами, сжимая еще неостывшие стволы винтовок, под алыми стягами всемирного братства шли за Даугаву навстречу нараставшей канонаде.

Счастлив был тот, кто, пройдя бесчисленные кордоны и проверки, мог перевести дух в гудящей тесноте вокзала. Когда же наконец поезд вкатил под навес, стены вокзала содрогнулись от рева загалдевшей толпы. Колеса еще не остановились, а люди уже ломились в закрытые двери вагонов. Приехавшим стоило неимоверных усилий протиснуться к выходу. Я не очень-то торопился, мог уехать и завтра. Ничего бы страшного не случилось, если бы я вообще не уехал, потому что через сутки мне надлежало вернуться в более привычное для меня место, туда... поближе к развороченному снарядами переднему краю. И только одно небольшое поручение подстегивало меня покинуть город, хотя мне так не хотелось этого...

Я все еще медлил, держась в стороне, когда мое внимание привлекла девушка с винтовкой на плече... Стояла она у входа, внимательно вглядываясь в лица прибывших и предъявляемые ими документы. Я же загляделся на лицо этой девушки — было в нем какое-то сходство с мраморной скульптурой древних греков — такое же неподвижное, жесткое, и вместе с тем была в нем одухотворенность и теплота. Всякий раз, когда девушка принимала мандат, в ее глазах вспыхивали голубые пытливые искорки, казалось бы, насквозь прожигавшие каждую букву, каждое пятнышко документа. В те времена эти истершиеся, захватанные мандаты, справки, удостоверения служили верными проводниками по земле. Без них и шагу нельзя было ступить...

Много недовольных, неприязненных, вызывающих и откровенно злобных взглядов вбивалось в ее бледное, будто из мрамора высеченное лицо. Пройдя контроль, приехавшие с гордо поднятыми головами, с самодовольными ухмылками выскакивали из вокзала...

В окопной грязи зачерствевшие чувства просыпались во мне с новой силой — будто они вырвались на волю из темных глубин в своей первозданной свежести. Чувства были такими же, как прежде, когда в пороховом дыму не закопилось сочувствие, когда громовые раскаты не заглушили душевную отзывчивость. Я смотрел на девушку с ее детски простодушными глазами, и в сердце невольно закрадывалась жалость. Я понимал, она должна вот так стоять здесь — бесчувственным изваянием у двери, в которую, быть может, сию минуту крадется смертельная угроза — угроза красному городу, угроза бесстрашным

его защитникам, угроза завтрашнему дню, идее всемирного братства. Быть может, вера в эту идею и была силой, заставлявшей людей превращаться в изваяния. Должно быть, так!

Я замечаю, что число приехавших все растет. Бессловесные, словно тени, скользят они, не в силах скрыть своей внутренней дрожи перед пронизывающим взглядом девушки, проверяющей документы.

И кажется мне, чем дальше, тем заметней устают ее тонкие девичьи пальцы, чернотой своей еще больше оттеняющие бледность лица. Я гляжу и удивляюсь, откуда вдруг у нее на лице появилось беспокойство и отчего так предательски задрожали в руках документы. Гляжу и удивляюсь...

Она чем-то взволнована, долго изучает протянутое удостоверение. Пальцы вздрагивают, под суровым сукном шинели также беспокойно вздымается грудь. Вот резко перевернула бумагу, читает, едва шевеля губами... Я-то знаю, что на оборотной стороне подобного удостоверения не может быть ничего, кроме отметок, как-то: о выпитом чае в агитпункте и, если повезло — о съеденной миске щей в столовой для командировочных. Больше там ничего не может быть — это мне точно известно.

Наконец она переворачивает бумагу, присматривается к печати, неловко проводит по ней пальцем — не приклеена ли? — и вдруг резко вскидывает голову. Уставилась в оловянные глаза подателя мандата — замерла.

Перед нею гладко выбритый, с вызывающей усмешкой на губах, картинно расправив плечи, в непринужденной позе стоит еще сравнительно молодой человек. Его костюм изобличает франтоватость хозяина, его недюжинную предприимчивость и беспредельное самомнение. Но редкие черные усики топорщатся, как у крысы, и ноздри чуточку трепыхаются — это дрожат плотно сжатые губы. На защитного цвета фуражке поблескивает новенькая красная звездочка. К груди он прижимает объемистый портфель из тонкой кожи. Глянул в лицо девушки, переступил с ноги на ногу.

Глаза девушки как будто расширились и потухли, руки повисли, как плети.

Леон!

И вздрогнула, точно ужаленная, выпрямилась вся.

ищет, на что бы опереться, ноги подкашиваются, и вот сникла, сжалась, став еще меньше ростом.

Я видел, как вспухли жилы на ее перепачканных руках, видел, как загорелись и погасли голубые глаза и как опять побледнело лицо.

— Вам придется немного подождать. Мандат просрочен!

Но молодой человек как будто не намерен ждать. Заволновался, запрыгал, руками машет, то требует заносчиво, то отечески укоряет, то ругается.

— Вы глубоко заблуждаетесь, товарищ! Вы не имеете права меня задерживать, моя личность вне всяких подозрений! Мне нужно срочно по наиважнейшему делу в Политуправление. Если вы усомнились в моем мандате — прошу вас, очень прошу, товарищ, сообразовывайте, несравненная, записать номер и поступайте, как вам угодно, но задерживать меня вы не имеете права! — И преисполненный веры в свою неприкосновенность, он самодовольно усмехается, выпячивает грудь, откидывает голову. — Да, задерживать меня вы не имеете ни малейшего... Я ухожу! — Он повернулся, собираясь переступить через порог, но...

— Никуда не уйдешь, Леон! — с угрозой в голосе крикнула девушка с винтовкой, преградив ему дорогу.

И он, опознанный, нервно шевельнул своими крысиными усиками, на мгновение смешался, не зная, что делать, дорога-то перекрыта. Кровь бросилась в голову. «Леон!» — всего-навсего голос, но этот голос всколыхнул что-то давнее, почти позабытое. Лихорадочно пытается собрать в памяти все пережитое. Неужели не вспомнит? Не детский ли голосок сестренки прозвучал здесь? Не верится, просто не верится. Чертовщина. Наваждение какое-то! Померкший взгляд его впился в окаменевшее лицо девушки. Неужели эта женщина та самая девчушка, которую когда-то оставил играющей в песке того же цвета, что и кудри ее, — оставил тот, кто после окончания школы прапорщиков заехал домой перед отправкой на фронт и в последний раз ласково погладил ее головку и по-братски чмокнул в розовую щеку? Он как будто напоследок даже поцеловал ее тонкие детские губы...

Стеклянными глазами глядит он на девушку, словно силясь что-то вспомнить... да, да, сестренка, ее голос, но

теперь он стал тверже, взрослее и жестче. ох, какой жесткий у нее теперь голос! От него бросает в дрожь. Давно не слышал, не мудрено и позабыть, а губы-то потрескались, плотно сжаты — брр! — лицо, как металл, холодное, чужое... на уме одна-единственная мысль: «Продаст ведь, стерва, продаст!»

Сделав над собой усилие, говорит:

— Прошу меня не задерживать!

Но взрывом бомбы звучит ответ:

— Ни с места!

Словно молния озарила сознание: брат, Леон, носящий ту же фамилию Крукле, белогвардейский офицер, неуловимый, опасный агент вражеской разведки, прибыл сюда, в этот красный город, быть может, для того, чтобы нанести ему в спину смертельный удар. И вот ненавистный враг перед ней в лице собственного брата. Она почти вскрикивает:

— Ни с места, гражданин!

А толпа все растет, теряя терпение. Люди взбудоражены, встревожены, наседают, настойчиво требуют их пропустить. Чего держите, пропускайте скорей!

И все с остервенением потрясают своими мандами.

Девушка оказалась бессильной перед натиском этой оравы, и Леон Крукле, улучив момент, оттолкнул ее, кинулся к многолюдной привокзальной площади. Бежал он без оглядки и прямо к воротам.

Девушка пронзительно вскрикнула. Те, кто в нетерпении наседали на дверь, разом притихли. Кто-то крепко выругался. Почуввав беду, люди на площади бросились врассыпную. В воротах получился затор: как раз в тот момент в них вкатил медлительный, тяжелый, пыхтящий грузовик.

Леон Крукле повернул к пакгаузам. В его руке блеснул синеватый ствол пистолета. У меня помутнело в глазах. Рука невольно потянулась за оружием.

Люди бестолково метались из стороны в сторону; разыгравшаяся сцена всех перепугала, кое-кто повалился на землю, припав лицом к заплеванным булыжникам, в зверином страхе вдыхая пыль и грязь.

В дверях осталась только девушка. Повернулась спиной к толпе, заняв середину прохода. По площади метался

Леон Крукле, стараясь отыскать хоть какой-нибудь лаз в высокой каменной ограде.

Гневные глаза девушки прикидывали расстояние до брата, от защитницы революции до прислужника белой гвардии.

Что-то едкое шептали ее пересохшие губы. Вот неумело, неловко вскинула винтовку... Приклад уперся в бок, пониже груди. А потом, словно врасплох застигнутая какой-то мыслью, девушка легонько провела рукой по лбу. Откинула назад голову, отвела упавшие на глаза прядки и замерла. Я видел, как она судорожно глотала воздух. Можно было подумать, сердце отказало, и девушка держится на ногах просто так, по инерции. Хотел было броситься к ней, поддержать, но... я и сам похолодел...

Сухо щелкнул затвор, взвизгнуло оконное стекло, всколыхнулся воздух. Звон осколков стих одновременно с рычаньем грузовика — будто шумы задохнулись в едном дыме выхлопных газов. Одни с криком повалились на землю, другие ломились в закрытые ворота, кричали на разные голоса, кого-то звали на помощь.

Человек, как загнанный зверь, метался по площади, царапал ногтями каменную ограду, припадал к порогам пакгаузов, весь перепачканный, вспотевший, безуспешно тыкался в закрытые двери вагонов.

Прозвучали еще два винтовочных выстрела, один за другим, даже трудно было сказать, откуда они донеслись.

На самой середине площади человек рухнул на колени. Свернулся в грязный клубок, ковырнулся через голову и застыл, растянувшись на булыжнике.

Девушка в дверях стояла не шелохнувшись. Внутри что-то оборвалось, теперь стало легко, совсем легко... Брат с корнем был вырван из груди. В сердце ныла рана, разверстая, свежая рана, и как-то странно перехватывало дыхание, приходилось дышать, широко открыв рот, но от дыма першило в горле, голова шла кругом от дурманящих запахов. Так она стояла, молча уставившись на середину площади, где пыльный булыжник покрывался кровью...

Я понимал, ей было тяжело. Но толпа опять наседала, пришлось повернуться.

Может быть, так оно было и лучше. Девушка расправила плечи, откинула назад голову, из-под фуражки выбившаяся прядка волос сверкнула осенним золотом. Редкие капельки пота катились по щекам, а губы, пересохшие, в трещинках, были прикушены в какой-то детской усмешке. И все же выражение ее лица говорило, что брата навряд ли удастся вырвать из сердца. Я разглядел в этой девушке человека... Привычным жестом брала она протянутые документы, и руки ее теперь не дрожали.

Я был уверен, эти руки никогда уже не дрогнут, а сердце ее никогда не остынет.







## ДВЕ БЕСЕДЫ

евский проспект. По тротуару шныряют мальчишки, предлагая разодетой публике антисоветские газеты «Дело народа», «Новый луч». Со всех концов несутся их крики:

— Немцы в Валке!

— Оставлена Нарва!

— Немцы идут на Петроград!

А под вечер то на одном, то на другом перекрестке собираются летучие митинги. Контрреволюционеры агитируют против новой, еще не окрепшей Советской власти.

Вооруженные стрелки — бойцы революции — на грузовиках разъезжают по городу и разгоняют «собрания», организуемые контрреволюцией.

— Ложи-ись! Бросаю гранату! — громко кричит высокий стрелок и, когда машина приближается к митингующей толпе, размахнувшись, бросает в нее... консервную банку. Раздаются крики, истерические вопли.

Какой-то толстый генерал падает на мокрый тротуар и пытается всунуть голову в грязную сточную канаву. Лампасы его покрыты грязью, ветер колышет красные лацканы шинели. Генерал замер в ожидании взрыва. А по ближайшему переулку, пригибаясь, бежит тощий гвардейский ротмистр и быстро исчезает в первой же подворотне. Солидная, нарядно одетая дама села прямо на мокрый снег. Она испуганно озирается, глаза у нее помутнели от страха, лицо судорожно подергивается.

Прошло некоторое время, а «граната» так и не взорвалась. Какой-то артиллерийский поручик с плотно пришитыми погонами защитного цвета осторожно приближается к ней.

— Да это же консервная банка!

— Ах! — дружно раздается облегченный вздох.

— Дикари! Варвары! Латыши!

— Дикари, явно дикари! Устрашают мирных жителей, женщин пугают, — лепечет генерал, шелковым платочком вытирая уличную грязь с седенькой бородки. А где-то совсем рядом слышится:

— Товарищ шофер, в Смольный!

Звучит песня:

Смело, товарищи, в ногу,  
Духом укрепнем в борьбе.

Смольный. Двор забит поленицами дров. Около ворот у костра греются стрелки. У дверей здания — пушки. В окнах зоркий глаз может заметить замаскированные дула пулеметов.

Повсюду небывалое оживление. Приходят и уходят сотни людей. В комнатах, где еще недавно спали благородные девицы, на чистых, мягких постелях расположились стрелки.

Вот одна за другой открываются двери, кто-то кричит:

— Товарищи, все на собрание в зал заседаний! Приехал товарищ из Исколастрела со срочным и важным сообщением! Не заставляйте его ждать.

Четыреста коммунистов, выбранные из восьми стрелковых полков и приехавшие в Петроград защищать дело революции, собрались в зале.

На трибуне, покрытой красным, стоит представитель Исколастрела.

— Товарищи, — говорит он, — как вам известно, немцы начали наступление. Правда, насчет Валки и Нарвы черносотенские бульварные газеты мелют ерунду. А вот Цесис действительно у немцев, и, очевидно, Валмиера тоже не сегодня-завтра будет у них. Исколастрел, вернее, его большинство решило не идти против немцев организованной вооруженной силой. Но остальные члены Исколастрела, преданные делу революции, твердо стоят за то, чтобы вооружиться и грудью встать за защиту родины. Товарищи, я обращаюсь к вам как к самым преданным и

храбрым стрелкам. Я обращаюсь к вам от имени революционного меньшинства Исколастрела и призываю: все на борьбу с врагом! Вас зовет, к вам обращается революция!

Кое-кто из стрелков понимает, что нельзя сейчас бросить Петроград, Смольный, где находятся ВЦИК и СНК. Но как сказать об этом? Не подумают ли, что это трусость, боязнь фронта? Для старых бойцов такое предположение было бы обидным.

Резолюция, за которую единогласно голосуют все четыреста человек, гласит:

«Революция в опасности! Петроград под угрозой. Немцев во что бы то ни стало надо остановить. Все, как один, пойдем на фронт, навстречу немецким бандам! Каждый, кто укрывается в тылу и избегает фронта, — трус и предатель революции. Долой предателей революции!»

Резолюцию тут же переписывают и отсылают Ленину.

Ответа долго ждать не пришлось. Ленин вызвал к себе представителя комитета стрелков и сказал, что революционный энтузиазм — вещь хорошая, но в критические моменты каждый шаг следует серьезно и всесторонне обсудить, как бы он ни был самоотвержен и революционен.

Потом Ленин просит созвать собрание: он хочет говорить со стрелками.

\* \* \*

Опять зал заседания. Так же, как день назад, сбоку от сцены кафедра.

— Идет! Ленин идет!

Быстрыми, энергичными шагами он поднимается на трибуну. Приветствуя стрелков, чуть наклоняет голову и улыбается какой-то особенной, неповторимой улыбкой, которая вызывает у всех чувство необыкновенной близости, доверия.

— Товарищи стрелки! — обращается Ленин к аудитории<sup>1</sup>. — Я рад, искренне рад за ваш революционный энтузиазм, самоотверженность и отвагу.

Далее Ильич говорит, что, когда читал резолюцию стрелков об уходе на фронт навстречу наступающему врагу, он чувствовал, что воинская часть, которая голосовала за такую резолюцию, — это уже не часть старой, царской

---

<sup>1</sup> Информация об этом собрании напечатана в газете «Новая жизнь» № 20 от 21 февраля 1918 г. — Р е д.

армии, не солдаты той армии, которая, бросая оружие, панически бежит и дезертирует целыми батальонами, полками. Воинская часть, голосовавшая за резолюцию, представляет собой отряд новой, революционной, рабоче-крестьянской армии.

— Товарищи! — продолжает Владимир Ильич. — И до приема этой резолюции мы были о вас такого же мнения.

Затем Ленин вспоминает, что, когда запросили бойцов из латышских полков для охраны Смольного, большевики знали, что эти полки во время революции боролись против меньшевистско-эсеровского Исколастрела, что они организовали в армии левый блок, с помощью которого в октябрьские дни большевизировали всю 12-ю армию. Революционные латышские полки прислали в Петроград своих лучших товарищей, стойких революционеров и отважных бойцов, проверенных в большевистских фракциях полков и на полковых собраниях.

Ленин еще раз повторяет, что он с радостью читал резолюцию стрелков о готовности идти навстречу врагу. Но каждая медаль имеет и обратную сторону. И это надо учитывать.

Энтузиазм, революционная готовность, отвага, героизм — очень хорошие качества, без которых невозможна революция. Но для сознательного революционера, обученного и закаленного в боях бойца, этого мало. Требуется еще хладнокровие, нужно по-деловому взвесить все обстоятельства. Далее Ильич говорит о том, что революционеры должны быть готовы, не жалея жизни, идти в бой. Но не всегда это выгодно. Иногда приходится маневрировать. Не каждый раз можно посылать на смерть последних, самых верных и самых опытных бойцов революции.

— Петроград — сердце революции. Совет Народных Комиссаров и Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет — штабы революции, — продолжает Ленин. Он подчеркивает, что побежденная, но еще не уничтоженная буржуазия организуется не только на открытую, честную борьбу с Советской властью, но и на тайные нападения на штабы революции. Петроград и штабы революции нужно защищать и охранять в первую очередь, а для этого необходимо иметь храбрых, верных и хорошо обученных революционеров.

В заключение Ленин напоминает, что обязанности присутствующих здесь стрелков не менее важны, чем обязан-

ности тех, кто сражается на фронте. Он добавляет, что в случае падения Петрограда (а будет сделано все возможное, чтобы этого не допустить) правительство переедет в Москву. Владимир Ильич выражает надежду, что у стрелков нет расхождения с ним в данном вопросе.

Он прощается, легко сходит с трибуны и, поглядывая на стрелков и улыбаясь, спешит к выходу. Каждому казалось, что Ленин смотрит именно на него, мысленно разговаривает с ним и дружески улыбается ему одному.

— Как же быть, товарищи? Мы еще не голосовали за предложение Владимира Ильича, — смущенно сказал председатель собрания. — Согласно ли с ним большинство?

— Все ясно и без голосования! — раздались возгласы.

— Правильно!

— Правильно!

\* \* \*

Отряд, прежде состоявший из четырехсот штыков, вырос вдвое. Силы революции крепли.

Вскоре после VII съезда партии Советское правительство переехало в Москву. Москва стала столицей первого социалистического государства.

Первое мая. На Кремлевской стене висит красный транспарант. На нем большие белые буквы: «Да здравствует 1 Мая — день солидарности трудящихся всех стран!»

На Красной площади — наш первый военный парад.

Идет отряд стрелков.

— Да здравствуют революционные латышские стрелки! — разнеслось по Красной площади.

Свердлов! Все узнали его голос.

После парада стрелки вернулись на Красную площадь, чтобы снова занять посты.

На переполненной людьми площади стояла небольшая трибуна. Около нее — усиленный караул. Выступали Ленин и Свердлов.

А вечером состоялся митинг стрелков. Пригласили Ленина.

— Хорошо, хорошо, — ответил он, — обязательно буду. А вы часто митинги устраиваете?

— Да почти каждую неделю.

— Это хорошо, так и надо! Интересно, кого вы приглашаете ораторами? Скажем, из русских товарищей?

— У нас выступали Свердлов, Антонов-Овсеенко. А вас, Владимир Ильич, мы боялись отрывать от дела. Ведь ваша работа поважнее наших митингов. Но сегодня по случаю праздника мы все-таки обратились к вам.

— Хорошо, товарищи! Буду непременно. Только я попрошу минут за десять до начала кого-нибудь из вас зайти ко мне и напомнить! А то как бы вам не пришлось ждать. Я всегда с удовольствием буду приходить на ваши собрания. Только предупреждайте о них за несколько дней. Ну, до свиданья, до вечера!

— До свиданья, Владимир Ильич!

Радостные, мы возвращаемся к товарищам.

— Ну как?

— Будет, обязательно!

В Екатерининском зале стрелки и их гости — знакомые из города.

На сцену быстро выходит Ленин. Здравается с президентом. Зал умолкает.

— Ленин, Ленин будет говорить, — передают шепотом стрелки своим знакомым.

Обращаясь к латышским стрелкам<sup>1</sup>, Владимир Ильич говорит, что два месяца не беседовал с ними. Он вспоминает Первое мая в далекой ссылке.

— Нас было трое ссыльных: финн, поляк и русский, что-то вроде маленького интернационала. Мы праздновали Первое мая. Кругом была тьма царской реакции. И вы теперь далеко от родных мест празднуете Первое мая. Но тогда нас было трое, оторванных от остальных товарищей. Теперь нас много.

Затем Ленин подчеркивает, что международная революция никогда еще не была так близка, как теперь. Но в то же время не нужно забывать о том, что теперь международная контрреволюция поднимает голову.

Международное положение Советской России очень тяжелое и даже критическое. Империалисты думают о нападении на Советскую Россию, о разделе России и об окончательной ликвидации Советской власти.

— Только противоречия и грызня в лагере самих империалистов мешают им в едином фронте выступить против России, — говорит Владимир Ильич. — Сейчас главная задача Страны Советов — быстро укрепиться экономически

---

<sup>1</sup> Информация об этом вечере напечатана в газете «Правда» № 86 от 3 мая 1918 г. — Р е д.

и иметь сильную, выносливую, дисциплинированную Красную Армию, а ближайшая задача — укрепление Советской власти на местах. — Мы свергли старый строй, — продолжает Ленин, — взяли власть в свои руки. Теперь мы должны знать, как удержать эту власть, должны уметь управлять всей великой Россией.

Грянула буря аплодисментов.

Обращаясь к президиуму, Владимир Ильич сказал:

— Я бы с удовольствием послушал ваш концерт, но будут еще ораторы, а я ждать не могу. До свиданья!

Сотни глаз провожали его, когда он с приветливой улыбкой торопливо шел через переполненный зал к выходу.





## СОДЕРЖАНИЕ

Эдуард Салениек. Их сердца горели . . . . .	5
---	---

### РОБЕРТ ЭЙДЕМАН

Поединок. Перевод О. Эйдеман . . . . .	21
В лесу. Перевод О. Эйдеман . . . . .	34
О смерти. Перевод О. Эйдеман . . . . .	47
Земля. Перевод О. Эйдеман . . . . .	55

### ЛИНАРД ЛАЙЦЕН

Родина (Рассказ пленного). Перевод Н. Шевелева . .	73
Победа (Рассказ повешенного). Перевод Т. Иллеш . .	88

### ОСКАР РИХТЕР

Десятка наших. Перевод Ф. Арсеньева . . . . .	97
Сожгли человека. Перевод Ю. Каппе . . . . .	116
Особое задание. Перевод Ю. Каппе . . . . .	124

### АЛВИЛ ЦЕПЛИС

Синяя лошадь. Перевод Вл. Невского . . . . .	145
Да здравствует капитан! Перевод Вл. Невского . . .	161
Рассказ летчика. Перевод Вл. Невского . . . . .	170

### КОНРАД ИОКУМ

Приказ № 325. Перевод В. Якобсона . . . . .	181
Колокольня. Перевод С. Цебаковского . . . . .	190
На полпути. Перевод С. Цебаковского . . . . .	203

## **ЭДУАРД САЛЕНИЕК**

<b>Латышский стрелок.</b> Перевод Д. Глезера . . . . .	215
<b>Подарок.</b> Перевод С. Цебаковского . . . . .	225

## **ЭРНЕСТ КЛУСАЙС-ЭФЕРТ**

<b>Продовольственный отряд.</b> Перевод Т. Иллеш . . . . .	231
--	-----

## **АЛФРЕД ЗИЕДЫНЬШ**

<b>Революционный город (Отрывок).</b> Перевод С. Цебаковского . . . . .	243
---	-----

## **ЯН ЭИДУК**

<b>Ион Вуцаи.</b> Перевод С. Цебаковского . . . . .	255
---	-----

## **АРТУР КАДИКИС-ГРОЗНЫЙ**

<b>Девушка, у которой нет брата (Миниатюра).</b> Перевод С. Цебаковского . . . . .	269
--	-----

## **ПЕТЕР АКМЕН**

<b>Две беседы.</b> Перевод В. Якобсона . . . . .	277
--	-----

**ПЕРО И МАУЗЕР** ✓

Рассказы латышских писателей,  
участников революции  
и гражданской войны

Редактор

Л. О с и п о в а

Художественный редактор

Г. К у д р я в ц е в

Технический редактор

О. Я р о с л а в ц е в а

Корректоры

А. Н о в и к о в и ч и

В. Ш и р о к о в а

Сдано в набор 7/XII 1967 г.  
Подписано к печати 9/IV 1968 г.  
Бумага типографская № 2.  
Формат 84×108<sup>1</sup>/<sub>32</sub> — 9 печ. л.  
15,12 усл. печ. л. 14,801 уч.-изд. л.  
Тираж 50 000 экз. Заказ 1336.  
Цена 62 коп.  
Издательство  
«Художественная литература»  
Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19.

Ордена Трудового Красного  
Знамени Ленинградская типогра-  
фия № 1 «Печатный Двор» им.  
А. М. Горького Главполиграфпрома  
Комитета по печати при Совете  
Министров СССР, г. Ленинград,  
Гатчинская ул., 26.

62 н.